

ВЛАДИМИР

НАБОКОВ

БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ





-
-
-

- [Указатель](#)

- [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)

- [Pale Fire](#)

- [Canto One](#)
- [Canto Two](#)
- [Canto Three](#)
- [Canto Four](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)



Владимир Набоков
БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ

Посвящаю моей жене

От переводчицы

Когда этот трудный перевод был сделан начерно, оказалось, что потребуется еще очень большая работа, прежде чем можно будет его напечатать. Эта работа заняла у меня три с лишним года. Перевод «Бледного огня» представлял некоторые особые трудности сверх обычных трудностей перевода набоковских текстов, в которых каждая фраза наполнена до краев содержанием и не заключает в себе ни единого лишнего слова.

В этой книге «примечания» к поэме вовсе не являются примечаниями к ней. Все же они состоят в некоторой связи с цитируемыми строчками, и связь эта должна быть сохранена, что не всегда случается автоматически при точном переводе строчек и примечания. Вот несколько случаев, в которых переводчице пришлось слегка отклониться от оригинального текста:

В строчках [728–729](#) сделана попытка сохранить хотя бы намек на остроумную игру слов оригинала.

Строки [653–664](#). Хотя поэма переведена без рифм и размера, эти строчки потребовали ритма для сохранения ауры «Лесного царя» (который в дальнейшем еще раз дает о себе знать).

Строчки [828](#) и [830](#) также не могли обойтись без рифмы.

Я старалась как можно ближе придерживаться смысла оригинала, но все же не смею утверждать, что мне удалось понять и передать всю сложную внутреннюю переключку мыслей и образов.

ВЕРА НАБОКОВА

Монтрё, 16 ноября 1982 г.

БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ

Это напомнило мне его курьезный рассказ мистеру Лэнгтону о непристойном поведении одного молодого человека из хорошей семьи: «Сударь, последний раз, что мне о нем говорили, он бежал по городу и стрелял кошек». А потом, в каком-то ласковом рассеянии, он вспомнил про своего любимца кота и сказал: «Но Ходжа никто не застрелит, — нет, нет, Ходжа никто не застрелит».

ДЖЕЙМС БОСВЕЛЬ.

Жизнь Сэмюеля Джонсона

Предисловие

Написанная героической строфой поэма «Бледный огонь» — девятьсот девяносто девять строк, разделенных на четыре песни, — сочинена Джоном Фрэнсисом Шейдом (род. 5 июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в течение последних двадцати дней его жизни, в собственном его доме в Нью-Уае, в штате Аппалачия, США. Рукопись, большей частью чистовой экземпляр, с которого совершенно точно отпечатан настоящий текст, состоит из восьмидесяти библиотечных карточек среднего формата, из коих на каждой Шейд употреблял розовую линию для заголовка (номер песни, дата), а на остальных четырнадцати голубых линиях тонким пером, мельчайшим, аккуратным, удивительно ясным почерком, выписывал текст поэмы, с пропуском одной линии в обозначение двойного интервала, всегда начиная новую карточку под начало каждой песни.

Короткая (166 строк) Песнь первая, со всеми ее забавными птицами и паргелиями, занимает тринадцать карточек. Ваша любимая Песнь вторая, а также Песнь третья, этот поразительный *tour de force*, одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцать семь карточек каждая. Песнь четвертая совпадает по длине с первой и, так же как она, занимает тринадцать карточек, из коих четыре последние, использованные им в день смерти, принадлежат не к чистовому экземпляру, а к исправленному черновику.

Будучи человеком методичным, Джон Шейд обычно к полуночи переписывал очередную порцию завершенных строк, но даже если он иной раз, как я подозреваю, и переписывал их позднее заново, то помечал карточку (или карточки) не днем окончательной правки, а датой исправленного черновика или первого чистового экземпляра. Я хочу сказать, что он сохранял фактическую дату написания в предпочтение вариантам правки. Прямо напротив моей нынешней квартиры находится очень громкий увеселительный парк.

В результате мы располагаем полным календарем его работы. Песнь первая была начата в после-полуночные часы 2 июля и завершена 4 июля. Следующую песнь он начал в свой день рождения и закончил 11 июля. Еще одна неделя была посвящена Песни третьей. Песнь четвертая была начата 19 июля, и, как уже отмечено, последняя треть ее текста (строки [949–999](#)) дошла до нас лишь в форме исправленного черновика. Этот отрывок, по виду чрезвычайно растрепанный, изобилующий опустошительными

подчистками и стихийного масштаба вставками, не следует линиям карточек с той же педантичностью, что чистовой экземпляр. В действительности же, как только вы погружаетесь в него и принуждаете себя открыть глаза в прозрачных глубинах под его возмущенной поверхностью, он оказывается изумительно точным. В нем нет ни единой неполной строки, ни одного сомнительного прочтения. Этого факта достаточно, чтобы показать, что обвинения, выдвинутые (24 июля 1959 г.) в газетном интервью одним из наших самозванных шейдистов — утверждавшим, *никогда не выдав рукописи поэмы*, что она «состоит из разрозненных набросков, из которых ни один не представляет точного текста», — есть злостная выдумка тех, кто желал бы не столько пожалеть, о том, в каком состоянии работа великого поэта была прервана смертью, сколько подвергнуть хуле компетенцию, а может быть, и честность нынешнего редактора и комментатора.

Другое заявление, сделанное публично профессором Хёрли и его кликой, относится к структурным соображениям. Цитирую из того же интервью: «Никто не может сказать, какой длины предполагал сделать свою поэму Джон Шейд, но вовсе не исключено, что оставленное им есть лишь малая часть сочинения, видевшегося ему туманно, как бы сквозь стекло». Опять чепуха! Помимо сущего горна внутренней очевидности, звенящего на протяжении всей Песни четвертой, существует свидетельство Сибиллы Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж «никогда не намеревался выйти за пределы четырех частей». Для него Третья песнь была предпоследней, и я лично слышал, как он говорил об этом во время прогулки на закате, когда, как бы думая вслух, он делал смотр трудам минувшего дня и жестикулировал в простительном самоодобрении, меж тем как его сдержанный спутник безуспешно старался приноровить ритм своего долгоногого размашистого шага к порывистой дергающейся походке растрепанного старого поэта. Более того, я даже осмелюсь утверждать (пока наши тени продолжают прогулку без нас), что ему оставалось написать лишь *одну строку поэмы* (а именно, стих [1000](#)), которая была бы идентична первой строке и завершила бы структурную симметрию, с двумя одинаковой длины центральными частями, основательными и пространными, образующими вместе с более короткими флангами пару крыл в пятьсот строк каждое, и будь она проклята, эта музыка. Зная комбинационную склонность ума Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я не могу себе представить, чтобы он намеревался искалечить грани своего кристалла, препятствуя его предсказуемому росту. И если бы и этого не было достаточно — а этого

совершенно, совершенно достаточно, — я имел несравненную возможность услышать из собственных уст моего бедного друга вечером 21 июля, что труд его завершен — или почти завершен (смотри мое примечание к стиху [991](#)).

Эта пачка из восьмидесяти карточек была скреплена резиновым кольцом, которое я теперь вновь благоговейно на них натягиваю, в последний раз просмотрев их драгоценное содержание. Другая, гораздо более тонкая стопка, состоящая из двенадцати карточек, которые были скреплены вместе и помещены в тот же бурый конверт, что и главная пачка, содержит несколько дополнительных двестишестидесяти, пролагающих свой краткий и несколько смазанный путь сквозь хаос первоначальных набросков. Шейд держал за правило уничтожать черновики, как только у него отпадала в них нужда; я хорошо помню, как одним сияющим утром я видел с моего крыльца, как он сжег целую колоду их в бледном огне мусорной печи, перед которой он стоял, склонив голову, как официальный плакальщик на похоронах, среди подхватываемых ветром черных бабочек этого задворочного аутодафе. Он все же сохранил эти двенадцать карточек ради неиспользованных удач, сияющих из-под окалины исчерпанных черновиков. Возможно, что он смутно предполагал заменить некоторые места чистового экземпляра иными прелестными вариантами из своего запаса, или, что более вероятно, предпочтение, украдкой питаемое к тому или иному наброску, исключенному из соображений архитектоники или же потому, что это раздражало С., побудило его отложить запасные варианты до того времени, когда мраморная завершенность безупречной машинописи либо подтвердит их, либо заставит казаться самый изящный вариант неуклюжим и нечистым. А еще возможно, и да будет мне позволено добавить это со всей скромностью, что он намеревался испросить моего совета по прочтении поэмы мне, — это, я знаю, входило в его планы.

Эти отвергнутые разночтения читатель найдет в моих комментариях к поэме. На их место в тексте указывают или, по крайней мере, намекают черновики окончательных строк, находящихся в непосредственной близости. В некотором смысле многие из них обладают большей художественной и исторической ценностью, чем иные из лучших мест в конечном тексте. Здесь мне следует объяснить, каким образом я оказался редактором «Бледного огня».

Тотчас после смерти моего дорогого друга я убедил убитую горем вдову предусмотреть и дать категорический отпор коммерческим страстям и академическим интригам, которые не могли не разыграться вокруг рукописи ее мужа (переправленной мною в надежное место еще до того,

как его тело упокоилось в могиле), подписав соглашение о том, что он передал рукопись мне; что я незамедлительно опубликую ее с моим комментарием в любом издательстве по моему выбору; что весь доход, за вычетом доли издателя, поступит ей; и что в день публикации рукопись будет передана в Библиотеку Конгресса на вечное хранение. Я предлагаю любому серьезному критику найти какую бы то ни было несправедливость в таком контракте. Тем не менее он был назван (бывшим адвокатом Шейда) «фантастическим месивом зла», меж тем как другое лицо (его бывший литературный агент) с издевкой интересовалось, почему это дрожащая подпись г-жи Шейд выведена «какими-то странными красными чернилами». Такие сердца и такие умы не в состоянии понять, что привязанность человека к шедеврному может быть совершенно подавляющей, в особенности когда изнанка ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя, чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного автора.

Как, кажется, упомянуто в моем последнем примечании к поэме, глубинная бомба смерти Шейда разворотила такие тайны и подняла со дна столько мертвой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Уай вскоре после моей последней беседы с помещенным в заключение убийцей. Составление комментария пришлось отложить до тех пор, пока я не подыщу нового инкогнито в более спокойном окружении, но практические вопросы, относящиеся к поэме, требовали безотлагательного разрешения. Я полетел в Нью-Йорк, сделал фотокопию рукописи, договорился об условиях с одним из издателей Шейда и уже был на грани заключения сделки, когда, как бы вскользь, посреди необъятного заката (мы сидели в орехово-стеклянной келье в пятидесяти этажах над процессией скарабеев), мой собеседник заметил: «Вы будете рады узнать, доктор Кинбот, что профессор Имя рек (один из членов Шейдовского комитета) согласился сотрудничать с нами в качестве консультанта по этому материалу».

«Радость», знаете ли, есть нечто чрезвычайно субъективное. Одна из наших глуповатых земблянских поговорок гласит: *радуется потерянная перчатка*. Я немедленно защелкнул замок моего портфеля и направился к другому издателю.

Вообразите мягкосердечного неуклюжего великана, вообразите историческую личность, для которой понятие о деньгах сводится к абстрактным миллиардам государственного долга; вообразите монарха в изгнании, не подозревающего о Голконде, скрытой в его запонках! Все это к тому — о, с преувеличением, — что я самый непрактичный человек в мире. Отношения между таким человеком и старой лисой книгопечатного

дела бывают сначала трогательно беззаботные и приятельские, исполненные дружелюбного поддразнивания и знаков взаимной приязни. У меня нет оснований полагать, что какая-либо случайность помешает подобным первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим нынешним издателем, остаться такими.

Фрэнк подтвердил благополучное возвращение корректуры, которую он высылал мне сюда, и попросил упомянуть в моем предисловии — и я охотно это делаю, — что ответственность за все ошибки в комментариях лежит исключительно на мне. Вставить перед профессиональный. Профессиональный корректор внимательно сверил с фотокопией манускрипта печатный текст поэмы и нашел в нем несколько пропущенных мною пустяковых опечаток; это была единственная посторонняя помощь, к которой мне пришлось прибегнуть. Излишне говорить о том, как уповал я на получение от Сибиллы Шейд массы биографических данных, но она, к сожалению, покинула Нью-Уай еще прежде меня и в настоящее время живет у родственников в Квебеке. Мы, разумеется, могли бы вести плодотворнейшую переписку, но от господ шейдистов так просто не отделаешься. Они стаями ринулись в Канаду и набросились на бедную женщину, как только я потерял контакт с ней и с ее переменчивыми настроениями. Вместо того чтобы ответить на мое месячной давности письмо из моей сидарнской пещеры, где перечислялись некоторые из самых важных вопросов, в том числе вопрос о настоящем имени Джима Коутса и т. д., она внезапно ошарашила меня телеграммой с просьбой принять профессора Х. (!) и профессора К. (!!) в качестве соредкторов поэмы ее мужа. Как глубоко это поразило и уязвило меня! Естественно, это исключило всякую возможность сотрудничества с введенной в заблуждение вдовой моего друга.

А он и впрямь был моим другом! Согласно календарю мы были знакомы лишь несколько месяцев, но существует вид дружбы со своей собственной внутренней длительностью, с собственными зонами прозрачного времени, не зависящими от вертящейся зловредной музыки. Я никогда не забуду возбуждения, охватившего меня при известии, как упомянуто в одном из примечаний, до которого читатель дойдет, о том, что пригородный дом (снятый для меня у судьи Гольдсворта, отбывшего в Англию на отпускной год), в который я въехал 5 февраля 1959 года, расположен рядом с домом знаменитого американского поэта, чьи стихи я пытался переложить на земблянский язык два десятилетия назад! Помимо этого славного соседства, гольдсвортовское шато, как я вскоре понял, не отличалось особыми достоинствами. Система отопления представляла из

себя фарс, поскольку зависела от вентиляционных отдушин в полу, откуда тепловатые истечения урчащей и стонущей топки подавались в комнаты со слабостью последнего вдоха умирающего. Залепив выходные отверстия наверху, я пытался направить побольше энергии в гостиную, но ее климат оказался неизлечимо подорванным, т. к. между ней и арктическими областями не было ничего, кроме тонкой входной двери, без какого-либо признака прихожей — потому ли, что дом этот был построен в разгар лета наивным поселенцем, не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него Нью-Уай, или в силу некой старозаветной чопорности, требовавшей, чтобы случайный гость мог через открытую дверь убедиться, что в гостиной не происходит ничего предосудительного.

В Зембле февраль и март (последние два из четырех «белоносых месяцев», как мы их называем) тоже бывали довольно суровыми, но даже в крестьянской избе всегда была равномерная масса тепла, а не сеть убийственных сквозняков. Правда, как обычно случается с новоприезжими, мне объяснили, что я выбрал худшую зиму за много лет, — и это на широте Палермо! В одно из первых моих тамошних утр, когда я собирался отправиться в колледж на только что приобретенном мощном красном автомобиле, я заметил, что г-н и г-жа Шейд, с которыми я до тех пор еще не встречался в обществе (как я узнал впоследствии, они полагали, что я предпочитаю быть оставленным в покое), хлопотали вокруг своего старого «паккарда» на скользком выезде из гаража, где он выпускал страдальческий вой, но никак не мог извлечь замученное заднее колесо из ледяного ада выбоины. Джон Шейд неуклюже возился с ведром, из которого он жестами сеятеля разбрасывал по голубой глазури пригоршни бурого песка. Он был в ботах, его викуний воротник был поднят, на солнце его обильная седая шевелюра, казалось, была покрыта инеем. Я знал, что за несколько месяцев до этого он болел, и поспешил к ним, думая подвезти моих соседей до кампуса на своей мощной машине. Мой наемный замок был отделен от выезда соседей переулком, огибавшим легкое возвышение, на котором он стоял, и я собирался пересечь его, как вдруг потерял равновесие и сел на удивительно жесткий снег. Мое падение подействовало на седан Шейдов подобно химическому реактиву, — он немедленно тронулся с места и едва не переехал меня, меж тем как Джон энергично гримасничал за рулем, а Сибилла что-то свирепо ему втолковывала. Я не уверен, что кто-либо из них меня заметил.

Однако несколькими днями позднее, а именно в понедельник 16 февраля, меня представили старому поэту за завтраком в клубе академического персонала. «Наконец вручил верительные грамоты», как

записано с легкой иронией в моем рабочем дневнике. Вместе с четырьмя или пятью другими заслуженными профессорами я был приглашен к его обычному столу под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, ошеломленного и облупленного, каким он был запечатлен в удивительно мрачный летний день 1903 года. Меня позабавило его лаконичное предложение «отведать свинины». Я — строгий вегетарианец и предпочитаю сам готовить себе пищу. Как я объяснил моим румяным сотрапезникам, употреблять в пищу что-либо прошедшее через руки другого живого существа, мне столь же отвратительно, как есть такое существо, включая — тут я понизил голос — пухлявую студентку с жеребьячим хвостиком, которая прислуживала нам, слюнявя карандаш. Кроме того, я уже покончил с принесенным в портфеле фруктом, сказал я, и потому удовольствуюсь бутылкой доброго колледжского эля. Мое вольное и простое обращение разрядило атмосферу. Посыпались обычные вопросы — о том, приемлемы ли для человека моих убеждений яичные и молочные напитки. Шейд сказал, что его случай скорее обратный: чтобы поест овощей, ему необходимо совершить усилие. Приступить к салату для него все равно что войти в холодный день в морскую воду, а для атаки на крепость яблока ему надо основательно взять себя в руки. К тому времени я еще не освоился с довольно утомительным шутовством и подтруниванием, принятыми в тесной американской академической среде, и потому воздержался от того, чтобы высказать Джону Шейду в присутствии этих ухмыляющихся старых мужчин мое глубокое восхищение его творчеством, дабы серьезная литературная беседа не выродилась в обыкновенное гаерство. Вместо этого я задал ему вопрос об одном из моих новообретенных студентов, посещавшем также его курс, — замкнутом, тонком, довольно обаятельном мальчике; но старый поэт в ответ мне тряхнул решительно седым чубом и сказал, что давным-давно перестал запоминать имена и лица студентов, и из всего семинара поэзии помнит зрительно только вольнослушающую даму на костылях. «Да ну, — сказал профессор Хёрли. — Неужели, Джон, вы ни сном ни духом не помните эту потрясающую блондинку в черном трико из литературного курса 202?» Шейд, лучась всеми морщинками, добродушно похлопал Хёрли по кисти, чтобы тот перестал. Другой инквизитор спросил, правда ли, что я установил у себя в подвале два стола для пинг-понга. «Разве это преступление?» — спросил я. Нет, отвечал он, но зачем же два? «Разве это преступление?» — парировал я, и все рассмеялись.

Несмотря на слабое сердце (см. стих [736](#)), легкую хромоту и некую любопытную неправильность в методе передвижения, Шейд непомерно

любил длинные прогулки, но снег мешал ему, и зимой он предпочитал, чтобы после лекций за ним заезжала жена. Несколькими днями позднее, выходя из Партеносиссус-Холла — или Мэйн-Холла (ныне, увы, Шейд-Холла), я увидел его, ожидавшего снаружи приезда г-жи Шейд. С минуту я стоял рядом, на ступеньках входного портика, натягивая палец за пальцем перчатки и посматривая в сторону, как бы готовясь к приему парада. «За совесть стараетесь», — заметил поэт. Он взглянул на часы. На них упала снежинка. «Кристалл на хрусталь», — сказал Шейд. Я предложил подвезти его домой на моем мощном «крэмлере». «Жены забывчивы, г-н Шейд». Он вскинул лохматую голову и посмотрел на часы на здании библиотеки. Через широкий унылый пустырь покрытого снегом газона, смеясь и скользя, шли два сияющих румянцем юнца в цветистых зимних одеждах. Шейд вновь посмотрел на свои часы и, пожав плечами, принял мое предложение.

Я спросил, не будет ли он возражать, если мы поедем кружным путем, через центр университетского поселка, где я хотел купить печенья в шоколаде и немного икры. Он сказал, что ничего не имеет против. Изнутри супермаркета, сквозь цельное стекло окна, я видел, как мой старичок юркнул в винную лавку. Когда я воротился с покупками, он вновь сидел в машине, читая бульварную газетку, какую, по моим понятиям, ни один поэт не удостоит прикосновения. По уютной отрыжке я понял, что на его тепло укутанной фигуре припрятана фляжка со спиртным. Когда мы въезжали в аллею гаража, к дому как раз подкатила Сибилла. Я вышел из машины в учтивом оживлении. «Раз уж мой муж не считает нужным представлять людей друг другу — сказала она, — давайте сделаем это сами. Вы ведь доктор Кинбот, да? А меня зовут Сибилла Шейд». Затем она обратилась к мужу, говоря, что он мог бы подождать ее лишнюю минуту в кабинете: она-де и гудела, и кричала, и даже пошла наверх и т. д. Я повернулся, чтоб уйти, не желая оказаться свидетелем семейной сцены, но она окликнула меня: «Выпейте с нами, — сказала она, — то есть, скорее, со мной, потому что Джону запрещено прикасаться к спиртному». Я объяснил, что не могу долго задерживаться, ибо мне предстоит своего рода небольшой семинар на дому и тур настольного тенниса с парой прелестных близнецов и еще одним другим мальчиком, другим мальчиком.

С этих пор я все чаще и чаще видел моего знаменитого соседа. Вид, открывавшийся в одном из моих окон, обеспечивал меня постоянным первоклассным развлечением, в особенности когда я ожидал какого-нибудь позднего гостя. Пока ветви разделявших нас лиственных деревьев оставались обнаженными, со второго этажа моего дома мне было ясно

видно окно гостиной Шейдов, и почти каждый вечер я мог наблюдать тихое качание обуви в шлепанец ноги поэта. Из чего можно было заключить, что он сидит с книгой в низком кресле, но ничего, кроме этой ноги и ее тени, ходившей вверх и вниз по стене в тайном ритме сосредоточенной мысли, в густом свете лампы, разглядеть не удавалось. Всегда в одно и то же время коричневый сафьяновый шлепанец падал с одетой в шерстяной носок ноги, которая продолжала качаться, хотя и в несколько замедленном темпе. Было ясно, что надвигается время сна со всеми его страхами, что через несколько минут кончик ноги начнет нащупывать и теревить шлепанец, а затем исчезнет вместе с ним из золотого поля моего зрения, пересеченного черной перевязью ветки. А иногда в нем легко пробегала Сибилла Шейд, спеша и размахивая руками, как бы в припадке раздражения, и немного позднее возвращалась уже гораздо более медленным шагом, как будто простив мужу его дружбу с чудаковатым соседом. Но загадка ее поведения полностью разрешилась однажды вечером, когда, набрав их номер и наблюдая в то же время за окном, я волшебным образом заставил ее произвести весь цикл этих торопливых и вполне невинных движений, столь меня озадачивших.

Увы, моему душевному покою предстояло в скором времени быть нарушенным. Как только в академическом поселке поняли, что Джон Шейд ценит мое общество выше всех прочих, в меня полетели брызги густого яда зависти. От нашего внимания не ускользнуло ваше тихое хихиканье, дражайшая г-жа К., когда после нудной вечеринки в вашем доме я помог усталому старику-поэту найти галоши. Однажды мне случилось зайти в профессорскую факультета английской литературы в поисках журнала с фотографией королевского дворца в Онхаве, которую я хотел показать моему другу, когда услышал, как молодой преподаватель в зеленом бархатном пиджаке — из милосердия назову его Джеральд Эмеральд — небрежно ответил на какой-то вопрос секретаря: «Мне кажется, г-н Шейд уже ушел с Великим Бобром». Это правда, я высок ростом, и моя каштановая борода отличается густотой и глубиной оттенка; глупая кличка явно относилась ко мне, но не заслуживала внимания, и, спокойно взяв журнал с заваленного брошюрами стола, я удовольствовался тем, что на пути к выходу ловким движением пальцев распустил, проходя мимо Джеральда Эмеральда, его галстук бантом. А еще было утро, когда доктор Натточдаг, глава отделения, при котором я состоял, официальным тоном попросил меня присесть, закрыл дверь и, хмуро опустившись в свое вращающееся кресло, предложил мне «быть поосторожнее». В каком смысле поосторожнее? Некий юноша пожаловался консультанту. Боже

правый, на что же он пожаловался? На то, что я критиковал посещаемый им курс литературы («глупейший обзор глупейших работ, преподаваемый глупейшей посредственностью»). Рассмеявшись в совершенном облегчении, я обнял милейшего Неточку и пообещал больше не шалить. Пользуюсь случаем послать ему привет. Он всегда относился ко мне с такой изысканной учтивостью, что я иной раз подумывал, не подозревает ли он того же, что Шейд, что знали наверняка только три человека — два попечителя и президент колледжа.

О, подобных инцидентов было множество. В скетче, разыгранном группой студентов театрального отделения, я был представлен в виде напыщенного женоненавистника с немецким акцентом, постоянно цитирующего Хаусмана и грызущего сырую морковь. А за неделю до смерти Шейда некая неистовая дама, в чьем клубе я отказался читать лекцию о «Халли-Валли» (как она выразилась, смешав чертог Одина с заглавием финского эпоса), сказала мне посреди продуктового магазина: «Вы удивительно неприятный человек. Не пойму, как вас выносят Джон и Сибилла» — и, выведенная из себя моей вежливой улыбкой, добавила: «Кроме того, вы сумасшедший».

Но позвольте мне прекратить этот перечень глупостей. Что бы там ни думали, что бы ни говорили, дружба Джона была мне полным возмещением. Эта дружба была еще драгоценнее для меня из-за нарочито скрываемой нежности, в особенности когда мы бывали не одни, из-за грубоватости, происходящей от того, что можно определить как достоинство души. Все его существо представляло собой маскарадный наряд. Внешний вид Джона Шейда так мало соответствовал роившимся в нем гармониям, что возникало желание отместить его как грубую личину или преходящую моду; ибо если мода романтической эпохи утончала мужественность поэта обнажением его привлекательной шеи, утончением профиля и отражением горного озера в его овальном взоре, барды нынешнего дня, благодаря, очевидно, большим возможностям долголетия, выглядят как гориллы или стервятники. Лицо моего возвышенного соседа заключало в себе нечто способное даже нравиться взгляду, если бы оно было только львиным или только ирокезским; к несчастью, совмещая в себе то и другое, оно напоминало лишь лицо мясистого хогартовского пьяницы неопределенного пола. Его бесформенное тело, обильная седая грива густой шевелюры, желтые ногти его пухлых пальцев, мешки под тусклыми глазами — все это становилось понятным, только если рассматривалось как отбросы, элиминированные из его истинного существа теми же силами совершенствования, которые очищали и

чеканили его стихи. Он сам себя погашал.

У меня есть одна его фотография, особенно мне дорогая. На этом цветном любительском снимке, сделанном в яркий весенний день моим бывшим приятелем, Шейд изображен опирающимся на крепкую трость, принадлежавшую некогда его тетке Мод (см. стих [86](#)). На мне белая непромокаемая куртка, приобретенная в местном магазине спортивных товаров, и пара лиловых штанов родом из Канн. Моя левая рука наполовину поднята — не затем, чтобы похлопать Шейда по плечу, как это может показаться, но чтобы снять темные очки, до которых, однако, она так и не дотянулась в *той* жизни, жизни снимка; библиотечная книга, зажатая под моей правой рукой, — это трактат об одной земблянской разновидности гимнастики, которой я намеревался заинтересовать моего юного жильца, сделавшего эту фотографию. Неделей позже он обманул мое доверие, гнусно воспользовавшись моим отсутствием во время поездки в Вашингтон, вернувшись откуда я обнаружил, что он развлекался с огневолосой экстонской шлюхой, оставившей свои очески и вонь во всех трех ваннах. Разумеется, мы тотчас же расстались, и в просвет оконных занавесок я мог видеть негодника Боба, стоявшего довольно трогательно со своими волосами ежиком, с облупленным чемоданом и лыжами, которые я ему подарил, в ожидании товарища по клубу, чтобы навсегда с ним уехать. Я могу простить все, кроме измены.

Мы с Джоном Шейдом никогда не обсуждали мои личные невзгоды. Наша тесная дружба была на том высшем, исключительно интеллектуальном уровне, где человек отдыхает от эмоциональных горестей, а не делится ими. Мое восхищение им служило своего рода альпийским лечением. Глядя на него, я всегда испытывал возвышенное чувство изумления, в особенности в присутствии других людей, людей более низкого разряда. Это изумление усугублялось сознанием, что они не чувствуют того, что чувствую я, не видят того, что я вижу; что они воспринимают Шейда как нечто само собой разумеющееся вместо того, чтобы напивать, если можно так выразиться, каждый нерв романтикой его присутствия. Вот он, говорил я себе, вот его голова, содержащая мозг иного сорта, чем синтетический студень, расфасованный в окружающие его черепа. Он смотрит с террасы (в доме профессора К. в тот мартовский вечер) на далекое озеро. Я смотрю на него. Я присутствую при уникальном физиологическом явлении: Джон Шейд воспринимает и претворяет мир, вбирая его и разлагая на составные элементы, меняя их местами и в то же время складывая про запас, чтобы в один непредугаданный день произвести органическое чудо, слияние образа и музыки, поэтическую

строку. И я испытывал возбуждение того же рода, что в раннем детстве, в замке дяди, где я наблюдал через стол за фокусником, только что давшим фантастическое представление и теперь спокойно поглощавшим ванильное мороженое. Я смотрел на его пудренные щеки, на волшебный цветок в петлице, где он многократно менял окраску и теперь застыл в виде белой гвоздики, и в особенности на его чудесные текучие на вид пальцы, которые могли по желанию растворить ложку в солнечный луч простым верчением либо превратить тарелку в голубя, подбросив ее в воздух.

Именно таким внезапным мановением волшебства является поэма Шейда: мой седовласый друг, мой любимый старый фокусник всунул в шляпу колоду карточек — и вытряхнул оттуда поэму.

Обратимся же теперь к поэме. Надеюсь, что мое предисловие не вышло чересчур скудным. Прочие примечания, расположенные как построчный комментарий, наверное, удовлетворят самого требовательного читателя. Хотя эти примечания, согласно обычаю, помещены в конце поэмы, читателю рекомендуется просмотреть их в первую очередь, а уже затем, с их помощью, изучить поэму, перечитывая их, разумеется, по мере ознакомления с текстом, а покончив с поэмой, пожалуй, просмотреть их в третий раз для полноты картины. В подобных случаях я нахожу разумным во избежание канители постоянного перелистывания либо вырезать страницы и подколоть их к соответствующим местам текста, либо, что еще проще, приобрести два экземпляра книги с тем, чтобы поместить их бок о бок на удобном столе — не на тряском сооружении наподобие моего, на которое с риском водворена моя пишущая машинка, в этом убогом мотеле, с каруселью внутри и снаружи моей головы, за много миль от Нью-Уая.

Разрешите мне сказать, что без моих комментариев текст Шейда попросту лишен всякой человеческой реальности, ибо человеческая реальность такой поэмы, как эта, чересчур капризной и сдержанной для автобиографии, с пропуском многих содержательных строк, необдуманно им отвергнутых, зависит полностью от реальности автора и его окружения, привязанностей и т. д. — реальности, дать которую могут только мои примечания. Мой дорогой поэт, по всей вероятности, не подписался бы под таким заявлением, но к добру ли, к худу ли, последнее слово остается за комментатором.

ЧАРЛЬЗ КИНБОТ

19 октября 1959 г.

Сидарн, Ютана

Бледный огонь

(поэма в четырех песнях)

Песнь первая

[001](#) Я был тенью свиристеля, убитого

Ложной лазурью оконного стекла;
Я был мазком пепельного пуха, — и я
Продолжал жить и лететь в отраженном небе.
И также я удваивал изнутри
Себя, лампу, яблоко на тарелке, —
Раздвинув занавески, скрывавшие ночь, я давал темному стеклу
Развесить над травой всю мебель,
И как было дивно, когда снег

[010](#) Накрывал весь видный мне лужок и вздымался так,
Что кресло и кровать стояли в точности
На снегу, [на этой хрустальной земле!](#)

Снимите снова снегопад: каждая плывущая снежинка
Бесформенна и медленна, неустойчива и плотна,
Тусклая темная белизна на бледной белизне дня,
Среди абстрактных лиственниц в нейтральном свете.

[И после: градации синевы,](#)

Когда ночь сливает зрителя со зримым;
А поутру морозные алмазы

[020](#) Изумлены: чьи это ноги в шпорах пересекли
Слева направо белую страницу дороги?
Слева направо читается шифр зимы:
Точка, стрелка назад; повторение:
Точка, стрелка назад... Фазаний след!
С полоскою вокруг шеи щеголь, рябчик облагороженный,
Обретший свой Китай позади моего дома.
Не в [«Шерлок Холмсе»](#) ли он был, тот, чьи
Следы повернутых вспять башмаков указывали назад?

Всякий цвет [мог радовать](#) меня: даже серый.

[030](#) Мои глаза в буквальном смысле
Фотографировали. Как только я позволял
Или, в безмолвном трепете, повелевал,
Все, бывшее в поле моего зрения, —
Домашняя ли сценка, листья карий или стройный
[Стилет застынувшей капли, —](#)
Все запечатлевалось на исподе моих век,
Где сохранялось час-другой,
И пока это длилось, мне стоило
[Закрывать глаза, чтоб воспроизвести листву,](#)
[040](#) Домашнюю сценку или трофеи стрех.

Я не пойму, почему прежде с озера
[Я мог различить](#) наше крыльцо, идя
Озерной дорогой в школу, а нынче, хотя ни единое дерево
Не застит вида, я всматриваюсь и не разгляжу
Даже крыши. Возможно, что какой-то сдвиг в пространстве
Произвел складку или борозду, сместившую
Этот хрупкий вид, дощатый дом между
[Гольдсвортом и Вордсмитом,](#) на квадрате зелени.

У меня там была любимая молодая [кария](#)
[050](#) С крупными темно-нефритовыми листьями и черным,
щуплым,
Источенным бороздками стволом. Закатное солнце
Бронзировало черную кору, по которой, как развившиеся
Гирлянды, спадали тени ветвей.
Теперь она крепка и шершава, хорошо разрослась.
Белые бабочки становятся бледно-лиловыми, когда
Пролетают в ее тени, где как будто тихо покачивается
[Призрак качелей моей маленькой дочери.](#)

Сам дом почти не изменился. Одно крыло
Мы обновили. Здесь солярий. Здесь
[060](#) Видовое окно обставлено затейливыми креслами.
[Огромная скрепка телеантенны](#) блестит на месте
Негнущегося флюгера, который [часто](#) посещал
Наивный и воздушный пересмешник.

Он пересказывал все слышанные им программы,
Переходя с *чиппо-чиппо* на ясное
Ту-уи, ту-уи, потом на хриплое: *приди*,
Приди, при-пррр; вскидывая кверху хвост
Или изящно предаваясь легким
Прыжкам вверх-вниз и тотчас же (*ту-уи*),
[070](#) Садясь на свой насест — [на новую антенну](#).

Я был дитя, когда умерли мои [родители](#).
Оба были орнитологи. Я так часто
Пытался их вообразить, что ныне
У меня тысяча родителей. Как грустно они
Тают в собственных добродетелях и удаляются,
Но иные слова, случайно услышанные или прочитанные, —
Такие как «больное сердце» — всегда относятся
К нему, а «рак поджелудочной железы» — к ней.

[Любитель прошлого](#): сбиратель остывших гнезд.
[080](#) Здесь была [моя спальня](#), отведенная теперь гостям.
Здесь, уложенный в постель горничной-канадкой,
Я прислушивался к жужжанию голосов внизу и молился,
Чтобы все всегда были здоровы,
Дядья и тетки, горничная, ее племянница Адель,
[Видавшая Папу](#), люди в книжках и Бог.

Меня воспитала милая эксцентричная [тетушка Мод](#),
Поэтесса и художница со склонностью
К конкретным предметам вперемежку
С гротескными разрастаниями и образами смерти.
[090](#) Она дожила до крика нового младенца. [Ее комнату](#)
Мы оставили нетронутой. Там все [мелочи](#)
Складываются в натюрморт в ее стиле: [пресс-папье](#)
Из выпуклого стекла с лагуной внутри,
Книга стихов, открытая на оглавлении (Мавр,
Месяц, Мораль), грустящая гитара,
Человеческий череп; и из местной «Стар»
Курьез: «Красные носки» победили «Янки»^[1] 5:4
[Гомером Чэпмена](#)^[2] — приколотый кнопками к двери.

Мой Бог умер молодым. Богопоклонство я находил
[100](#) Унизительным, а доказательства — неубедительными.
[Свободному не нужен Бог](#) — но был ли я свободен?
Как полно я ощущал природу прилепленной ко мне,
И как мое детское небо любило
Полурыбный-полумедовый вкус этой золотой пастилы!
Книжкой картинок мне в ранние годы служил
Расписной пергамент, которым оклеена наша клетка:
Лиловато-розовые кольца вокруг луны, кроваво-оранжевое
солнце,
Двойная Ирида и это редкое явление —
[Ложная радуга](#), — когда, прекрасное и странное,
[110](#) В ярком небе над горной грядой одинокое
Овальное опаловое облачко
Отражает радугу, следствие грозы,
Разыгранной где-то в далекой долине, —
Ибо мы заключены в искуснейшую клетку.

А еще есть стена звуков, еженощная стена,
Возводимая осенью триллионом сверчков.
Непроницаемая! На полпути к вершине холма
Я останавливался, заполоненный их исступленной трелью.
Вот свет у [доктора Саттона](#). Вот Большая Медведица.
[120](#) Тысяча лет тому назад пять минут равнялось
[Сорока унциям мелкого песка](#).
Переглядеть звезды. Вечность впереди
И вечность позади: над твоей головой
Они смыкаются, как гигантские крылья, и ты мертв.

Обычный мещанин, я полагаю,
Счастливее: он видит Млечный Путь,
Лишь выйдя помочиться. Тогда, как и теперь,
Я шел за собственный свой страх и риск — иссеченный ветвями.
Подкарауленный подножкой пня. Хромой и толстый астматик,
[130](#) [Я никогда не бил мячом об землю на бегу и никогда не
зanosил биты.](#)

[Я был тенью свиристеля, убитого](#)

Мнимой далью оконного стекла.
Имея мозг, пять чувств (одно неповторимое),
В остальном я был лишь неуклюжим монстром.
Во сне я играл с другими детьми,
Но, по правде, не завидовал ничему — разве что
Чуду [лемнискаты](#), отпечатанной
На влажном песке небрежно-проворными
Шинами велосипеда.

Нить тончайшей боли,

[140](#) Натягиваемая игривой смертью, ослабляемая,
Не исчезающая никогда, тянулась сквозь меня. Однажды,
Когда мне минуло одиннадцать и я лежал
Ничком, следя, как [заводная игрушка](#) —
Жестяная тачка, толкаемая жестяным мальчиком,
Обогнула ножки стула и ушла под кровать,
В голове моей вдруг грянуло солнце.

А затем — черная ночь. Великолепная чернота;
Я ощущал себя распределенным в пространстве и во времени:

[Одна нога на горной вершине](#), одна рука

[150](#) Под галькой пыхтящего побережья.
Одно ухо в Италии, один глаз в Испании,
В пещерах моя кровь, и мозг мой среди звезд.
Глухое биение было в моем триасе, зеленые
Оптические пятна в верхнем плейстоцене,
Ледяная дрожь вдоль моего каменного века,
И в нерве локтевом все завтрашние дни.

В течение одной зимы я, каждый день после полудня,
Погружался в этот мгновенный обморок.
Потом прошло. Почти не вспоминалось.

[160](#) Мое здоровье улучшилось. Я даже научился плавать.

Но, как мальчонка, принужденный шлюхой
[Невинным языком утолять ее гнусную жажду](#),

Я был развращен, напуган, завлечен,
И, хотя старый доктор Кольт объявил меня исцеленным

От недуга, по его словам сопутствующего росту,
Изумление длится, и не проходит стыд.

Песнь вторая

[В моей безумной юности была пора,](#)
Когда я почему-то подозревал, что правда
[О посмертной жизни](#) известна
[170](#) Всякому — один лишь я
Не знаю ничего, и [великий заговор](#)
[Книг и людей](#) скрывает от меня правду.
Был день, когда я начал сомневаться
В здравомыслии человека: как мог он жить,
Не зная, что за рассвет, что за смерть, что за рок
Ожидает сознание за гробом?

И наконец, была та бессонная ночь,
Когда я принял решение исследовать ее и биться
С этой подлой, недопустимой бездной,
[180](#) Посвятив всю мою исковерканную жизнь этому
Единому заданию. [Ныне](#) мне шестьдесят один год. [Свиристели](#)
Поклевывают ягоды. Звенит цикада.

Маленькие ножницы в моей руке —
Ослепительный синтез солнца и звезды.
Я стою у окна и подрезаю
Ногти, и смутно сознаю уподобления, от коих
Шарахается их предмет: большой палец —
Сын нашего лавочника; указательный, худой и мрачный —
Колледжский астроном [Стар-Овер Блю;](#)
[190](#) Средний — знакомый мне высокий священник;
Женственный безымянный палец — старая кокетка;
И розовый мизинчик, прильнувший к ее юбке.
И я кривлю рот, подрезая тонкие кожицы,
«Шарфики», как называла их тетка Мод.

Мод Шейд было восемьдесят лет, когда внезапная тишь

Пала на ее жизнь. Мы видели, как гневный румянец
И судорога паралича искажали
Ее благородные черты. Мы перевезли ее в Пайндейл,
Известный своим санаторием. Там она сживала
[200](#) На застекленном солнце и следила за мухой, садившейся
Ей то на платье, то на кисть руки.
Ее рассудок блекнул в густеющем тумане.
Она еще могла говорить. Она медлила, нащупывала и находила
То, что сначала казалось годным звуком,
Но самозванцы из соседних келий занимали
Место нужных слов, и вид ее
Выражал мольбу, меж тем как она тщетно пыталась
Урезонить чудовищ своего мозга.

Какой момент [при постепенном распаде](#)
[210](#) Избирает воскресение? Какие годы? Какой день?
Кто держит секундомер? Кто перематывает ленту?
Везет ли менее иным, иль ускользают все?
[Вот силлогизм:](#) *другие люди умирают, но я
Не другой; поэтому я не умру.*
Пространство есть роение в глазах, а время —
Звон в ушах. И в этом улье я
Заперт. Но *если бы* до жизни
Нам удалось ее вообразить, то каким безумным,
Невозможным, невыразимо диким, чудным вздором
[220](#) Она нам показаться бы могла!

Зачем же разделять вульгарный хохот? Презирать
Загробный мир, чьего существования нельзя проверить?
Рахат-лукум турецкого рая, будущие лиры, беседы
С Сократом и Прустом в кипарисовых аллеях,
Серафима с шестью фламинговыми крылами,
Фламандский ад с его дикобразами и прочим?
Беда не в том, что нам снится слишком необычайный сон:
А в том, что мы его не можем сделать
Достаточно невероятным: все, что можем мы
[230](#) Придумать, — это только [домашнее привидение.](#)

[Как смехотворны эти попытки перевести](#)
На свой особый язык всеобщую судьбу!
Вместо божественно лаконичной поэзии —
Бессвязные заметки, подлые стишки бессонницы!

Жизнь — это весть, нацарапанная впотьмах.
Без подписи.

Подмеченный на сосновой коре,
Когда мы шли домой в день ее смерти, —
Прильнувший к стволу [пустой изумрудный футлярчик](#),
Плоский и пучеглазый, и в пару к нему
²⁴⁰ Увязший в смоле муравей.

[Тот англичанин в Ницце](#),

Гордый и счастливый лингвист: je pourgis
Les pauvres cigales^[3] — хотел сказать, что он
Кормит бедных чаек^[4]!

Лафонтен неправ:
Мандибула мертва, а песнь живет.

И вот я подстригаю ногти, и раздумываю, и слышу
Твои шаги наверху, и все как быть должно, [моя дорогая](#).

[Сибилла](#), во все наши школьные дни я сознавал
Твою прелесть, но влюбился в тебя
На пикнике выпускного класса
²⁵⁰ У Нью-Уайского водопада. Мы завтракали на сырой траве.
Наш учитель геологии обсуждал водопад.
Рев воды и радужная пыль
Сообщали романтизм прирученному парку. Я полулежал
В апрельской дымке прямо позади
Твоей стройной спины и смотрел, как твоя гладкая головка
Склонялась набок. Одна ладонь с вытянутыми пальцами
Опиралась на траву меж звездой триллиума и камнем.
Маленькая косточка сустава
Подрагивала. Потом ты обернулась и подала мне
²⁶⁰ Наперсток яркого металлического чая.

Твой профиль не изменился. Блестящие зубы,

Покусывающие осторожную губу; тень под
Глазами от длинных ресниц; персиковый пушок,
Окаймляющий скулу; темно-коричневый шелк
Волос, зачесанных кверху от висков и затылка;
Очень голая шея; персидский очерк
Носа и бровей — ты все это сохранила;
И в тихие ночи мы слышим водопад.

Приди и дай поклоняться себе, приди и дай себя ласкать,
[270](#) [Моя темная, с алой перевязью, Vanessa](#), моя благословенная,
Моя восхитительная atalanta! Объясни!
Как ты могла в сумраке Сиреневого переулка
Дать неуклюжему, истеричному Джону Шейду
Мусолить тебе лицо, и ухо, и лопатку?

[Мы сорок лет женаты.](#) По крайней мере
Четыре тысячи раз твоя подушка была измята
Обоими нашими головами. Четыреста тысяч раз
Высокие часы хриплым вестминстерским боем
Отметили наш общий час. Сколько еще
[280](#) Даровых календарей украсят собой кухонную дверь?

Я люблю тебя, когда ты стоишь на траве,
Вглядываясь в листву дерева: «Оно исчезло.
Такое маленькое. Оно, может быть, вернется» (все это
Шепотом нежнее поцелуя).

Я люблю тебя, когда ты зовешь меня полюбоваться
[Розовым следом реактивного самолета над пламенем заката.](#)

Я люблю тебя, когда ты [напеваешь, укладывая](#)
Чемодан или фарсовый одежный мешок с круговой
Застежкой-молнией. А всего сильнее, я люблю тебя,

[290](#) Когда задумчивым кивком ты приветствуешь ее призрак.
Держа на ладони ее первую игрушку или глядя
На открытку от нее, найденную в книге.

[Она](#) бы могла быть тобою, мной или забавной смесью:
Природа выбрала меня, чтоб вырвать и истерзать
Твое сердце — и мое. Сперва мы, улыбаясь, говорили:

«Все маленькие девочки — толстушки» или «Джим Мак-Вей (Наш окулист) исправит эту легкую Косинку в два счета». И позднее: «Она будет совсем Хорошенькой, поверь»; и, пытаясь утишить [300](#) Нарастающую муку: «Это неловкий возраст». «Ей надо», говорила ты, «учиться ездить верхом» (Избегая встретить взглядом мой взгляд). «Ей надо играть В теннис или в бадминтон. Меньше крахмала, больше фруктов! Может быть, она и не красотка, но мила».

Все было зря, все было зря. Награды, полученные За французский и историю, доставляли, конечно, радость; Рождественские игры бывали, конечно, грубоваты, И одна застенчивая маленькая гостя могла оказаться исключенной; Но будем справедливы: меж тем как дети ее лет [310](#) Представляли эльфов и фей на сцене, Которую *она* помогла расписать для школьной пантомимы, Моя кроткая девочка изображала Мать-Время, Сгорбленную уборщицу с помойным ведром и метлой, И, как дурак, я рыдал в уборной.

Еще одна зима была выскреблена, вычерпана до конца. [Весенние белянки появились в мае в наших лесах.](#) Лето было выкошено механическими косилками, и осень сожжена. Увы, гадкий лебеденок так и не превратился В многоцветную [лесную утку](#). И опять твой голос: [320](#) «Но это предрассудок! Будь доволен, Что она невинна. Зачем преувеличивать Физическую сторону? Ей *нравится* быть чучелом. Девственницы писали *блистательные* книги. Иметь роман — это не все в жизни. Красота Не *столь* необходима!» А старый Пан По-прежнему взывал со всех цветных холмов, И по-прежнему не умолкали демоны нашей жалости: Ничьи губы не разделят помады на ее папиресе; Телефон, звонящий перед балом

[330](#) Каждые две минуты в Сороза-Холле,
Никогда не зазвонит для нее; и, с оглушительным
Скрежетом шин по гравию, к воротам,
Из отполированной ночи, в белом кашне поклонник
Никогда [не заедет за ней](#); она никогда не пойдет,
Мечтой из тюля и жасмина, на этот бал.
Мы, однако, послали ее в шато во Франции.

Она вернулась в слезах, после новых поражений,
С новыми горестями. В те дни, когда все улицы
Колледж-Тауна вели на футбольный матч, она сидела

[340](#) На ступеньках библиотеки, читала или вязала;
По большей части одна или с милой,
Хрупкой подругой, ныне монахиней; и, раз или два,
С корейским студентом, который слушал мой курс.
У нее были странные страхи, странные фантазии, странная сила
Характера, — так, однажды она провела три ночи,
Исследуя какие-то звуки и огоньки
[В старом амбаре. Она оборачивала слова: кот, ток,](#)
Ропот, топор. А «колесо» было «оселок».
Она звала тебя «кузнечик-поучитель».

[350](#) Она улыбалась очень редко, и только
В знак боли. Она с ожесточением
Критиковала наши планы и, без выражения
В глазах, сидела на несделанной постели,
Расставив опухшие ноги, чесала голову
Псориазными пальцами и стонала,
Монотонно бормоча жуткие слова.

Она была моей душенькой — трудной, угрюмой,
Но все же моей душенькой. Ты помнишь те
Почти безмятежные вечера, когда мы играли

[360](#) В маджонг или она примеряла твои меха, делавшие
Ее почти привлекательной, и зеркала улыбались,
Свет был милосерден, тени мягки.
Иногда я помогал ей с латынью,
Или же она читала в своей спальне, рядом
С моим флюоресцентным логовом, а ты была

В своем кабинете, вдвое дальше от меня,
[И время от времени я слышал оба голоса:](#)
«Мама, что такое *grimpen*^[5]?» «Что такое что?» «Grim Pen»^[6]
Пауза, и твое осторожное объяснение. Потом опять
[370](#) «Мама, что такое *chthonic*^[7]?» ты объясняла и это,
Добавляя: «Хочешь мандарин?»
«Нет. Да. А что значит *sempiternal*^[8]?»
Ты колеблешься. И я с энтузиазмом рычу
Ответ из-за стола, сквозь закрытую дверь.

Неважно, что она тогда читала
(какие-то фальшивые новейшие [стихи](#), названные
[В курсе английской литературы](#) документом
«Ангэже и захватывающим», — до того, что это значило,
Никому не было дела); важно то, что эти три
[380](#) Комнаты, *тогда* связанные тобой, ею и мной,
Теперь представляют триптих или трехактную пьесу,
Где изображенные события остаются навеки.

Мне кажется, она всегда питала слабую безумную надежду.

Я тогда только что закончил свою [книгу о Попе](#).
[Джейн Дин](#), моя машинистка, предложила ей однажды
Познакомиться с ее двоюродным братом, [Питом Дином](#). Жених
Джейн
Должен был отвезти их всех на своем новом автомобиле
Миль за двадцать в гавайский бар.
Они выбрали Пита в четверть
[390](#) Девятого в Нью-Уае. Слякоть оледенила дорогу. Наконец
Они нашли намеченное место — как вдруг Пит Дин
Схватился за голову и воскликнул, что начисто
Забыл условленную встречу с товарищем,
Который угодит в тюрьму, если он, Пит, не приедет,
И так далее. Она сказала, что понимает.
После его ухода молодые люди постояли
Втроем перед лазурным входом.
Лужи были перечеркнуты неоном; и с улыбкой
Она сказала, что она будет *de trop* и предпочла бы

[400](#) Вернуться домой. Друзья проводили ее
До остановки автобуса и ушли, но она, вместо того
Чтобы ехать домой, сошла в Локенхеде.

Ты вопросительно взглянула на запястье: [«Восемь пятнадцать»](#).
(Тут время раздвоилось.) Я включу». Экран
В своем пустом бульоне породил жизнеподобную муть,
И хлынула музыка.

*Он бросил на нее один лишь взгляд
И пронзил благожелательную Джейн смертоносным лучом.*

[Мужская рука](#) провела от Флориды до Мэна
Кривые стрелы Эоловых войн.

[410](#) Ты сказала, что позднее нудный квартет —
Два писателя и два критика — будет обсуждать
Судьбу поэзии на Восьмом канале.

[С пируэтом выпорхнула нимфа](#), под белыми
Крутящимися лепестками, чтобы в весеннем обряде
Преклонить колени в лесу перед алтарем,
На котором стояли различные туалетные принадлежности.

[Я поднялся наверх и правил гранку](#)

И слушал, как ветер гоняет шарики по крыше.
«Взгляни, как пляшет нищий, как поет

[420 Калека»](#) — это явно отдает вульгарностью
Того абсурдного столетия. Потом раздался снизу твой зов
Мой нежный пересмешник.

Я поспел, чтобы услышать краткий отзвук славы
И выпить с тобой чашку чая: мое имя
Было упомянуто дважды, как обычно тотчас позади
[\(На один топкий шаг\) Фроста^{\[9\]}](#).

«Вы правда не против?

*Я успею на экстонский самолет, потому что, знаете,
Если я не прибуду к полуночи с монетой...»*

А затем было нечто вроде кинопутешествия:

[430](#) Диктор сквозь туман [мартовской ночи](#),
Где издалека фары росли и приближались,
Как расширяющаяся звезда, доставил нас

К зеленому, индиговому и коричневатому морю,
[Которое мы посетили в тридцать третьем году,](#)
За девять месяцев до ее рождения. Сейчас оно было
Рябым и едва ли могло бы напомнить
Ту первую долгую прогулку, беспощадный свет,
Стаю парусов (один был голубой среди белых,
В странной дисгармонии с морем, а два были красные),
[440](#) Человека в старом блейзере, крошившего хлеб,
Теснившихся, невыносимо громких чаек
И одинокого темного голубя, переваливающегося в толпе.
«Это не телефон?» Ты прислушалась у двери.
Молчание. Подняла программу с пола.
*Вновь фары сквозь туман. Не было смысла
Тереть стекло. Только часть белого забора
Да отсвечивающие дорожные знаки проходили, разоблаченные.*

«А мы совсем уверены, что она поступает как надо?» спросила ты.

«Ведь это, в сущности, свидание с незнакомым».

[450](#) Что ж, давай посмотрим предварительный показ «Раскаяния»?

И, в полном спокойствии, мы позволили
Знаменитому фильму раскинуть свой зачарованный шатер,
Явилось знаменитое лицо, красивое и бездушное:
Полуоткрытые губы, влажные глаза,
На щеке «зернышко красоты», странный галлицизм,
И округлые формы, расплывающиеся в призме
Всеобщей похоти.

«Пожалуй», она сказала,

«Я здесь сойду». «Это только Локенхед».

«Да, хорошо». Держась за поручень, она взгляделась

[460](#) *В призрачные деревья. Автобус остановился. Автобус исчез.*

Гром над джунглями. «Нет, только не это!»
Пэт Розовый, наш гость (антиатомная беседа).
Пробило одиннадцать. Ты вздохнула. «Боюсь,
Больше нет ничего интересного». Ты сыграла
В рулетку телестанций: диск вращался и щелкал.
Рекламы были обезглавлены. Мелькали лица.

Разинутый рот был вычеркнут посреди песни.

Кретин с бачками собрался было

[Прибегнуть к пистолету](#), но ты его опередила.

⁴⁷⁰ Жовиальный [негр](#) поднял трубу. Щелк.

Твое рубиновое кольцо творило жизнь и полагало закон.

Ах, выключи! И пока обрывалась жизнь, мы увидали,

Как булавочная головка света сокращалась и умерла в черной

Бесконечности.

Из приозерной хижины

[Сторож, Отец-Время](#), весь седой и согбенный,

Вышел со своим встревоженным псом и побрел

Вдоль берега сквозь тростники. Он опоздал.

Ты кротко зевнула и поставила на место тарелку.

Мы слышали ветер. Мы слышали, как он неся и швырял

⁴⁸⁰ Ветками в стекло. Телефон? Нет.

Я помог тебе с посудой. Высокие часы

Продолжали крушить юный корень, старую скалу.

«Полночь», сказала ты. Что полночь молодым?

И внезапно праздничный блеск прошел

По пяти кедровым стволам, выступили пятна снега,

И патрульная машина на нашей ухабистой дороге

Остановилась с хрустом. Снимите, снимите снова!

Люди думали, что она пыталась пересечь озеро

В Локен-Неке, там, где азартные конькобежцы пересекают его

⁴⁹⁰ От [Экса](#) до Уая в особо морозные дни.

Другие полагали, что она могла сбиться с дороги,

Свернув налево от Бриджроуда; а иные говорят,

Что [она покончила со своей бедной юной жизнью](#). Я знаю. Ты знаешь.

То была ночь оттепели, ночь ветра

С великим смятением в воздухе. Черная весна

Стояла тут же за углом, дрожа

В мокром звездном свете, на мокрой земле.

Озеро лежало в тумане, с наполовину затонувшим льдом.

Смутная тень ступила с заросшего тростником берега
[500](#) В похрустывающую, переглатывающую топь и пошла ко дну.

Песнь третья

L'if^[10], безжизненное древо! Твое великое «быть может», Рабле:
Le grand Peut-être, «Грандиозная патата»^[11].

I. P. H., мирской

Институт (Institute: I) Подготовки (Preparation: P)
К Потустороннему (Hereafter: H), или «ЕСЛИ», как мы
Называли его — великое если! — пригласил меня на семестр
Читать о смерти («преподавать Червя»,
Как мне писал президент Мак-Абер^[12]).

Ты и я,

И она, совсем еще крошка, переехали из Нью-Уая
В Юшейд (Тень Тиса), в другом, выше расположенном, штате.
[510](#) Я люблю высокие горы. От железных ворот
Ветхого дома, который мы там сняли,
Был виден снежный очерк, столь далекий и столь прекрасный,
Что оставалось лишь вздохнуть, как будто
Это могло помочь нам к ним приобщиться.

IPH

Был и ларвориум и фиалка:
Могила раннею весной Разума. И все же
Он упустил самую суть; он упустил
То, что всего важней любителю былого;
Ибо мы умираем с каждым днем; забвение процветает
[520](#) Не на сухих бедряных костях, а на налитых кровью жизнях,
И наши лучшие «вчера» — сегодня только куча сора,
Измятых имен, телефонных номеров и пожелтевших папок.
Готов я стать цветочком
Или жирной мухой, но никогда не позабыть.
И я отвергну вечность, если только
Печаль и нежность
Смертной жизни, страсть и боль,
Винного цвета хвостовой огонь уменьшающегося самолета
Близ Веспера; твой огорченный жест,

[530](#) Когда ушли все папиросы, то, как
Ты улыбаешься собакам; след серебристой слизи,
Оставленный улиткой на каменной плите; и эти добрые чернила,
эта рифма,
Эта картотечная карточка, это тонкое резиновое кольцо,
Свивающееся в восьмерку, если уронишь —
Не предстоят новоумершим в небесах,
Хранимые годами в их твердых.

Вместо этого

Институт считал, что, может быть, разумней
Не слишком много ожидать от рая:
Что если некому там встретить

[540](#) Новоприбывших, нет ни приема, ни
Индоктринации? Что если вас кидают
В безбрежность пустоты, потерявшего ориентацию,
Оголенного духом, совершенно одинокого,
Не завершившего того, что начал,
В никому не ведомом отчаянии, с начавшим разлагаться телом,
Неудобораздеваемого, в будничном платье, —
Меж тем как ваша вдова лежит ничком на смутной постели, —
Сама, как смутное пятно в вашей растворяющейся голове!

[Презирая всех богов, со включением большого «Б»,](#)

[550](#) ИРН заимствовал периферийные [осколки](#)

Мистических прозрений и предлагал советы
(Янтарные очки, против затмения жизни),
Как не впасть в панику, пока тебя превращают в духа:
Бочком, скользя, как выбрать гладкую кривую и лететь, словно на
салазках,
Навстречу плотным предметам, проскальзывать сквозь них
Или давать другим сквозь вас передвигаться.

[Как, задохнувшись в черноте, определить](#)

Терру Прекрасную, ячейку яшмы, как
Сберечь рассудок в спирального типа пространствах.

[560](#) Какие меры принимать в случае
Несуразного воплощения: что делать,
Если вдруг заметишь, что
Ты стал молодой и уязвимой жабой,

По самой середине проезжей дороги,
Или медвежонком под пылающей сосной,
Или книжным клещом в возрожденном богослове.

Время означает последовательность, а
Последовательность — переменность,
Поэтому безвременье не может не нарушить
[570](#) Таблицы чувств. Советы мы даем,
Как быть вдовцу. Он потерял двух жен.
Он их встречает — любящих, любимых,
Ревнующих его друг к дружке. Время значит рост,
А рост не значит ничего в загробной жизни.
Лаская все такого же ребенка, жена с льняными волосами
Скорбит у незабвенного пруда, задумчивым наполненного небом,
И так же белокура, но в тени с рыжинкой в волосах, обняв
колени, ноги

На каменный поставив парапет, сидит на парапете

[Другая](#), поднимая влажный взгляд

[580](#) К непроницаемой туманной синеве.

С чего начать? Какую раньше целовать? Какую игрушку
Ребенку дать? Этот насупленный малыш,
Он знает ли о столкновении двух встречных
Машин, убившем бурной мартовскою ночью [мать и дитя](#)?
А та вторая любовь, с подъемом голым ног,
В черной юбке балерины, зачем на ней
Сережки из шкатулки первой?
И зачем скрывает она рассерженное юное лицо?

Ибо по снам мы знаем, как трудно

[590](#) Говорить с милыми нам усопшими. Они не замечают

Нашей боязни, брезгливости, стыда —

Пугающего чувства, что они не точно те, что были.

Ваш школьный друг, убитый на далекой войне,

Не удивлен, увидя вас у своей двери,

И, полуразвязно, полумрачно,

[Указывает на лужи в подвале своего дома.](#)

А кто научит нас, [какие мысли звать на смотр](#)

В то утро, что застанет нас шагающими к стенке
Под режиссурой сатрапова наймита,
[600](#) Павиана в мундире?

Мы будем думать о вещах, известных нам одним, —
Империях рифм, сказочных царствах интеграла,
[Прислушиваться к дальним петухам](#) и узнавать
На серой шершавой стенке редкий стенной лишайник,
И, пока нам связывают царственные руки,
Мы посмеемся над презренными, весело язвя
Ретивых кретинов,
И, шутки ради, плюнем им в глаза.

[Не помочь также изгнаннику, старику.](#)

[610](#) Умирающему в мотеле с громким вентилятором,
Вертящимся в знойной ночи прерий,
Пока снаружи брызги разноцветного света
Доходят до его постели, как темные руки прошлого,
Дарящие самоцветы, и быстро приближается смерть.
Он задыхается и заклинает [на двух языках](#)
Туманности, ширящиеся в его легких.

Рывок, раскол — вот все, что можно предсказать.
Быть может, обретешь *le grand néant*; быть может,
Протянешься опять спиралью [из глазка клубня](#).

[620](#) Как ты заметила, когда мы проходили в последний раз
Близ института: «Право, я не вижу
Различия между этим учреждением и адом».

Мы слышали, как гоготали и фыркали сторонники кремации,
покуда
Могильщиков изобличал реторту,
Как помеху при рождении духов,
Мы все избегали критиковать религии.

[Знаменитый Стар-Овер Блю](#) рассмотрел роль
Планет как пристаней для душ.

Обсуждалась [судьба зверей](#). Китаец дискантом

[630](#) Разглагольствовал об этикете чайных церемоний

С предками и до какого восходить колена.
Я рвал в клочья фантазии Эдгара По
И разбирал детские воспоминания о странных
Перламутровых мерцаниях за гранью, недоступной взрослым.
Среди наших слушателей были молодой священник
И старый коммунист. ИРН мог, по крайней мере,
Соперничать с церковью и с партийной линией.

В позднейшие годы он захирел:
Буддизм укоренился. Медиум протащил контрабандой
[640](#) Бледное желе и витающую мандолину.
Фра Карамазов, бормоча свое идиотское
Все позволено, пролез в иные классы;
И, во исполнение желания рыбки-зародыша в матке,
Стая фрейдистов потянулась к могиле.

Это безвкусное предприятие кое-чем помогло мне.
Я понял, что надо игнорировать при моем обследовании
Смертной бездны. И когда мы потеряли наше дитя,
Я знал, что не будет ничего: никакой самозванный
Дух не коснется клавиатуры сухого дерева, чтобы
[650](#) Выстукать ее ласкательное имя; никакой призрак
Не встанет грациозно, чтобы нас
Приветствовать в темном саду, близ карий.

«Ты слышишь этот странный звук?»
«Это ставень на лестнице, мой друг».

«Этот ветер! Не спишь, так зажги и сыграй
Со мною в шахматы. Ладно. Давай».

«Это не ставень. Вот опять. В углу».
«Это усик веточки скребет по стеклу».

«Что там упало, с крыши скатясь?»
[660](#) «Это старуха-зима свалилась в грязь».

«Мой связан конь. Как тут помочь?»

[Кто мчится так поздно сквозь ветер и ночь?](#)

Это горе поэта, это — ветер во всю свою мочь,
Мартовский ветер. Это отец и дочь.

Позднее наступили минуты, часы, целые дни, наконец,
Когда она отсутствовала из наших мыслей, так скоро
Бежала жизнь, эта мохнатая гусеница.

Мы поехали в Италию. Валялись на солнце
На белом пляже, с другими розовыми и коричневыми
[670](#) Американцами. Прилетели обратно в свой городок.
Узнали, что сборник моих очерков *Неукротенный*
[Морской Конь](#) был «повсеместно восхваляем»
(За год разошлось триста экземпляров).

Вновь начались занятия, и на склонах, где
Вьются дальние дороги, был виден непрерывный поток
Автомобильных фар, возвращающихся к мечте
Об университетском образовании. Ты продолжала
Переводить [на французский](#) Марвеля и Донна.
То был год бурь: ураган
[680](#) «[Лолита](#)» пронесся от Флориды до Мэна.
Марс рдел. Женились шахи. [Шпионили угрюмые русские](#).
[Лэнг](#) сделал твой портрет. И как-то вечером я умер.

Клуб Крэшоу заплатил мне за то, чтоб я обсудил
«Чем Нам Важна Поэзия».
Я прочел мою проповедь, скучную, но краткую.
Когда я спешил уйти, чтоб избежать
Так называемый «период вопросов» в конце,
Один из тех придирчивых господ, которые посещают
Такие лекции только для того, чтобы сказать, что не согласны,
[690](#) Поднялся и ткнул трубкой в мою сторону.

И тут оно случилось — [приступ](#), транс
Или один из моих старых припадков.
В первом ряду сидел случайно доктор. Как по заказу.
Я упал к его ногам. Мое сердце перестало биться,
И несколько мгновений, как кажется, прошло,

Пока оно толкнулось и снова потащилось
По более [решительному назначению](#).
Теперь прошу вас дать мне ваше полное внимание.
Я не могу сказать откуда, но я знал, что я переступил
[700](#) Рубеж. Все, что я любил, было утрачено,
Но не было аорты, чтобы донести о сожалении.
Резиновое солнце после конвульсий закатилось —
И кроваво-черное ничто начало ткать
[Систему клеток, сцепленных внутри](#)
Клеток, сцепленных внутри клеток, сцепленных
Внутри единого стебля, единой темы. И, ужасающе ясно
На фоне тьмы высокий белый бил фонтан.

Я понимал, конечно, что он состоит
Не из наших атомов, что смысл того, что я видел,
[710](#) Не наш был смысл. При жизни каждый
Разумный человек скоро распознает
Обман природы, и на глазах у него тогда
Камыш становится птицей, сучковатая веточка —
Гусеницей пяденицы, а голова кобры — большой,
Угрожающе сложенной ночницей. Но что касалось
Моего белого фонтана, то замещаемое им
Могло, как мне казалось, быть
Понятно только для обитателя
Этого странного мира, куда я лишь случайно забрел.

[720](#) Но вот я увидел, как он растаял:
Хотя еще без сознания, я снова был на земле.
Мой рассказ рассмешил доктора.
Он усомнился, чтобы в состоянии, в котором
Он меня нашел, «можно было галлюцинировать
Или грезить в каком бы ни было смысле. Позже — возможно,
Но не во время самого коллапса.
Нет, мистер Шейд». Но, Доктор, я ведь был загробной тенью ^[13]!
Он улыбнулся: [«Не совсем, всего лишь полутенью»](#).

Все же я не уступал. В уме я продолжал
[730](#) Переигрывать все, что было. Снова я сходил

С эстрады, и мне было странно, жарко,
Я видел, как тот субъект вставал, и опять я падал,
Не потому, что скандалист ткнул трубкой,
А, вероятно, потому, что срок настал
Толкнуться и затрястись [дряблему дирижаблю](#),
Старому расшатанному сердцу.

От моего видения дуло правдой. Оно имело тональность,
Сущность и необычайность своей особой
Реальности. Оно *существовало*. Меж тем как проходило время,
[740](#) Его бессменная вертикаль сияла победно.
Часто, раздраженный [наружным блеском](#)
Обыденщины и раздора, я обращался внутрь себя, и там,
На заднем плане души, стоял он,
«Старый Верный», как гейзер в Йеллостонском парке.
Его присутствие всегда дивно меня утешало.
Потом я как-то раз наткнулся на то,
Что показалось мне параллельным явлением.

[Это была статья в журнале о некой госпоже З.](#), чье сердце было
Возвращено к жизни массажем руки проворного хирурга.
[750](#) Она рассказала репортеру о «Стране
За Пеленой», и рассказ заключал в себе
Намек на ангелов, и сверкание цветных
Окон, и тихую музыку, и кое-что
Из книги гимнов, и голос ее матери;
Но в конце она упомянула дальний
Ландшафт, туманный сад, и — дальше я цитирую:
«Вдали за садом, как будто через дым,
Я мельком разглядела высокий белый фонтан — и проснулась».

Если на неназванном острове капитан Шмидт
[760](#) Видит нового зверя и ловит его
И если немного позднее капитан Смит
Привозит оттуда шкуру, то этот остров не миф.
Наш фонтан был указательным столбом и знаком,
Он объективно существовал во тьме,
Крепкий как кость, вещественный как зуб,

Почти банальный в своей мощной правде!

Статья была написана Джимом Коутсом.

Джиму я сразу написал. Получил от него ее [адрес](#).

Проехал триста миль на запад, чтобы с ней поговорить.

[770](#) Прибыл. Был встречен пылким мурлыканьем.

Увидел эти голубые волосы, веснучатые руки, восхищенный Орхидейный вид — и понял, что попался.

«Кто упустил бы случай повстречать

Такого знаменитого поэта?» Как мило

Было, что я приехал! Я отчаянно пытался

Задать свои вопросы. Их отметали:

«В другой раз, как-нибудь, быть может». Журналист

Еще ей не вернул ее заметок. Не следует настаивать.

Она пичкала меня кэксом, все это превращая

[780](#) В идиотский светский визит.

«Я не могу поверить», она сказала, «что вот это *вы!*

Мне так понравились [ваши стихи](#) в *Синем журнале*.

Те, что о Мон-Блоне. У меня есть племянница,

Которая поднялась на Маттерхорн. Вторую вещь

Я не могла понять. Я говорю о смысле.

А самый звук, конечно, — но я так глупа!»

Она и впрямь была. Я мог бы настоять. Я мог бы

Заставить ее рассказать мне больше

О Белом фонтане, который мы оба видели «за пеленой».

[790](#) Но если (подумал я) упомянуть эту подробность,

Она набросится на нее, как на духовное

Родство, сакраментальные узы,

Мистически объединяющие нас,

И тотчас наши души б оказались

Сестра и брат, трепещущие на краю

Нежного кровосмешения. «Ну, — сказал я, — мне кажется,

Становится уж поздно...»

Заехал я и к Коутсу.

Он опасался, что засунул куда-то ее записки.

Он достал свою статью из стальной картотеки.

[800](#) «Все точно. Я не менял ее стиля.
Одна есть опечатка, не то чтоб важная:
[Гора](#), а не *фонтан*. Оттенок величавости».

Жизнь Вечная — на [базе опечатки!](#)
Я думал на пути домой: не надо ль принять намек
И прекратить обследование моей бездны?
Как вдруг был осенен мыслью, что это-то и есть
Весь настоящий смысл, вся тема контрапункта;
Не текст, а именно текстура, не мечта,
А совпадение, все перевернувшее вверх дном;

[810](#) Вместо бессмыслицы непрочной — [основа ткани смысла](#).
Да! Хватит и того, что я мог в жизни
Найти какое-то звено-зерно, какой-то
Связующий узор в игре,
Искусное сплетение частиц
Той самой радости, что находили в ней те, кто в нее играл.

Не важно было, кто они. Ни звука,
Ни беглого луча не доходило из их затейливой
Обитатели, но были там они, бесстрастные, немые,
[Играли в игру миров](#), производили пешки

[820](#) В единорогов из кости слоновой и в фавнов из эбена;
Тут зажигаю жизнь долгую, там погашая
Короткую; [убивая балканского монарха](#);
Заставляя льдину, наросшую на высоко летящем
Самолете, свалившись с неба,
Наповал убить крестьянина; пряча от меня ключи,
Очки иль трубку. Согласуя эти
События и предметы с дальними событиями
И с предметами исчезнувшими. Узор творя
Из случайностей и возможностей.

[830](#) В шубе, я вошел: [Сибилла, я](#)
Глубоко убежден — «Закрой, мой милый, дверь.
Как съездил?» Чудно — но важнее:
Я воротился, убежденный в том, что могу нащупать
Путь к некой — к некой — «Да, мой милый?» Слабой надежде.

Песнь четвертая

[Теперь я буду следить за красотой, как никто](#)

За нею не следил еще. Теперь я буду так вскрикивать,
Как не вскрикивал никто. Теперь я буду добиваться того, чего
никто

Еще не добивался. Теперь я буду делать то, чего никто не делал.

Кстати, об этом дивном механизме:

[840](#) Я озадачен разницею между

[Двумя путями сочинения](#): А, при котором происходит

Все исключительно в уме поэта, —

Проверка действующих слов, покамест он

Намыливает в третий раз все ту же ногу, и В,

Другая разновидность, куда более пристойная, когда

Он в кабинете у себя сидит и пишет пером.

В методе В рука поддерживает мысль,

Абстрактная борьба идет конкретно.

Перо повисает в воздухе, затем бросается вычеркивать

[850](#) Отмененный закат или восстанавливать звезду

И таким образом физически проводит фразу

К слабому дневному свету, через чернильный лабиринт.

Но метод А — страдание! Вскоре мозг

Бывает заключен в стальной колпак из боли,

Муза в спецодежде направляет бурав,

Который сверлит и которого никакое усилие воли

Не может перебить, меж тем как автомат

Снимает то, что только что надел,

Или шагает бодро к лавке на углу

[860](#) Купить газету, которую уже читал.

Почему это так? Не оттого ли, что

Без пера нет паузы пера

И нужно пользоваться тремя руками сразу,

Чтоб выбрать рифму,

Держать оконченную строчку перед глазами,
И в памяти — все сделанные пробы?
Или же развитие процесса глубже, в отсутствии стола,
Чтоб подкрепить поддельное и превознестъ халтуру?
Ибо бывают таинственные минуты, когда
[870](#) Слишком усталый, чтобы вычеркивать, я бросаю перо;
Брожу — и по какому-то немому приказу
Нужное слово звенит и садится мне на руку.

[Мое лучшее время](#) — утро, мое любимое
Время года — разгар лета. Однажды я подслушал,
Как просыпался, между тем как половина меня
Еще спала в постели. Я вырвал дух свой на свободу
И догнал себя на лужке,
Где в листьях клевера лежал топаз зари
И Шейд стоял в ночной сорочке и одной туфле.
[880](#) Тут я понял, что *эта* половина меня тоже
Крепко спала: и обе засмеялись, и я проснулся
В целости в постели, пока день разбивал свою скорлупку,
Малиновки ходили и останавливались, и на сырой, в алмазах,
Траве лежала коричневая туфля! Моя тайная печать,
Оттиск Шейда, врожденная тайна.
Миражи, чудеса, жаркое летнее утро.

[Так как мой биограф может оказаться слишком степенным](#)

Или знать слишком мало, чтобы утверждать, что Шейд
Брился в ванне, так вот:

«Он соорудил

[890](#) Приспособление из шарниров и винтов, стальную подпорку
Поперек ванны, чтобы держать на месте
Зеркало для бритья прямо против лица,
И, возобновляя пальцем ноги тепло из крана,
Сидел там, как [король](#), и кровоточил, как Марат».

[Чем больше я вешу, тем ненадежнее моя кожа:](#)

Местами она до смешного тонка;
Так, возле рта: пространство между его уголком
И моей гримасой так и просит злостного пореза.

Или эти брыла: придется как-нибудь мне выпустить на волю
[900](#) Окладистую бороду, засеваю во мне.

Мое адамово яблоко — это колючий плод опунции:
Теперь я буду говорить о зле и об отчаянии, так,
Как никто не говорил. Пяти, шести, семи, восьми, —
Девяти раз недостаточно. Десять. Прощупываю
Сквозь землянику со сливками кровавое месиво
И нахожу, что колючий участок все так же колюч.

Я сомневаюсь в правдоподобии однорукого молодчика,
Который на телевизионных рекламах одним скользящим взмахом
Расчищает гладкую тропу от уха до подбородка,
[910](#) Обтирает лицо и с нежностью ощупывает кожу.

Я в категории двуруких педантов.
Как скромный Эфеб в трико ассистирует
Балерине в акробатическом танце, так
Моя левая рука помогает, держит и меняет позицию.

Теперь я буду говорить... Лучше любого мыла
То ощущение, на которое рассчитывают поэты,
Когда вдохновение и его ледяной жар,
Внезапный образ, самопроизвольная фраза
Пускают по коже тройную зыбь,
[920](#) Заставляя все [волоски вставать дыбом](#),
Как на увеличенной одушевленной схеме
Косьбы бороды, вставшей дыбом [благодаря «Нашему Кремю»](#).

Теперь я буду говорить о зле, как никто
Не говорил еще. Я ненавижу такие вещи, как джаз,
Кретин в белых чулках, терзающий черного
Бычка, исполосованного красным, абстрактный bric-à-brac;
Примитивистские маски, прогрессивные школы,
Музыка в супермаркетах, бассейны для плавания,
Изверги, тупицы, филистеры с классовым подходом, [Фрейд](#),
Маркс,

[930](#) Ложные мыслители, раздутые поэты, шарлатаны и акулы.

И пока безопасное лезвие с хрустом и скрипом

Путешествует через страну моей щеки,
Автомобили проезжают по шоссе, и вверх по крутому
Склону [большие грузовики](#) ползут вокруг моей челюсти,
И вот причаливает безмолвный корабль, и вот — в темных очках
—

Туристы осматривают Бейрут, и вот я вспахиваю
Поля [старой Зембли](#), где стоит мое седое жнивье,
И рабы косят сено между моим ртом и носом.

[Жизнь человека](#) как комментарии к эзотерической
[940](#) Неоконченной поэме. Записать для будущего применения.

Одеваясь во всех комнатах, я подбираю рифмы и брожу
По всему дому, зажав в кулаке гребешок
Или рожок для обуви, превращающийся в ложку,
Которой я ем яйцо. Днем
Ты отвозишь меня в библиотеку. Мы обедаем
В половине седьмого. И моя странная муза,
Мой оборотень, везде со мной,
В библиотечной кабинке, в машине и в моем кресле.

[И все время, и все время](#), любовь моя
[950](#) Ты тоже здесь, под словом, поверх
Слога, чтобы подчеркнуть и усилить
Насущный ритм. Во время оно, бывало, слышали
Шелест женского платья. Я часто улавливал
Звук и смысл твоей приближающейся мысли.
И все в тебе — юность, и ты обновляешь,
Цитируя их, старые вещи, сочиненные мной для тебя.

«Туманный залив» — была моя первая книга (свободным
стихом);
За ней — [«Ночной прибой»](#); потом «Кубок Гебы», моя последняя
колесница
В этом мокром карнавале, ибо теперь я называю
[960](#) Все «Стихи» и больше не содрогаюсь.
(Но эта прозрачная штука требует заглавия,
Подобного капле лунного света.

[Помоги, мне, Вильям! «Бледный огонь».\)](#)

Мирно проходит день под непрерывный
Тихий гул гармонии. Мозг выщепен.
Коричневый летунок и существительное, которое я собирался
Использовать, но не использовал, сохнут на цементе.
Быть может, моя чувственная любовь к *consonne d'appui*,
сказочному дитяти эхо.
Основана на чувстве фантастически спланированной,
[970](#) Богато рифмованной жизни.

Я чувствую, что понимаю
Существование или, по крайней мере,
Мельчайшую частицу моего существования
Только через мое искусство,
Как воплощение упоительных сочетаний;
И если личная моя вселенная укладывается в правильную
строчку,
То также в строчку должен уложиться стих божественных
созвездий,
И он должен, я думаю, быть ямбом.
Я думаю, что не без основания я убежден, что жизнь есть после
смерти
И что моя голубка где-то жива, как не без основания
[980](#) Я убежден, что завтра, в шесть, проснусь
Двадцать второго июля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года,
И что день будет, верно, погожий;
Дайте же мне самому поставить этот будильник,
Зевнуть и вернуть «Стихи» Шейда на их полку.

Но еще рано ложиться. Солнце доходит
До двух последних окон старого доктора Саттона.
Ему, должно быть, — сколько? Восемьдесят? восемьдесят два?
Он был вдвое старше меня в тот год, что мы женились.
Где ты? В саду. Я вижу
[990](#) Часть твоей тени близ карий.
Где-то мечут [подковы](#). Зиньк, звяк.
(Как пьяный, прислоняется к фонарному столбу.)
[Темная «Ванесса» с алой перевязью](#)

Колесит на низком солнце, садится на песок
И выставляет напоказ чернильно-синие кончики крыльев,
крапленые белым.
И сквозь приливающую тень и отливающий свет,
Человек, не замечая бабочки, —
[Садовник кого-то из соседей](#) — проходит,
Толкая пустую тачку вверх по переулку.
[1000](#) [...]

Комментарий

[Строки 1–4: Я был тенью свиристеля, убитого... и т. д.](#)

Образ в этих начальных строках явно относится к птице, разбившейся на полном лету о наружную поверхность оконного стекла, в котором отраженное небо, чуть темнее оттенком, с чуть замедленным облаком, представляет собой иллюзию продолжения пространства. Мы можем вообразить Джона Шейда в раннем отрочестве, наружностью неказистого, но во всех остальных отношениях прекрасно развитого юношу, испытывающим первое эсхатологическое потрясение, поднимая неуверенными пальцами с травы плотное овальное тельце и рассматривая красные, как бы восковые, полоски, украшающие серовато-бурые крылья и изящные рулевые перья, тронутые желтым на концах, ярким, как свежая краска. Когда в последние годы жизни Шейда я имел счастье быть его соседом среди идиллических холмов Нью-Уая (см. [Предисловие](#)), я часто видел именно этих птиц, весело питающихся синими, с меловым налетом, ягодами можжевельника, росшего на углу его дома (см. также строки [181–182](#)).

Мое знакомство с садовыми *Aves* сначала ограничивалось северноевропейскими видами, но молодой нью-уайский садовник, к которому я проявил интерес (см. примечание к строке [998](#)), научил меня определять по силуэтам целый рой маленьких чужестранок тропического типа и смешные их голоса; и естественно, каждая древесная верхушка намечала пунктирную линию к орнитологическому труду на моем письменном столе, к которому я, бывало, мчался галопом служка в номенклатурном возбуждении. Как трудно было мне приноровить имя «малиновка» к пригородной самозванке, жирной птице в неопрятной тускло-красной ливрее, поглощавшей с отвратительным смаком длинных, грустных безучастных червей!

Между прочим, любопытно отметить, что хохлатая птица, именуемая по-земблянски *sampel* (шелкохвост), весьма похожая на свиристеля контуром и окраской, послужила моделью для одного из геральдических животных (остальные два: северный олень, настоящий, и лазурный тритон, златогривый) в гербе земблянского короля Карла Возлюбленного (р. 1915), злключения которого я столь часто обсуждал с моим другом.

Поэма была начата ровно посередине года, в первые минуты после полуночи 1 июля, пока я играл в шахматы с молодым иранцем, студентом

нашей летней школы; и я не сомневаюсь, что наш поэт понял бы искушение, испытанное его комментатором, синхронизировать с этой датой роковой факт — отбытие из Зембли будущего цареубийцы Градуса. На самом деле Градус покинул Онхаву 5 июля на копенгагенском самолете.
[>>>](#)

[Строка 12: на этой хрустальной земле!](#)

Возможно, намек на Земблю, мою дорогую родину. После этого в бессвязном, наполовину стертом черновике, в правильной расшифровке которого мною я далеко не уверен:

Ах, только б описать я не забыл,
Что друг о некоем короле мне сообщил...

Увы, он мог бы сказать гораздо больше, если бы домашняя антикарлистка не контролировала каждую строчку, которую он ей показывал! Не раз я упрекал его в шутливом тоне: «Вы, право, должны были бы обещать мне использовать весь этот замечательный материал, мой нехороший седой поэт!» И мы оба хихикали, как мальчишки. Но затем после вдохновительной вечерней прогулки нам приходилось расставаться, и неумолимая ночь убирала подъемный мост между его неприступной крепостью и моим убогим жилищем.

Царствование этого короля (1936–1958) останется в памяти хотя бы нескольких проницательных историков как период мира и грации. Благодаря гибкой системе благоразумных союзов хроника его царствования не была омрачена Марсом. Внутри страны Народное вече, или парламент, — пока в него не проникли коррупция, измена и экстремизм — действовало в полной гармонии с Королевским Советом. Гармония была поистине девизом этого царствования. Процветали изящные искусства и чистая наука. Технологии, прикладной физике, промышленной химии и т. п. позволялось преуспевать. В Онхаве неуклонно подрастал небольшой небоскреб из ульфамаринового стекла. Климат как будто улучшался. Налоговая система была предметом чистой красоты. Бедные понемножку становились богаче, а богатые — беднее (в соответствии с тем, что, возможно, будет когда-нибудь известно под названием Закона Кинбота). Медицинское обслуживание доходило до самых границ государства; все реже и реже во время осенних поездок по стране, когда рябины бывали увешаны тяжелыми кораллами, а на лужах позванивала слюда, прерывали

приветливого и красноречивого монарха кашлеподобные припадки *back-draucht* в толпе школьников. Прыжки с парашютом сделались популярным видом спорта. Одним словом, все были довольны, даже политические бедокуры, которые с удовольствием бедокурили на деньги довольного Соседа (гигантской державы, граничащей с Земблей). Но оставим этот нудный предмет.

Вернемся к королю: возьмем, к примеру, вопрос индивидуальной культуры. Часто ли занимаются короли исследованиями в специальных областях знания? Конхиологов среди них можно перечесть по пальцам одной изувеченной руки. Последний король Зембли, отчасти под влиянием своего дяди Конмаля, великого переводчика Шекспира (см. примечания к строкам [39–40](#) и [962](#)), несмотря на частые мигрени, страстно увлекался литературоведением. К сорока годам, незадолго до падения своего трона, он достиг такой высокой степени учености, что осмелился принять к исполнению хриплую предсмертную просьбу своего почтенного дядюшки: «Учи, Карлик!» Разумеется, монарху не подобало бы появляться на университетской кафедре в мантии ученого и преподавать розовощеким юнцам *Поминки по Финнегану* в качестве чудовищного продолжения «бессвязных трудов» Ангуса Мак-Диармида и Lingo-Grande Саути («милый Штумпарумпер» и т. д.) или обсуждать собранные Ходынским в 1798 году земблянские варианты *Kongs-skugg-sio* («Королевское зеркало»), анонимного шедевра 12 века. Поэтому он читал лекции под чужим именем, под густым гримом, в парике и с фальшивой бородой. Все темнобородые, скуластые, голубоглазые земблянцы похожи друг на друга, и я, уже с год не брившийся, похожу на моего переодетого короля (см. также примечание к строке [894](#)).

Во время таких периодов преподавания Карл-Ксаверий положил себе за правило ночевать в *гарсоньерке*, которую он снял в Кориолановом переулке, как сделал бы любой ученый, — очаровательной холостяцкой квартирке с центральным отоплением, ванной и кухонькой. С ностальгическим удовольствием вспоминаешь теперь светло-серый бобрик на полу и жемчужно-серые стены (одна из них была украшена одинокой копией картины Пикассо *Chandelier, pot et casserole émaillée*), полку томиков стихов в переплетах из телячьей кожи и девственного вида диван-кровать под покрывалом из поддельного меха панды. Сколь далекими от этой прозрачной простоты казались дворец и ненавистная Палата Совета, с ее неразрешимыми проблемами и испуганными советниками! >>>

[Строка 17: И после: градации синевы;](#)

Строка 29: Мог радовать (мо-град-овать)

По какому-то необычайному совпадению (может быть, неотъемлемо присущему контрапунктической природе искусства Шейда) поэт как будто называет здесь по имени (градации, г-рад) человека, которого ему предстояло лично увидеть на одно только роковое мгновение тремя неделями позже, но о чьем существовании он в то время (2 июля) знать не мог. Йакоб Градус именовал себя по-разному: Джек Дегри, Жак де Грэ или Джеймс де Грей, а в полицейских досье он фигурирует еще как Равус, Рэвенстон и д'Аргюс. Питая болезненную слабость к здоровенной России советской эры, он утверждал, что настоящих корней его имени следует искать в русском слове «виноград», к которому пристал латинский суффикс, превративший его в Виноградус. Отец его, Мартын Градус, был протестантским пастором в Риге, но, кроме него и его дяди с материнской стороны (Роман Целовальников, полицейский пристав и по совместительству член эсеровской партии), весь их род занимался, по-видимому, винным промыслом. Мартын Градус скончался в 1920 году, а его вдова переехала в Страсбург, где также вскоре умерла. Мальчика усыновил и вырастил с собственными детьми другой Градус, эльзасский купец, который, как ни странно, не состоял с нашим убийцей ни в каком родстве, но в течение многих лет был связан делами и дружбой с его семейством. Одно время, по-видимому, молодой Градус изучал фармакологию в Цюрихе, а затем объезжал туманные виноградники в качестве бродячего дегустатора вин. Потом мы находим его втянутым в мелкую подрывную деятельность: печатание бранчливых брошюр, исполнение курьерских поручений для малоизвестных синдикалистских групп, организация стачек на стеклянных заводах и прочее в том же роде. Как-то в сороковых годах он приехал в Земблю в качестве коммивояжера по коньяку. Там он женился на дочери трактирщика. Его связь с экстремистской партией началась еще во времена ее первых уродливых корчей, и, когда разразилась революция, его скромный организаторский дар был оценен различными инстанциями. Его отъезд в Западную Европу с гнусным замыслом в сердце и заряженным пистолетом в кармане состоялся в тот самый день, когда безвинный поэт в безвинной стране начинал Песнь вторую «Бледного огня». Мы будем постоянно сопровождать Градуса в мыслях, пока он совершает путь из далекой Зембли в зеленую Аппалачию, на протяжении всей поэмы следуя путем ее ритма, проезжая мимо на рифме, выскакивая за угол переноса, дыша с цезурой, слетая прыжками к подножию страницы со строки на строку, как с ветки на ветку, прячась меж двух слов (см. примечание к строке [596](#)), возникая заново на горизонте новой песни, неуклонно

приближаясь в ямбическом марше, пересекая улицы, поднимаясь с чемоданом на эскалаторе пятистопника, сходя с него, садясь в новый состав мыслей, проникая в вестибюль гостиницы, гася лампу на ночном столике, меж тем как Шейд вычеркивает слово, и засыпая, когда поэт откладывает на ночь свое перо. >>>

[Строка 27: Шерлок Холмс](#)

Долговязый, с ястребиным носом, довольно симпатичный частный сыщик, главный персонаж рассказов Конан-Дойля. В настоящий момент я не имею возможности проверить, какой из них имеется здесь в виду, но подозреваю, что наш поэт попросту выдумал это «Дело о повернутых вспять башмаках». >>>

[Строка 35: Стиллет застынувшей капли](#)

Как упорно наш поэт вызывает образы зимы в начале поэмы, которую начал благоуханной летней ночью! Механизм ассоциации легко различим (стекло приводит к хрусталу, а хрусталь ко льду), но суфлер, скрытый за ним, остается неизвестным. Скромность мешает предположить, что на выбор сезона повлияло знакомство поэта с его будущим комментатором, происшедшее зимой. В прелестной строке, с которой начинается это примечание, читателю следует заметить последнее слово. В моем словаре оно определено как «последовательность капель, падающих с карниза». Помнится, я впервые встретил его в одном стихотворении Томаса Харди. Искристый мороз увековечил искристую каплю. Следует также заметить ослепительный намек «стройных стилетов», на блеск солнца — блеск стали, на тень плаща и кинжала и еще на тень цареубийства. >>>

[Строки 39–40: Закрывать глаза, и т. д.](#)

Эти строки представлены в черновике вариантом:

...и воры поспешат мои домой
Солнце с похищенным льдом, месяц с листвою.

Нельзя не вспомнить строк из «Тимона Афинского» (акт IV, сцена 3), где этот мизантроп обращается к трем ворам. За отсутствием библиотеки в моей одинокой избушке, где я живу подобно Тимону в пещере, я принужден — чтобы быстро процитировать — произвести обратный перевод этого места прозой с земблянкой стихотворной версии «Тимона»,

каковая, я надеюсь, достаточно близка к оригиналу или, по крайней мере, верна ему по духу:

Солнце — вор: оно завлекает море
и грабит его. Месяц — вор:
Он крадет у солнца свой серебристый свет.
Море — вор: оно растворяет месяц.

Для достойной оценки Конмалевых переводов Шекспира см. примечание к строке [962](#). >>>

[Строка 42: Я мог различить](#)

К концу мая я мог различить очертания некоторых моих образов в той форме, которую придал бы им его гений; к середине июня я наконец почувствовал уверенность, что он воссоздает в поэме ослепительную Земблю, горевшую в моем мозгу. Я завораживал его, я пропитывал его моим видением, я навязывал ему с бесшабашной щедростью пьяницы все то, что сам не мог передать в стихах. Нелегко было бы сыскать в истории поэзии подобный случай: чтобы два человека, различных по происхождению, воспитанию, умственным ассоциациям, духовной тональности, окраске мысли, один — ученый-космополит, другой — домосед-поэт, заключили секретное соглашение такого рода. Наконец я понял, что он до краев полон моей Зембли — распираем нужными рифмами, готов прыснуть, лишь стоило моргнуть глазом. При всяком удобном случае я понуждал его преодолеть привычную лень и начать писать. В моем карманном дневничке имеются беглые записи такого содержания: «Присоветовал ему героический метр»; «пересказал еще раз побег»; «предложил располагать тихой комнатой в моем доме»; «обсудил возможность записывать мой голос для его нужд» и, наконец, под датой 3 июля: «Поэма начата!»

Хотя я, увы, понимаю слишком хорошо, что результат, в его бледной и прозрачной форме, не может быть сочтен за прямое эхо моего повествования (из коего, кстати, лишь несколько отрывков приведено в моих примечаниях, главным образом к Песни первой), вряд ли, однако, можно сомневаться в том, что закатное рдение этой истории подействовало как катализатор на самый процесс непрерывного творческого кипения, который позволил Шейду создать поэму в 1000 строк за три недели. Существует, помимо этого, симптоматическое семейное сходство между

окраской поэмы и рассказом. Не без удовольствия перечел я мои комментарии к его строкам и в ряде случаев поймал себя на заимствовании некоего опалового отсвета пламенной сферы моего поэта, а также на бессознательном подражании прозаическому стилю его собственных критических статей. Но его вдова и коллеги могут оставить опасения и наслаждаться в полной мере плодами каких бы то ни было советов, которые они могли надавать моему добродушному поэту. О да, окончательный текст поэмы принадлежит полностью ему.

Если отбросить, как это, по-моему, следует сделать, три мимолетных упоминания о короле ([605](#), [822](#) и [894](#)) и «Земблю» Попа в строке [937](#), мы можем заключить, что окончательный текст «Бледного огня» был намеренно и беспощадно очищен от всех следов предоставленного мной материала; но мы найдем также, что, несмотря на контроль, производившийся над моим поэтом его домашним цензором и Бог один знает, кем еще, он предоставил царственному беглецу приют в сокровищнице сохраненных им вариантов; ибо в его черновике не менее 13 стихов, великолепных певучих стихов (приведенных мной в примечаниях к строкам [70](#), [79](#) и [130](#), все в Песни первой, над которой он, по всей очевидности, работал с большей творческой свободой, чем это позволялось ему впоследствии), носят специфический отпечаток моей темы, мельчайший, но подлинный оптический призрак моего повествования о Зембле и ее несчастном короле. >>>

[Строки 47–48: Дощатый дом между Гольдсвортом и Вордсмитом](#)

Первое имя принадлежит дому на Дальвичском шоссе, который я снимал у Хью Воррена Гольдсворта, эксперта по римскому праву и известного судьи. Я никогда не имел удовольствия познакомиться с моим хозяином, но почерк его я изучил почти столь же хорошо, как почерк Шейда.

Второе название относится, конечно, к Вордсмитскому университету. Указывая на как будто срединное положение своего дома между этими двумя точками, наш поэт меньше заботится о пространственной точности, чем об остроумной перестановке слогов в именах двух мастеров героического куплета, между которыми он уютно устроил свою собственную музу. На самом же деле «дощатый дом на зеленом квадрате» находился в пяти милях к западу от Вордсмитского кампуса и всего в пятидесяти ярдах, или около того, от моих восточных окон.

В предисловии к настоящей работе я имел случай сказать кое-что о прелестях моего жилища. Обворожительная, обворожительно рассеянная

дама (см. примечание к строке [691](#)), снявшая его для меня без предварительного осмотра, несомненно имела наилучшие намерения, тем более что он вызывал в округе всеобщее восхищение своей «старосветской просторностью и уютом». В действительности же это был старый, унылый, бело-черный полудеревянный дом того типа, который в моей стране зовется *wodnaggen*, с резными коньками, со сквозняковыми панорамными окнами и так называемым «полублагородным» крыльцом, увенчанным безобразной верандой. У судьи Гольдсворта была жена и четыре дочери. Семейные фотографии встретили меня в прихожей и преследовали из комнаты в комнату, и хотя я уверен, что Альфина (9 лет), Бетти (10), Викки (12) и Грейс (14) превратятся в скором времени из ужасных смазливых школьниц в нарядных девиц и превосходных матерей, я должен признаться, их бойкие личики на фотографиях раздражали меня до такой степени, что я в конце концов собрал их все до единой и свалил в стенной шкаф под ряд виселиц, с их зимней одеждой в целлофановых саванах. В кабинете я нашел большой портрет их родителей: вопреки природному полу, г-жа Г. напоминала Маленкова, а г-н Г. — медузокудрую ведьму; я заменил их репродукцией любимого раннего Пикассо: земной мальчик, ведущий дождевую тучу — лошадь. Я, впрочем, не стал слишком заниматься их семейными книгами, которые попадались во всех углах дома: четыре разных комплекта детских энциклопедий, а также одна вялая энциклопедия для взрослых, которая поднималась вверх с полки на полку на всем протяжении лестницы, чтобы на чердаке прорвать аппендикс. Судья по романам в будуаре г-жи Гольдсворт, ее умственные интересы были развиты полностью, от «Амбры навеки» до «Японского Дзэна». Глава этой алфавитной семьи также имел библиотеку, но она состояла главным образом из юридических трудов и множества гроссбухов, снабженных отчетливыми литерными. Все, что неспециалисту могло пригодиться для поучения и развлечения, был переплетенный в сафьян альбом, в который судья с любовью наклеивал жизнеописание и портреты людей, отправленных им в тюрьму или приговоренных к смертной казни: незабвенные лица слабоумных хулиганов, последние затяжки и последние ухмылки, совершенно обыкновенные на вид руки душителя, собственного производства вдова, тесно посаженные беспощадные глаза маниакального убийцы (признаюсь, несколько похожего на покойного Жака д'Аргюса), умный малыш-отцеубийца 7 лет («Ну-ка, сынок, скажи нам...») и грустный, невысокий, толстый старый педераст, который взорвал на воздух своего шантажиста. Меня несколько удивило, что именно он, мой ученый домохозяин, а вовсе не его благоверная занимался домашним хозяйством.

Он не только оставил мне подробный инвентарь всех предметов, что теснятся вокруг нового жильца, как толпа враждебных туземцев, но также затратил массу труда на выписку на клочках бумаги рекомендаций, объяснений, предписаний и дополнительных списков. Чего бы я ни коснулся в первый день моего пребывания, все наделяло меня образчиком Гольдсвортианы. Я отпер аптечный шкафчик во второй ванной, и оттуда выпорхнуло предостережение, что паз для использованных безопасных лезвий слишком полон, чтобы можно было им пользоваться. Я открыл ледник, и он с лаем предупредил меня, что в него не следует помещать «изделия национальной кухни с трудновыводимым запахом». Я выдвинул средний ящик письменного стола в кабинете и обнаружил *un catalogue raisonné* его скудного содержания, заключавшего в себя ассортимент пепельниц, дамасский разрезательный нож (описанный как «один старинный кинжал, привезенный отцом г-жи Гольдсворт с Востока») и старый, но неиспользованный карманный дневник, оптимистически созревающий там, пока не повторятся его календарные соответствия. Среди множества подробных заметок, приколотых к специальной доске в кладовой, вроде водопроводных руководств, диссертаций по электричеству, трактатов о кактусах и т. п., я нашел диету черного кота, принадлежавшего к дому.

пон., ср., пят.: печенка
втор., четв., субб.: рыба
воскр.: рубленое мясо.

(У меня он получал только молоко и сардинки; это было милое маленькое создание, но вскоре его передвижения стали действовать мне на нервы, и я его поместил на иждивение к г-же Финли, поденщице.) Но, может быть, самая смешная записка относилась к манипуляции оконных портьер, которые следовало затягивать различным образом в различные часы, чтобы предотвратить действие солнечных лучей на обивку мебели. Для каждого окна было описано положение солнца по дням и временам года, и, если бы я принял все это к исполнению, я был бы столь же занят, как участник регаты. Впрочем, в сноске великодушно предлагалось заменить управление занавесками тем, чтобы отодвигать и убирать за пределы достижения солнечных лучей самые ценные предметы обстановки (два вышитых кресла и тяжелый резной стол «королевская консоль»), но это следовало делать осторожно, чтобы не поцарапать стенного карниза. Я не могу, увы, воспроизвести точный порядок этих перестановок, но,

кажется, припоминаю, что мне следовало рокироваться в длинную сторону перед тем, как лечь спать, а с утра пораньше — в короткую. Мой милый Шейд рычал от хохота, когда я водил его на осмотр и давал ему самому находить иные из этих пасхальных яиц. Слава Богу, его здоровая веселость рассеяла атмосферу *damnum infectum*, в которой мне полагалось бы пребывать. В свою очередь, он попотчевал меня целым рядом анекдотов о сухом юморе судьи и его манере держаться в суде; большинство историй были несомненно фольклорными преувеличениями, некоторые — очевидными выдумками, и все они были вполне безобидными. Он никогда не упоминал, мой милый старый друг, нелепых рассказов о страшной тени, падавшей от мантии судьи Гольдсворта на преступный мир, или о той или другой зверюге, буквально помиравшей в тюрьме от *raghdirst* (жажды мести) — пошлых рассказней, распускаемых бесстыдными и бессердечными людьми, всеми теми, для кого романтика, даль, багровые небеса, подбитые тюленьим мехом, темнеющие дюны баснословного королевства попросту не существуют. Но довольно об этом. Вернемся к окнам нашего поэта. У меня нет желания сгибать и раздувать незатейливый *apparatus criticus* в чудовищное подобие романа.

Ныне мне было бы невозможно описать дом Шейда в архитектурных терминах, да и в каких бы то ни было других, кроме терминов подглядывания и высматривания и обрамленных окнами okazji. Как было упомянуто ранее (см. [Предисловие](#)), с приходом лета возникло оптическое затруднение: назойливая листва часто расходилась со мной во взглядах; она принимала зеленый монокль за непроницаемую преграду, а идею защиты за препятствия. Тем временем (3 июля по моему календарю) я узнал — не от Джона, а от Сибиллы, — что мой друг начал работу над длинной поэмой. Не видав его дня два, я понес ему было третьеразрядную почту из его почтового ящика на улице, соседствовавшего с гольдсвортовским (который я игнорировал, так как он был битком набит разными листовками, местной рекламой, каталогами и тому подобным мусором), и наткнулся на Сибиллу, которую кустарник скрывал от моего соколиного ока. В соломенной шляпе и садовых перчатках, она сидела на корточках перед клумбой и что-то полола или подвязывала, и ее коричневые в обтяжку штаны напомнили мне мандолиновидное трико (как я в шутку его называл), которое носила моя собственная жена. Она сказала не беспокоить его этими объявлениями и добавила, что он «начал настоящую большую поэму». Я почувствовал прилив крови к лицу и пробормотал, что он до сих пор ничего мне не показывал, а она выпрямилась, отбросила со лба черные с проседью волосы, уставилась на меня и сказала: «О чем вы говорите —

не показывал? Он никогда не показывает ничего незаконченного. Никогда, никогда. Он не станет даже обсуждать ее с вами, пока она не будет совсем, совсем окончена». Я не мог этому поверить, но вскоре, беседуя с моим странно замкнутым другом, заметил, что он отлично вышколен своей супругой. Когда я попытался вызвать его на откровенность путем добродушных острот вроде того, что «людям, живущим в стеклянных домах, не следует писать стихов», он только зевал и качал головой, отвечая, что «иностранцам следует избегать старых поговорок». Тем не менее потребность узнать, что он делает со всем этим живым, блистательным, трепетным, мерцающим материалом, которым я засыпал его, свербящее желание увидеть его за работой (даже если плоды этой работы и оставались мне недоступными) были непередаваемо мучительны, они не поддавались контролю и ввергли меня в оргию слезки, которую не могли остановить никакие соображения личного достоинства.

Окна, как хорошо известно, на протяжении веков служили подмогой литературе, писанной от первого лица. Но этому наблюдателю не довелось сравняться в везении с соглядатаем «Героя нашего времени» или вездесущим автором «Утраченного времени». Все же порой выпадали и на мою долю удачи. Когда мое окно вышло из строя по вине непомерно разросшегося вяза, я нашел в конце веранды увитый плющом уголок, из которого мне открывался довольно широкий вид на фасад поэтава дома. Если мне хотелось увидеть его южную сторону, я мог спуститься за свой гараж и смотреть из-за тюльпанного дерева поверх извилистой дороги, бегущей под уклон, на несколько драгоценно ярких окон, ибо он никогда не спускал штор (*она* спускала). Если же мне не терпелось взглянуть на противоположную сторону, мне нужно было всего-навсего подняться в верхнюю часть моего сада, где мой лейб-гвардия из черного можжевельника караулила звезды и приметы и пятно бледного света под одиноким уличным фонарем на дороге внизу. К началу описываемой здесь эпохи я уже преодолел особый очень личный страх, о котором говорю в другом месте (см. примечание к строке [62](#)), и с удовольствием проходил впотымах по заросшему сорной травой каменистому выступу моих владений, завершавшемуся рощей акаций чуть выше северной стороны дома поэта.

Однажды, три десятилетия тому назад, в моей нежной и страшной юности, мне довелось увидеть человека в момент соприкосновения с Богом. Я забрел на так называемую Площадку Роз позади Герцогской часовни в моей родной Онхаве, во время перерыва в репетиции гимнов. Пока я там валандался, поочередно поднимая и охлаждая мои голые икры о

гладкую колонну, до меня доносились отдаленные мелодичные голоса, сливавшиеся с приглушенным мальчишеским весельем, к которому мне мешала присоединиться какая-то случайная обида, ревнивая досада на одного из мальчиков. Звук быстрых шагов заставил меня поднять угрюмый взгляд от мелкой мозаики площадки — реалистичных розовых лепестков, высеченных из родштейна, и крупных, почти ощутимых шипов из зеленого мрамора. В эти розы и шипы вступила черная тень: высокий, бледный молодой пастор, длинноносый и темноволосый, которого я встречал раза два, вышел из ризницы и остановился посреди двора. Виноватое отвлечение кривило его тонкие губы. Он был в очках. Его сжатые кулаки, казалось, стискивали невидимые прутья тюремной решетки. Но нет предела той мере благодати, которую способен воспринять человек. Внезапно лицо его приобрело выражение восторга и благоговения. Я никогда еще не видел такого пламенного блаженства, но мне довелось уловить нечто столь же великолепное, ту же духовную силу, то же божественное прозрение теперь, в иной земле, отраженное на грубо вылепленном и некрасивом лице старого Джона Шейда. Как рад я был, что мои бдения в продолжение всей весны подготовили меня к наблюдению за ним в часы его волшебных летних трудов! Я изучил досконально, где и когда находить наиболее подходящие пункты, откуда следовать по контуру его вдохновения. Мой бинокль отыскивал его и издали замирал на нем в различных местах, где он работал: по ночам в фиолетовом рдении его кабинета на втором этаже, где благосклонное зеркало отражало для меня его сутулые плечи и карандаш, которым он ковырял в ухе (время от времени разглядывая графит и даже пробуя его на вкус); утром, когда он таился в прерывистой тени своего нижнего кабинета, где яркая рюмочка спиртного тихонько путешествовала с канцелярского шкафа на конторку, а с конторки на книжную полку, чтобы там спрятаться, если нужно, за бюстом Данте; в жаркие дни среди лоз небольшого портика-беседки, сквозь ветви которого я мог разглядеть часть клеенки, его локоть на ней и пухлый херувимский кулачок, подпиравший и собиравший в складки его висок. Переменчивость перспективы и освещения, помехи обрамления или листвы обычно не давали мне ясно разглядеть его лицо, и возможно, что так было устроено самой природой, чтобы укрыть мистерию порождения от случайного злоумышленника, но иной раз, когда поэт шагал взад и вперед по лужку или присаживался на мгновение на скамейку в конце его, или останавливался под своей любимой карией, мне удавалось разглядеть выражение страстного интереса, восторга и благоговения, с которыми он следил за облакающимися в слова образами в своем сознании, и я знал, что,

как бы ни отрицал этого мой друг-агностик, в *такие* минуты Господь был с ним.

В иные вечера, когда, задолго до обычного часа отхода его обитателей ко сну, дом бывал темен с трех сторон, видных с трех моих наблюдательных пунктов, самая эта тьма говорила мне, что они дома. Их автомобиль стоял возле гаража, но я не мог поверить, что они ушли пешком, потому что в этом случае они бы оставили гореть свет над крыльцом. Позднейшие соображения и выводы убедили меня, что ночь великой нужды, когда я решился проверить это, была на одиннадцатое июля, в день завершения Шейдом его Песни второй. Это была жаркая, черная, ветреная ночь. Я прокрался через кустарник к задней стене их дома. Сперва мне показалось, что эта четвертая сторона тоже темна, тем самым разрешая мои сомнения, и я успел испытать странное чувство облегчения, пока не заметил квадрата слабого света под окном маленькой задней гостиной, где я никогда не бывал. Оно было широко открыто. Высокая лампа под похожим на пергамент абажуром освещала глубину комнаты, где я разглядел Сибиллу и Джона, ее на краю дивана, боком, как амазонка, спиной ко мне, а его — на пуфе около дивана, на котором он, казалось, собирал и складывал в колоду разбросанные игральные карты, оставшиеся после пасьянса. Сибилла то вздрагивала, обнимая себя за локти, то сморкалась; лицо Джона было все в пятнах и мокрое. Не зная еще в то время, на какой бумаге мой друг писал, я не мог не подивиться, каким образом исход игры в карты мог вызвать слезы. Пока я тянулся, стоя по колени в ужасно упругой самшитовой изгороди, чтобы лучше видеть, я смахнул звонкую крышку мусорного ведра. Это, конечно, можно было бы отнести за счет ветра, а Сибилла ненавидела ветер. Она тотчас покинула свой насест, с грохотом захлопнула окно и спустила пронзительно скрипнувшее жалюзи.

Озадаченный, с тяжелым сердцем, я побрел назад в свое безрадостное жилище. Тяжесть на сердце осталась, но загадка разрешилась несколькими днями позже, по всей вероятности в день святого Свитина, ибо под этим числом в моем дневничке я нахожу предварительное *promnad vespers mid J. S.*, вычеркнутое с таким раздражением, что графит сломался. Долго прождал я, чтобы мой друг присоединился ко мне в переулке, пока закатный пурпур не превратился в золу сумерек; я прошел к его парадной двери, поколебался, взвесил темноту и тишину и пошел вокруг дома. На этот раз из задней гостиной не было ни проблеска света, но в ярком прозаическом свете кухни я различил край беленого стола и сидевшую за ним Сибиллу с таким восторгом на лице, что можно было предположить,

что она только что придумала новый кулинарный рецепт. Задняя дверь была приоткрыта, и когда я распахнул ее легким постукиванием пальцев и начал какую-то веселую, непринужденную фразу, я понял, что Шейд, сидевший в другом конце стола, что-то ей читал, — как я догадался, часть своей поэмы. Оба вздрогнули. У него сорвалось непечатное проклятие, и он хлопнул о стол пачкой карточек, которую держал в руке. Позднее он приписал эту вспышку тому обстоятельству, что, будучи в очках для чтения, принял желанного друга за назойливого бродячего торговца; но я должен признаться, что это меня потрясло, потрясло очень сильно и заставило приписать отвратительный смысл всему, что последовало. «Ну что же, садитесь, — сказала Сибилла, — и выпейте кофе» (победители великодушны). Я принял предложение, так как хотел посмотреть, будет ли чтение продолжаться в моем присутствии. Этого не случилось. «Я думал, — сказал я моему другу, — что вы собирались со мной погулять». Он отговорился тем, что чувствует себя неважно, и продолжал чистить трубку с такой яростью, будто выдалбливал мое сердце.

Я не только понял *тогда*, что Шейд регулярно читает Сибилле набравшиеся части поэмы, но *сейчас* мне приходит в голову, что она столь же регулярно заставляла его приглушать или выбрасывать из чистового экземпляра все связанное с великолепной земблянкой темой, чем я непрестанно снабжал его и что, как я любил думать — мало зная о растущем манускрипте, — должно было стать основной яркой нитью в его ткани!

Выше на том же лесистом холме стоял, и по сей день, надеюсь, стоит, дощатый старый дом доктора Саттона, а на самой вершине никакая вечность не сокрушит ультрамодерной виллы профессора К., с террасы которой можно увидеть на юге самое большое и самое грустное из трех соединенных между собой озер, именуемых Омега, Озеро и Зеро (индейские названия, исковерканные ранними поселенцами, чтобы удобнее было приписать им фальшивое происхождение и находить банальные сопоставления). На северной стороне холма Дальвичева улица соединяется с шоссе, ведущим к Вордсмитскому университету, которому я здесь посвящу всего несколько слов, отчасти потому, что читатель может получить всевозможные описательные брошюры, запросив университетское бюро информации, главным же образом потому, что я хочу, упоминая о Вордсмите более кратко, чем о домах Гольдсворта и Шейда, дать понять, что колледж был гораздо дальше от них, чем они один от другого. Это, вероятно, первый случай, что тупая боль отдаленности передается посредством стилистического приема, а топографическое

понятие словесно выражено серией сокращающихся предложений.

Попетлив около четырех миль в общевосточном направлении сквозь прекрасно опрысканный и орошенный населенный район с различной крутизны газонами, нисходящими с обеих сторон, шоссе раздваивается: одна ветвь уходит налево к Нью-Уаю и его полному ожидания аэродрому, другая тянется до кампуса. Здесь расположены великие чертоги безумия, безупречно планированные общежития — бедламы джунглевой музыки, — великолепный дворец администрации, кирпичные стены, арочные пролеты, квадратные площадки, очерченные бархатной зеленью и хризопразом, Спенсер-Хаус и его кувшинковый пруд, Часовня, Новый лекционный зал, Библиотека, похожее на тюрьму строение с аудиториями и кабинетами (отныне Шейд-Холл), знаменитая аллея из всех деревьев, упоминаемых Шекспиром, отдаленное гудение, налет тумана, бирюзовый купол Обсерватории, пряди и бледные плюмажи перистых облаков и огороженное тополями футбольное поле с римскими ярусами, безлюдное в летние дни — разве что какой-нибудь мальчик с мечтательными глазами запускает там моторный аэропланчик на длинном контрольном лине по жужжащему кругу.

Господи Иисусе, помоги же мне как-нибудь. >>>

Строка 49: Кария

Наш поэт разделял с английскими мастерами поэзии благородное искусство пересаживать в стихи деревья вместе с соком и тенью. Много лет назад Диза, супруга нашего короля, чьи любимые деревья были джакаранда и адиантум, переписала в свой альбом четверостишие из сборника коротких стихотворений Джона Шейда «Кубок Гебы»; я не могу удержаться от того, чтобы привести его здесь (из письма, которое я получил 6 апреля 1959 года из Южной Франции):

СВЯЩЕННОЕ ДРЕВО

Лист Гинкго, золотистой окраски, опадающий
мускатной виноградиной,
формой напоминает плохо, по старинке
расправленную бабочку.

Когда в Нью-Уае строилась новая епископальная церковь (см.

примечание к строке [549](#)), бульдозеры пощадили полукруг из этих священных деревьев, посаженных гениальным садоводом (Репбургом) в так называемой Шекспировской аллее на кампусе. Я не знаю, насколько это важно, но во второй строчке тут скрыта игра в кошки-мышки (mus cat), а «дерево» по-земблянски *grados*. [>>>](#)

[Строка 57: Призрак качелей моей маленькой дочери.](#)

После этого Шейд зачеркнул легкой чертой в черновике следующие строки:

Хороший свет; с длинной шеей, лампы для чтения;
Ключи во всех дверях. Ваш модный архитектор
В заговоре с психоаналитиками:
Планируя родительские спальни, он настаивает
На дверях без замков, дабы, оглядываясь назад,
Будущий пациент будущего шарлатана
Мог найти заготовленную для него «Исконную сцену».

[>>>](#)

[Строка 61: Огромная скрепка телеантенны](#)

В некрологе, упомянутом в моих примечаниях к строкам [71–72](#), пустом и весьма идиотском во всех других отношениях, цитируется по рукописи стихотворение (полученное от Сибиллы Шейд), про которое сказано «написано нашим поэтом, по-видимому, в конце июня, т. е. менее чем за месяц до смерти нашего поэта, и, значит, последняя из написанных нашим поэтом коротких вещей». Вот оно:

КАЧЕЛИ

Заходящее солнце, освещающее кончики
Гигантской скрепки телеантенны
На крыше;

Тень дверной ручки, лежащая
На закате бейсбольной битой
На двери;

Кардинал, любящий сидеть,
Издавая чип-уит, чип-уит, чип-уит, —
На дереве;

Пустые маленькие качели, качающиеся
Под деревом, — вот вещи,
Разбивающие мне сердце.

Я предоставляю читателю *моего* поэта решить, может ли быть, чтоб он написал это стихотворение всего за несколько дней до того, как повторил его миниатюрные темы в этой части поэмы. Подозреваю, что это гораздо более раннее произведение (под ним не проставлен год, но его следует отнести ко времени вскоре после смерти его дочери), которое Шейд откопал среди своих старых бумаг, чтобы посмотреть, что можно применить в «*Бледном огне*» (поэме, которой наш писатель некрологов не знает). >>>

[Строка 62: Часто](#)

Часто, почти еженощно, в течение всей весны 1959 года, я жил в страхе за свою жизнь. Одиночество — это игральное поле Сатаны. Я не могу описать глубину моего одиночества и муки. У меня, конечно, был мой знаменитый сосед, сразу по ту сторону переулка, да еще одно время я держал беспутного молодого квартиранта (который обычно приходил домой далеко за полночь). Но мне хочется объяснить ту холодную твердую сердцевину одиночества, которая так вредна для перемещенных душ. Всякий знает, как склонны зембляне к цареубийству: две королевы, три короля и четырнадцать претендентов умерли насильственной смертью, удушенные, заколотые, отравленные или утопленные, за одно только столетие (1700–1800). Гольдсвортовский замок становился особенно одиноким после той поворотной точки сумерек, которая так сильно напоминает потемнение рассудка. Приглушенные шорохи, поступь прошлогодних листьев, праздный ветерок, пес, совершающий обход мусорных ведер, — во всем этом мне слышалось приближение кровожадного бандита. Я переходил от окна к окну, в вымокшем от пота шелковом ночном колпаке, с голой грудью, похожей на отмерзающий пруд, а иногда, вооружившись дробовиком судьбы, смело выходил навстречу угрозе террасы. Полагаю, что именно тогда, в эти замаскированные под

весну ночи, когда звуки новой жизни в деревьях так жестоко подражали потрескиванию старой смерти в моем мозгу, полагаю, что именно тогда, в эти страшные ночи, я привык обращаться к окнам дома моего соседа в надежде найти проблеск утешения (см. примечание к строкам [47–48](#)). Чего бы не дал я тогда за то, чтобы с поэтом случился новый сердечный припадок (см. строку [691](#) и примечание), чтобы меня позвали к ним в дом с ярко освещенными окнами, посреди ночи, в великом горячем приливе симпатии, кофе, телефонных звонков, рецептов из земблянских трав (они творят чудеса!) и с воскресшим Шейдом, плачущим в моих объятиях («Ну будет, будет, Джон...»). Но в те мартовские ночи их дом был черен, как гроб. И когда наконец физическое изнурение и могильный холод загоняли меня наверх в мою одинокую двуспальную постель, я лежал в ней, не засыпая, не дыша — как будто только теперь сознательно переживая те гибельные ночи в моей родной стране, когда в любое мгновение мог войти отряд трясущихся от страха революционеров и потащить меня к залитой лунным светом стене. Звук быстрого автомобиля или стон грузовика доходили до меня как странная смесь дружеского утешения жизни и устрашающей смертной тени: не остановится ли эта тень у моей двери? Эти призрачные убийцы, не за мной ли они пришли? Пристрелят ли они меня сразу или же переправят захлороформированного ученого контрабандой в Земблю, родную Земблю, чтобы он там предстал перед сверкающим графином и рядом судей, ликующих в своих инквизиторских креслах?

Временами мне думалось, что только путем самоуничтожения я могу надеяться обмануть неуклонно подступающих убийц, которые были во мне, в моих барабанных перепонках, в моем пульсе, в моей черепе, скорее чем на этом перманентном шоссе, петлившем надо мной и вокруг моего сердца, пока я засыпал, затем только, чтобы мой сон был разрушен пьяным, невозможным, незабвенным Бобом, возвращавшимся в бывшую постель Викки или Грейс. Как вкратце отмечено в предисловии, я в конце концов его выгнал, после чего в продолжение нескольких ночей ни вино, ни музыка, ни молитва не могли преодолеть моих страхов. С другой же стороны, эти наливавшиеся соком весенние дни были вполне выносимы, лекции мои всем нравились, и я вменил себе в обязанность посещать все доступные мне общественные сборища. Но после веселого вечера снова наступало коварное подкрадывание, окольное шарканье, это подползание, это замирание и возобновленный хруст.

Гольдсвортовское шато имело множество наружных дверей, и как бы тщательно я ни проверял их, а также оконные ставни внизу перед тем, как

лечь спать, на следующее утро мне неизменно доводилось найти что-нибудь отпертое, отомкнутое, слегка расшатанное, слегка приоткрытое, что-нибудь хитрое и подозрительное на вид. Однажды вечером черный кот, которого за несколько минут до того я видел струящимся вниз по пути в подвал, где я устроил ему туалетное приспособление в располагающей обстановке, вдруг появился на пороге музыкальной комнаты, посреди моей бессонницы и вагнеровской пластинки, выгибая спинку и щеголя бантом из белого шелка, который он, конечно, никак не мог нацепить самостоятельно. Я позвонил 11111 и несколько минут спустя обсуждал возможных виновников с полицейским, которому очень пришлось по вкусу моя вишневая наливка, но кто бы ни был взломщик, следов он не оставил. Жестокому человеку так легко заставить жертву его изобретательности уверовать в свою манию преследования, или в то, что его действительно подстерегает убийца, или что он страдает галлюцинациями. Галлюцинации! Я прекрасно знал, что среди молодых преподавателей, авансы которых я отверг, был по крайней мере один дурной предприимчивый шутник; я знал это с того времени, когда, вернувшись домой после весьма приятной и успешной встречи между студентами и преподавателями (на который в пылу увлечения я скинул пиджак и показал нескольким любителям кое-какие забавные приемы, применяемые землянскими борцами), нашел в кармане пиджака грубую анонимную записку следующего содержания: «Ну и hal....s^[14] же у тебя, друже», что, очевидно, означало «галлюцинации» (hallucinations), хотя недоброжелательный критик мог заключить из недостаточного числа точек, что этот г-н Аноним, несмотря на то что преподавал английский первокурсникам, едва ли знал орфографию.

Я счастлив доложить, что вскоре после Пасхи мои страхи исчезли и никогда больше не вернулись. В комнату Альфины или Бетти въехал другой жилец, Бальтазар, князь Черноземный, как я прозвал его, который со стихийной регулярностью засыпал в 9, а к 6-ти утра уже сажал гелиотроп (*Heliotropium turgenevi*). Это тот цветок, запах которого с извечной силой вызывает передо мной сумерки, и садовую скамью, и деревянный крашенный дом в далекой северной стране. >>>

[Строка 70: Новую антенну](#)

После этого в черновике (под датой 3 июля) следует несколько нумерованных строчек, возможно предназначавшихся для каких-то более поздних частей поэмы. Они не то чтобы вычеркнуты, но снабжены вопросительным знаком на поле и обведены волнистой линией,

набегающей на некоторые буквы:

бывают события, странные происшествия, которые поражают
ум своей эмблематичностью. Они напоминают
потерявшиеся сравнения, дрейфующие без каната,
ни к чему не прикрепленные. Как тот северный король,
чьё отчаянное бегство из тюрьмы удалось
только потому, что человек сорок
его сторонников в ту ночь
нарядились под него в подражание его побегу.

Он никогда бы не достиг западного побережья, если бы среди его тайных приверженцев, романтических, героических смельчаков, не распространилась прихоть подражать беглецу-королю. Они нарядились, как он, в красные свитеры и красные кепки и неожиданно появлялись то там, то тут, совершенно сбивая с толку революционную полицию. Иные из проказников были гораздо моложе короля, но это не имело значения, поскольку его портрет в горных хижинах и в близоруких деревенских лавчонках, где можно купить червей, пряников и лезвия «жилетка», не постарел со времени коронации. Очаровательный карикатурный штрих прибавился к этой знаменитой истории, когда с террасы отеля «Кронблик», с которой подвесные кресла поднимают туристов на ледник Крон, один веселый мим проплыл вверх, подобно красному мотыльку, с незадачливым простоволосым полицейским двумя сиденьями ниже в медленной, как сон, погоне. С удовольствием добавляю, что лжекоролю удалось, не доезжая до верха, спуститься по одной из опор, несущих тягловый трос (см. также примечания к строкам [149](#) и [171](#)). >>>

[Строка 71: Родители](#)

Профессор Хёрли с похвальной поспешностью написал обзор опубликованных произведений Джона Шейда менее чем через месяц после смерти поэта. Он вышел в тщедушном литературном журнальчике, название которого выпало у меня из памяти и который был мне показан в Чикаго, где я прервал на два-три дня свое автомобильное путешествие из Нью-Уая в Сидарн, в эти угрюмые осенние горы.

Комментарий, в котором должна царить мирная научность, не место для разноса смехотворных изъянов этого краткого некролога. Я только потому упомянул о нем, что там я подобрал несколько скудных

подробностей, относящихся к родителям поэта. Отец его, Сэмюель Шейд, умерший пятидесяти лет от роду в 1902 году, в молодости изучал медицину и был вице-директором фабрики хирургических инструментов в Экстоне. Однако главной его страстью было то, что наш красноречивый автор некролога назвал «изучение пернатого племени», прибавляя, что в его честь была названа птица — *Bombycilla Shadei* (нужно, разумеется, *shadei*). Мать поэта, рожденная Кэролина Лукин, помогала ему в этой работе и сделала восхитительные иллюстрации к его «Птицам Мексики», которые я, помнится, видел в доме моего друга. Чего автор некролога не знает, это что Лукин происходит от Луки, так же как и фамилии Локок, Люксон и Лукашевич. Это один из многих примеров того, как аморфное на вид, но живое и личное отчество разрастается иногда в фантастические формы вокруг простого камушка крестного имени. Лукины — старинный эссекский род. Иные имена происходят от профессий, так, например, Раймер, Скривенер, Линнер (иллюстрирующий рукописи на пергаменте), Боткин (делающий ботинки — изысканную обувь) и тысячи других. Мой воспитатель, шотландец, называл всякое полуразвалившееся здание «херлиев дом»! Но довольно об этом.

Читатель Джона Шейда может найти в профессорской статье еще некоторые мелочи, относящиеся к его университетским занятиям и средним годам его исключительно небогатой событиями жизни. Статья была бы довольно скучной, не будь она оживлена, если можно так выразиться, некоторыми особыми отличиями. Так, она содержит лишь одно упоминание о шедевре моего друга (аккуратно сложенные стопки которого лежат, пока я это пишу, на солнце, на моем столе, подобные слиткам сказочного металла), и это я списываю со злорадным наслаждением: «Как раз перед безвременной кончиной нашего поэта он, по-видимому, работал над автобиографической поэмой». Обстоятельства этой кончины совершенно искажены профессором, фатально следовавшим за господами из повременной печати, которые — быть может, из политических соображений — исказили побуждения и намерения бандита, не дождавшись суда — которому, к несчастью, не суждено было состояться на этом свете (см. в свое время мое последнее примечание). Но, конечно, наиболее разительная черта этого небольшого некролога — это то, что он не содержит ни единого упоминания о лучезарной дружбе, озарившей последние месяцы жизни Джона.

Мой друг не мог вызвать в памяти образ своего отца. Подобно ему, король, которому также не было и трех лет, когда умер его отец, король Альфин, не мог вспомнить его лица, хотя, как ни странно, он отлично

помнил маленький шоколадный моноплан, который он, пухленький младенец, держал в руках на той самой последней фотографии (Рождество 1918 года) меланхолического авиатора в бриджах, на чьих коленях он неохотно и неудобно развалился.

Альфин Туманный (1873–1918; годы царствования 1900–1918, хотя в большинстве биографических словарей говорится 1900–1919, недосмотр, вызванный заменой календаря старого стиля новым) получил свое прозвание от Амфитеатрикуса, не лишённого добродушия автора стишков на злобу дня в либеральных газетах (он также окрестил мою столицу «Ураноград!»). Рассеянность короля Альфина не знала пределов. Он был прескверный лингвист, имея в своем распоряжении лишь несколько французских и датских фраз, но всякий раз, когда ему случалось произносить речь перед подданными — толпой земблянских мужичков в какой-нибудь отдаленной долине, куда он был вынужден спуститься, — в его мозгу начинал действовать какой-то не поддающийся контролю переключатель, и он прибегал к этим фразам, приправляя их ради актуальности чуточкой латыни. Большинство анекдотов о приступах его наивной рассеянности слишком глупы и неприличны, чтобы осквернять ими эти страницы, но один из них, не кажущийся мне особенно смешным, вызвал у Шейда раскаты хохота (и вернулся ко мне, пройдя через профессорскую, с такими непристойными прибавлениями, что я склонен привести его здесь как пример и поправку). Однажды летом, перед Первой мировой войной, когда император одного большого иностранного государства (я понимаю, как невелико число для выбора) наносил нашей маленькой упрямой стране совершенно необычный и лестный визит, мой отец отправился с ним и с молодым земблянским переводчиком (вопрос пола которого я оставляю открытым) прокатиться по окрестностям на новоприобретенном автомобиле, построенном по специальному заказу. Как обычно, король Альфин путешествовал без всяких признаков охраны, и это обстоятельство, так же как быстрота его управления, казалось, беспокоили гостя. На обратном пути, миль за двадцать до Онхавы, король решил остановиться для починки. Пока он возился с мотором, император и переводчик отошли под тень придорожных сосен, и только когда король Альфин вернулся в Онхаву, он постепенно заключил из повторных, тревожных вопросов, что потерял кого-то по дороге («какой император?» — осталось его единственным памятным *bon mot*). Вообще говоря, я настойчиво предлагал моему поэту записывать любые мои литературные вклады (или то, что я считал литературными вкладыми), но не распространять их в праздных разговорах; однако даже поэтам не чужды

людские слабости.

Рассеянность короля Альфина странным образом сочеталась в нем с любовью к механическим аппаратам, в особенности к летательным машинам. В 1912 году он изловчился подняться на зонтоподобном фабровском «гидроплане» и едва не утонул в море между Нитрой и Индрой. Он разбил два «фармана», три земблянские машины и излюбленную им сантос-дюмоновскую «Стрекозу». В 1916 году его постоянный «воздушный адъютант», полковник Петр Гусев (позднее пионер-парашютист, в 70 лет один из лучших прыгунов любого времени), построил для него совершенно особенный моноплан «Бленда-IV», оказавшийся для него роковым. В одно спокойное, не слишком холодное декабрьское утро, которое ангелы избрали, чтобы уловить в сети его кроткую, чистую душу, король Альфин попытался в одиночку произвести замысловатую вертикальную петлю, показанную ему в Гатчине князем Андреем Качуриным, знаменитым воздушным акробатом и героем Первой войны. Случилась какая-то загвоздка, и маленькая «Бленда» на глазах наблюдателей сорвалась в бесконтрольное пикирование. Позади и выше него, на кодроновском биплане, полковник Гусев (к тому времени герцог Ральский) и королева сделали несколько снимков этого, показавшегося сперва благородным и изящным, маневра, превратившегося потом в нечто совсем другое. В последний момент королю Атьфину удалось выправить машину и вновь совладать с силой притяжения, но сразу за этим он с треском врезался в строительные леса громадного отеля, сооружавшегося посреди береговой вересковой пустоши, как будто специально с целью преградить путь королю. Это незаконченное и сильно поврежденное строение было снесено по приказанию королевы Бленды, которая заменила его безвкусным гранитным монументом, увенчанным малоправдоподобного типа самолетом из бронзы. Глянцевитые отпечатки увеличенных снимков всей этой катастрофы были однажды обнаружены восьмилетним Карлом-Ксаверием в ящике секретера. На некоторых из этих страшных фотографий можно было разглядеть плечи и кожаный шлем странно безучастного авиатора, а на предпоследней из серии, за мгновение до размазанно-белесого сокрушительного падения была отчетливо видна его рука, поднятая в знак триумфа и ободрения. После этого мальчику снились страшные сны, но его мать никогда не узнала, что он видел эту адскую документацию.

Ее он помнил более или менее: всадница, высокая, широкая, крепкая, с румяным лицом. Кузина короля уверила Бленду, что ее сын будет благополучен и счастлив под опекой замечательного г-на Кэмпбеля,

научившего ряд послушных маленьких принцесс расправлять бабочек и восхищаться «Погребальным плачем по лорду Рональду». Он, так сказать, принес свою жизнь в жертву на портативных алтарях многочисленных забав (или хобби), от изучения книжных клещей до медвежьей охоты, и во время прогулки мог отбарабанить от начала до конца всего «Макбета»; но он не придавал никакого значения нравственности своего воспитанника, предпочитал дамочек мальчикам и не углублялся в общепринятые землянские обычаи. После десятилетнего пребывания он отбыл к какому-то экзотическому двору — в 1932 году, когда наш принц, семнадцати лет от роду, начал делить свое время между университетом и своим полком. Это был приятнейший период его жизни. Он никак не мог решить, что доставляло ему больше удовольствия: изучение ли поэзии — в особенности английской поэзии, — или присутствие на парадах, или танцы на маскарадах с мальчишко-девочками и девочко-мальчиками. Его мать скоропостижно умерла 21 июля 1936 года от редкой болезни крови, которой страдали также ее мать и бабка. Накануне ей было значительно легче, и Карл-Ксаверий отправился на бал, который должен был длиться всю ночь, в так называемом Герцогском замке в Гриндельводе — в данном случае формальное гетеросексуальное сборище, весьма освежительное после предшествовавших ему забав. Около четырех утра, когда солнце осветило древесные верхушки и розовый конус Фальк-горы, король остановил свой мощный автомобиль у одного из дворцовых въездов. Воздух был так нежен, свет так поэтичен, что он и трое сопровождавших его друзей решили пройти пешком через липовую рощу остаток пути до Павлинъего павильона, где помещались гости. Он и Отар, его платонический приятель, были во фраках, но потеряли цилиндры на дорожном ветру. Какое-то странное чувство охватило всех четверых, пока они стояли под молодыми липами среди трафаретного ландшафта эскарпа и контрэскарпа, подкрепленных тенью и противоположной тенью. Отар, приятный и культурный молодой аристократ с огромным носом и редкими волосами, был с двумя любовницами, восемнадцатилетней Фифальдой (на которой он впоследствии женился) и семнадцатилетней Флёр (которую мы встретим в двух других примечаниях), дочерьми графини де Файлер, любимой фрейлины королевы. Поневоле задерживаешься на этой картине, как бывает, когда остановишься в удобном пункте времени и задним числом знаешь, что через минуту жизнь подвергнется полной перемене. Итак, там был Отар, озадаченно глядевший на дальние окна покоев королевы, и две девушки рядом, тонконогие, в переливчатых шляхах, с порозовевшими кошачьими носиками, с зелеными сонными глазами, в сережках, ловивших

и терявших солнечные отблески. Кругом были какие-то люди, как всегда, в любой час, бывало у этих ворот, мимо которых проходила дорога, соединявшаяся с Восточным шоссе. Крестьянка с небольшим пирогом, который сама испекла, без сомнения мать караульного, который еще не пришел сменить небритого темноволосого молодого *nattdert* (дитя ночи) в его скучной караульной будке, — сидела на отроге горы, наблюдая с женским самозабвением за подобными светлякам свечами, переходившими из окна в окно; двое рабочих, держа велосипеды, тоже стояли, глядя на эти странные огни, и пьяница с моржовыми усами передвигался, качаясь, с места на место, похлопывая липовые стволы. В такие замедленные моменты жизни замечаешь мелочи. Король заметил, что рамы велосипедов запятнаны красноватой грязью, а передние колеса повернуты в одном и том же направлении, параллельно друг другу. Внезапно по крутой тропинке меж сиреневых кустов — кратчайшим путем от покоев королевы — бегом спустилась графиня, спотыкаясь о край стеганого халата, и в ту же минуту с другой стороны дворца все семеро советников, одетые в свою великолепную форму и неся, как пирожное с изюмом, копии различных регалий, широким шагом зашагали вниз по каменным ступеням с благопристойной поспешностью, но она обогнала их на один алин и выложила новость. Пьяница затянул похабную балладу «Карлушка-потаскушка» и свалился в траншею равелина. Нелегко объяснить в кратком примечании к поэме различные подступы к укрепленному замку, и потому, сознавая эту трудность, я приготовил для Джона Шейда — как-то в июне, когда рассказывал ему о событиях, вкратце упомянутых в моих комментариях (см., например, примечания к строке [130](#)), — довольно хорошо нарисованный план комнат, террас, бастаионов и увеселительных площадок онхавского дворца. Этот тщательно исполненный цветными чернилами рисунок на большом (тридцать на двадцать дюймов) листе картона, если только не был уничтожен или украден, должен находиться там, где я его видел в последний раз в середине июля, на большом черном сундуке против старого бельевого катка, в нише коридорчика, ведущего в так называемую фруктовую кладовую. Если его там нет, то можно поискать в кабинете на втором этаже. Я писал об этом г-же Шейд, но она не отвечает на мои письма. Если он еще существует, хочу просить ее, не повышая голоса, со смирением, с тем смирением, с которым малейший из подданных короля умолял бы о немедленном восстановлении его прав (план этот мой и ясно мною подписан, с черной короной шахматного короля, проставленной после «Кинбот»), послать его в хорошей упаковке, с пометкой «не сгибать» на обертке, и заказной почтой моему издателю для воспроизведения в

дальнейших изданиях этой работы. Вся моя энергия в последнее время совершенно истощилась, а эти дикие головные боли делают теперь невозможным всякое усилие памяти и зрительное напряжение, которые потребовались бы, чтобы нарисовать такой план. Черный сундук стоит на другом, коричневом или коричневатом, еще большего размера, а рядом, в том же темном углу, стоит, кажется, чучело лисицы или койота. >>>

Строка 79: Любитель прошлого

Против этого на полях черновика имеются две строки, из коих только первая поддается расшифровке. Вот она:

Вечер — это время для восхваления дня...

Я почти уверен, что мой друг пытался включить сюда нечто слышанное им и г-жой Шейд от меня в одну из моих веселых минут, а именно: прелестное четверостишие из нашего земблянского подобию «Старшей Эдды», в анонимном (Керби?) английском переводе.

Мудрый хвалит день при наступлении ночи,
жену, когда она скончалась,
лед, когда он перейден, невесту,
когда она в постели, коня, когда он испробован.

>>>

Строка 80: Моя спальня

Наш принц был привязан к Флёр, как к сестре, но без легчайшей тени кровосмесительства и вторичных гомосексуальных осложнений. У нее было маленькое бледное личико с выступающими скулами, ясные глаза и вьющиеся темные волосы. Говорили, что светский скульптор и поэт Арнор, проведя месяцы с фарфоровой чашкой и туфелькой Золушки, нашел во Флёр то, чего искал, и применил ее груди и ступни к своей «Лилит, зовущей назад Адама»; но я отнюдь не эксперт по этим нежным предметам. Отар, ее любовник, говорил, что, когда идешь за ней и она знает, что за ней идут, покачивание и игра ее узких стройных бедер необыкновенно художественны, как то, чему арабских девушек обучали в специальных школах специальные парижские сводни, которые затем бывали удушены.

Ее хрупкие щиколотки, говорил он, которые она ставила очень тесно одна к другой в своей изящной, колеблющейся походке, были те самые «осторожные драгоценности», о которых Арнор говорит в стихотворении о *miragarl* (девушке-мираже), за которые «король грёз в песчаных пустынях времени отдал бы триста верблюдов и три фонтана».

On ságaren werém tremkín tri stána
Verbálala wod gév ut trí phantána

(я отметил ударения).

Принц не обращал внимания на эту довольно безвкусную болтовню (которой, вероятно, руководила ее мать) и, да будет позволено повторить, смотрел на нее просто как на сестру, душистую и элегантную, с крашеной мордочкой и *maussade*, туманной галльской манерой выражать то небольшое, что она хотела выразить. Ее невозмутимая грубость по отношению к нервной и болтливой графине забавляла его. Он любил танцевать с ней, и только с ней. Его почти не коробило, когда она гладила его руку или беззвучно прижималась открытыми губами к его щеке, которую успела закрасить сажей изможденная послебальная заря. Ее, казалось, не огорчало, что он покидал ее для более мужественных утех, и она вновь встречала его в темноте автомобиля или полуосвещенном кабаре со сдержанной, двусмысленной улыбкой привыкшей целоваться кузины.

Сорок дней между смертью королевы Бленды и его коронацией были, пожалуй, самым мучительным периодом его жизни. Он не любил матери, и то безнадежное и беспомощное раскаяние, которое он теперь испытывал, выродилось в болезненный физический страх перед ее призраком. Графиня, которая, казалось, была все время подле него, все время шуршала поблизости, водила его на сеансы столоверчения опытного американского медиума — сеансы, на которых дух королевы, пользуясь такой же планшеткой, как та, что она употребляла при жизни для бесед с Тормодусом, Торфеусом и Уоллесом, теперь проворно писал по-английски: «Карл, возьми, возьми, храни, люби цветок, цветок, цветок». Старый психиатр, столь щедро подкупленный графиней, что даже снаружи походил на гнилую грушу, уверял его, что своими пороками он подсознательно убил свою мать и будет продолжать «убивать ее в себе», если не отречется от содомии. Дворцовая интрига — это призрачный паук, все туже затягивающий вас при каждой вашей отчаянной попытке вырваться. Наш принц был молод, неопытен и наполовину помешан от бессонницы. Он

почти не отбивался. Графиня истратила состояние на подкуп его *kamergrum*'а (спальника), телохранителя и даже порядочной доли министра двора. Она стала спать в маленькой прихожей возле его холостяцкой спальни, великолепного просторного круглого апартамента наверху высокой и массивной Юго-Западной башни. Он служил особым покоем его отцу и все еще сообщался посредством забавного ската внутри стены с круглым плавательным бассейном в нижнем зале, так что молодой принц мог начинать день, как, бывало, начинал его отец, раздвигая стенное панно возле своей солдатской койки и скатываясь в пролет, по которому он летел вниз, прямо в яркую воду. Для нужд других, чем спанье, Карл-Ксаверий установил посреди пола, покрытого персидским ковром, так называемую батифолию, т. е. огромную овальную, в роскошных воланах, подушку из лебяжьего пуха размером с трех-спальную кровать. В этом-то обширном гнезде теперь спала Флёр, свернувшись в центральной ямке под одеялом из натурального меха гигантской панды, которую как раз перед тем примчала ему из Тибета группа азиатских доброжелателей по случаю его восшествия на престол. Прихожая, где устроилась графиня, имела собственную внутреннюю лестницу и ванную, но сообщалась также, при помощи раздвижной двери, с Западной галереей. Я не знаю, какой совет или приказ получила Флёр от своей матери, но соблазнительницей она оказалась плохой. Она все старалась, как будто в тихом помешательстве, починить сломанную *viola d'amore* или сидела в скорбной позе, сравнивая две старинные флейты, обе с грустным тоном и слабые. Между тем он, в турецком наряде, валялся в большом отцовском кресле, свесив ноги через ручку, листая том *Historia Zemblica*, списывая оттуда выдержки и время от времени выуживая из глубин сиденья то пару старомодных автомобильных очков, то перстень с черным опалом, то ком из серебряной шоколадной обертки, то звезду иностранного ордена.

Было тепло на вечернем солнце. На второй день их смехотворного сожителства на ней была всего лишь пижамная кофточка без пуговиц и рукавов. Вид ее четырех голых конечностей и трех мышек (земблянская анатомия) раздражал его и, шагая взад и вперед, обдумывая коронационную речь, он не глядя швырял в ее сторону ее шорты или купальный халат. Иногда, возвращаясь к удобному старому креслу, он находил ее в нем, печально созерцающую изображение *bogtur*'а (древнего воина) в книге по истории. Он выплескивал ее из кресла, не сводя глаз со своей тетради, и она, потягиваясь, переходила на сиденье под окном в пыльном солнечном луче, но через некоторое время пыталась приласкаться к нему, и ему приходилось отталкивать ее трущуюся темную кудрявую

голову одной рукой, продолжая писать другою, или отрывать по одному от своего рукава или пояса ее розовые коготки.

Ее присутствие по ночам не помогало убивать бессонницу, но по крайней мере не подпускало упорного призрака королевы Бленды. Между переутомлением и сонливостью он забавлялся глупыми фантазиями: например, что если встать и вылить немножко холодной воды из графина на голое плечо Флёр, чтобы потушить на нем слабый блик лунного луча. Графиня зычно храпела в своем логове. А за вестибюлем его бдения (тут он начинал засыпать), в темной холодной галерее, лежа по всему крашеному мрамору и привалившись в три или четыре слоя к запертой двери, разместились его новые мальчишки-пажи, иные в полудреме, иные хныча, — целая гора дареных мальчиков из Трота, Тосканы и Альбаноланда.

Он просыпался и находил ее стоящей с гребнем в руке перед его — вернее, его деда — высоким трюмо, триптихом бездонного света, поистине фантастическим зеркалом, подписанным при помощи алмаза его творцом Сударгом Бокайским. Она поворачивалась перед ним, и тайный механизм собирал в его глубинах бесконечное множество обнаженных тел, гирлянды девушек в грациозных и скорбных группах, уменьшавшихся в прозрачной дали или разделявшихся на отдельных нимф, из которых иные, шептала она, должны были походить на ее прабабок, когда они были молоды, — маленьких крестьянских *garlien*, расчесывавших волосы, стоя в мелкой воде докуда хватал глаз, а дальше — тоскующая русалочка из старой сказки, а дальше — ничего.

На третью ночь громкое топание и бряцание оружия донеслись с внутренней лестницы, и в дверь ворвались Первый советник, три Народных представителя и начальник нового корпуса телохранителей. Занятно, что именно Народных представителей приводило в наибольшую ярость то, что их королевой могла стать внучка скрипача. Так кончился целомудренный роман Карла-Ксаверия и Флёр, хорошенькой, но не отталкивающей Флёр (так некоторые кошки менее других отвратительны благодушному псу, которому приказано терпеть горькие эманации чуждой породы). Со своими белыми чемоданами и устарелыми музыкальными инструментами обе дамы побрели обратно в дворцовый флигель. Сладко прозвучала струна облегчения — и тогда раздвинулась дверь вестибюля и вся куча *putti* с веселым грохотом ввалилась в спальню.

Ему предстояло пройти через куда более тяжкие испытания тринадцатью годами позже с Дизой, герцогиней Больстонской, на которой он женился в 1949 году, как описано в примечаниях к строкам [275](#) и [433–434](#) — до чего изучающий поэму Шейда дойдет в свое время — торопиться

незачем. Одно холодное лето сменялось другим. Бедняжка Флёр все еще существовала где-то неподалеку, хоть и незаметно. Диза обласкала ее после того, как старая графиня погибла в переполненном фойе во время выставки стеклянных животных в 1950 году, когда часть выставки была почти полностью уничтожена пожаром, причем Градус помогал пожарной команде расчистить место на площади для самосуда над теми поджигателями, которые не принадлежали к профсоюзу, или по крайней мере над лицами (двумя ошеломленными датскими туристами), принятыми по ошибке за таковых. Возможно, что наша молодая королева испытывала какую-то нежную симпатию к своей бледной фрейлине, которую король время от времени замечал иллюстрирующей концертную программу в косом свете готического окна или же слышал наигрывающей с жестяным звуком мелодии в Будуаре Б. Великолепная спальня его холостяцких дней вновь упоминается в примечании к строке [130](#) как место его «роскошного заточения» в начале скучной и ненужной земблянской революции. >>>

[Строка 85: Видавшая Папу](#)

Пий X, Джузеппе Мельхиор Сарто, 1835–1914, на Папском престоле с 1903–1914. >>>

[Строки 86–90: Тетушка Мод](#)

Мод Шейд, 1869–1950, сестра Сэмюеля Шейда. В год ее смерти Хэйзел (р. 1934) была не таким уж «младенцем», как можно бы заключить из строки [90](#). Ее картины я нашел неприятными, но интересными. Тетушка Мод была мало похожа на старую деву, а экстравагантный и сардонический склад ее ума порой, наверное, шокировал чопорных нью-уайских дам. >>>

[Строки 90–93: Ее комнату... и т. д.](#)

В черновике вместо окончательного текста:

.....ее комнату
мы сохранили в неприкосновенности. Мелочи, ей
принадлежавшие,
воссоздают для нас ее стиль: саркофаг из листа —
(мертвый и ссохшийся кокон ночницы *Actias luna*)

Упомянутое насекомое определяется в моем словаре как «крупная хвостатая бледно-зеленая ночница, гусеница которой питается листьями

карий». Я подозреваю, что Шейд изменил это место, потому что название бабочки сталкивалось с «Луной» в следующей строке. >>>

Строка 91: Мелочи

Среди них имелся альбом, в который в течение ряда лет (1937–1949) тетушка Мод наклеивала вырезки, произвольно смешные или гротескные. Джон Шейд однажды позволил мне списать на память первый и последний из экспонатов этой серии. Я подумал, что они чрезвычайно забавно перекликаются друг с другом. Оба происходили из одного и того же семейного журнала «Лайф», столь справедливо прославленного своим целомудрием в отношении тайн мужского пола. Поэтому можно легко вообразить, сколь изумлены и разогреты были эти семьи. Первая вырезка — из номера от 10 мая 1937 года, с. 67 — служит рекламой брючной застёжки «Коготь» (кстати сказать, довольно хваткое и болезненное название). На ней изображен молодой хахаль, источающий мужественность среди нескольких охваченных восторгом подруг. Описание гласит: «Вы изумитесь, узнав, сколь радикально мог быть улучшен гульфик ваших брюк». Вторая взята из номера от 28 марта 1949 года, с. 126, и рекламирует кальсоны «Фиговый листок» фирмы Хэйнз. На ней изображена современная Ева, благоговейно подсматривающая из-за древа познания в кадке за глядящим с вожделием молодым Адамом в довольно обыкновенном, но чистом исподнем белье, причем перед его рекламируемых кальсон явственно и плотно оттенен, а надпись гласит: «Ничто не может превзойти фигового листка».

Я думаю, что существует специальная подрывная группа псевдокупидонов, толстых и бесшерстых дьяволят, которым Сатана поручает учинять отвратительные проказы в священных местах. >>>

Строка 92: Пресс-папье

Образ этих безобразных старомодных предметов странным образом преследовал нашего поэта. Я вырезал из газеты недавно перепечатанное его старое стихотворение, в котором сувенирная лавка также сохраняет излюбленный туристом пейзаж:

ГОРНЫЙ ВИД

Между горой и глазом
дух дали простирает

пелену голубой любовной кисеи,
истинную ткань неба.
Бриз долетает до сосен, и я
присоединяюсь ко всеобщей овации,
но все мы знаем, что это не может длиться:
гора слишком слаба, чтобы ждать,
даже если она воспроизведена и застеклена
во мне, как в пресс-папье.

[>>>](#)

[Строка 98: Гомером Чэпмена](#)

Упоминание заглавия знаменитого сонета Китса (часто цитируемого в Америке), которое, по рассеянности наборщика, забавным образом перемещено из какой-то другой статьи в отчет о спортивном состязании. Для других красочных опечаток см. примечание к строке [803](#). [>>>](#)

[Строка 101: Свободному не нужен Бог](#)

Если подумаешь о бесчисленных мыслителях и поэтах в истории человеческого творчества, свобода мысли которых была скорее укреплена Верой, чем искажена ею, невольно усомнишься в мудрости этого нетрудного афоризма (см. также примечание к строке [549](#)). [>>>](#)

[Строка 109: Ложная радуга](#)

Радужное облачко, по-землянски *muderperlwelk*. Термин «ложная радуга», я полагаю, изобретение самого Шейда. Над ним в Чистовом экземпляре (карточка 9, 4 июля) он надписал карандашом «павлинья муха». Павлинья муха — это тело особого искусственного насекомого-приманки, именуемого также «мормышкой». Так объяснил мне хозяин нашего автопристанища, завятый рыболов (см. также «странные перламутровые мерцания» в строках [633–634](#)). [>>>](#)

[Строка 119: Доктора Саттона](#)

Это комбинация букв, взятых из двух имен, одно из которых начинается на «Сат», а другое кончается на «тон». На нашем холме жили два почтенных медика, давно оставивших практику. Оба были очень давними друзьями Шейдов. У одного была дочь, президент клуба, к которому принадлежала Сибилла, — и это именно тот доктор Саттон,

которого я представляю себе в моих примечаниях к строкам [181](#) и [1000](#). Он упомянут также в строке [986](#). >>>

[Строки 120–121: Пять минут равнялось 40 унциям... и т. д.](#)

На левом поле, параллельно ему: «в Средние века час равнялся 480 унциям мелкого песка или 22 560 атомам».

Я не имею возможности проверить ни это утверждение, ни вычисление поэта относительно пяти минут, т. е. трехсот секунд, так как не вижу способа разделить 480 на 300 или наоборот, — но, может быть, я просто устал. В день (4 июля), когда Шейд написал это, бандит Градус готовился покинуть Земблю для путаного, но неуклонного продвижения через два полушария (см. примечание к строке [181](#)). >>>

[Строка 130: Я никогда не бил мячом об землю на бегу и никогда не заносил биты.](#)

Откровенно говоря, я тоже никогда не отличался в футболе или в крикете. Я недурной наездник, крепкий, хоть и не ортодоксальный лыжник, хороший конькобежец, увертливый борец и страстный альпинист.

За строкой 130 в черновике следуют четыре стиха, которые Шейд отверг ради продолжения чистового экземпляра (строки 131 и т. д.). Вот это отвергнутое начало:

Как дети в старом замке, разбирая
В чулане маски и зверей, играя,
Находят вдруг за дверью раздвижной
[Четыре слова тщательно вычеркнуто] ...ход потайной

Это сравнение остается висеть в воздухе. Можно предположить, что наш поэт собирался связать его с рассказом о том, как он наткнулся на какую-то таинственную правду во время обморочных припадков своего отрочества. Не могу сказать, как мне жаль, что он отбросил эти строки. Мне это жаль не только из-за присущей им значительной прелести, но также и потому, что заключенный в них образ был навеян Шейду чем-то, что дал ему я. Я уже упоминал в этих примечаниях о приключениях Карла-Ксаверия, последнего короля Зембли, и о живом интересе, проявленном моим другом к тем многочисленным историям об этом короле, которые я ему рассказывал. Карточка, на которой сохранился вариант, помечена 4-м июля и является прямым отголоском наших закатных блужданий по

душистым полям Нью-Уая и Дальвича. «Расскажите мне еще», — говорил он, выбивая трубку о буковый ствол, и меж тем как медлило цветное облако и далеко, в освещенном доме на холме, г-жа Шейд тихо сидела, наслаждаясь видеодрамой, я с радостью уступал просьбе моего друга.

Простыми словами я описал то любопытное положение, в котором король оказался в первые месяцы восстания. У него было забавное чувство, что он единственная черная фигура в том, что составитель шахматных задач мог бы назвать «выжидательной-задачей-с-королем-в-углу», типа *solus rex*. Роялисты или, по крайней мере, умдеты (умеренные демократы), все еще могли бы помешать превращению государства в банальную современную тиранию, будь они в состоянии управиться с оскверненным золотом и армиями роботов, которых вливали в земблянскую революцию со своих выгодных позиций — всего в нескольких морских милях — одно могущественное полицейское государство. Несмотря на безнадежность положения, король отказывался отречься от престола. Его, высокомерного и угрюмого узника, заточили в его розово-каменном дворце, с угловой башенки которого можно было с помощью полевого бинокля различить гибких юношей, ныряющих в плавательный бассейн сказочного спортивного клуба, и английского посланника в старомодных фланелевых штанах, играющего в теннис с тренером-баском на зеленом корте, столь же далеко, как рай. Как безмятежны были горы, как нежно выписаны по западному своду неба!

Где-то в городском тумане каждый день происходили отвратительные вспышки насилия, аресты и казни, но огромный город катился столь же плавно, как обычно, кафе были полны, в Королевском театре шли великолепные пьесы, и дворец, в сущности, содержал самый крепкий раствор уныния. С каменными лицами и квадратными плечами, *komizars* поддерживали строгую дисциплину в охране снаружи и внутри дворца. Пуританское благоразумие опечатаало винные погреба и удалило женскую прислугу из южного крыла. Фрейлины, разумеется, отбыли задолго до этого, когда король сослал свою королеву в ее виллу на Французской Ривьере. Слава Богу, она избежала эти страшные дни в загаженном дворце!

Дверь каждой комнаты охранялась. В банкетном зале было трое охранников, и целых четверо слонялось в библиотеке, темные углы которой, казалось, таили в себе все тени измены. Спальни немногих оставшихся дворцовых служителей имели каждая своего вооруженного паразита, пившего со старым лакеем запрещенный ром или позволявшего себе вольности с юным пажом. А в огромной Геральдической Палате всегда можно было застать разгульных шутников, пытавшихся втиснуться в

пустые стальные рыцарские доспехи, там стоявшие. И как пахло кожей и козлом в просторных покоях, некогда благоухавших гвоздиками и сиренью!

Этот огромный отряд состоял из двух основных групп: невежественных, свирепых на вид, но в действительности совершенно безобидных рекрутов из Тулэ и неразговорчивых, очень учтивых экстремистов со знаменитого Стеклянного завода, того, где революция вспыхнула в первую очередь. Теперь уже можно открыть (поскольку он находится в безопасности), что в этот контингент входил по крайней мере один героический роялист, столь виртуозно переряженный, что его ничего не подозревавшие собратья-стражники по сравнению с ним выглядели посредственными имитаторами. В действительности Одон был одним из известнейших в Зембле актеров и в свободные от службы вечера пожинал аплодисменты в Королевском театре. Через него король поддерживал связь с многочисленными сторонниками, молодыми аристократами, художниками, университетскими атлетами, игроками, паладинами Черной Розы, членами фехтовальных клубов и другими любителями моды и авантюры. Молва гремела. Говорили, что узник скоро будет судим специальным судом, но говорили также, что его пристрелят во время мнимой перевозки в другое место заключения. Хотя побег обсуждался ежедневно, планы заговорщиков имели больше эстетической ценности, чем практической. Была приготовлена мощная моторная лодка в прибрежной пещере близ Блавика (Голубая Бухта) в Западной Зембле, за высокой горной цепью, отделяющей город от моря; отражение дрожащей прозрачной воды на скалистой стене и на лодке дразнило воображение, но никто из заговорщиков не мог придумать, как королю бежать из замка и благополучно пройти через его фортификации.

В один августовский день в начале третьего месяца его роскошного заточения в Юго-Западной башне его обвинили в применении ручного зеркала, какими пользуются франты, и услужливых солнечных лучей, чтобы подавать сигналы из своего высоко расположенного окна. Широта открывающегося оттуда вида была объявлена не только подстрекающей к измене, но и сообщающей наблюдателю пустое чувство превосходства над своими ниже расквартированными тюремщиками. Поэтому однажды вечером койка и ночной горшок короля были перенесены в унылую кладовую на той же стороне дворца, но в нижнем его этаже. Много лет назад она служила уборной его деду Тургусу Третьему. После смерти Тургуса (в 1900 г.) его нарядная спальня была превращена в род часовни, а смежное с ней помещение, после того, что оно было лишено высокого многостворчатого зеркала и зеленой шелковой софы, вскоре выродилось в

то, чем оно оставалось в течение полувека, — не комната, а старая дыра с запертым сундуком в одном углу и допотопной швейной машиной в другом. В нее можно было попасть из вымощенной мрамором галереи, шедшей вдоль ее северной стороны и круто сворачивавшей к западу от нее, образуя вестибюль, в юго-западном углу дворца. Единственное окно выходило во внутренний двор на южной стороне. Окно это некогда было великолепной сказочной перспективой из цветного стекла с жар-птицей и ослепленным охотником, но недавно чей-то футбол разбил вдребезги баснословную лесную сцену, и теперь его новое простое стекло было забрано снаружи решеткой. На западной стене, над выбеленной дверью чулана висела большая фотография в рамке из черного бархата. Краткое и слабое, но тысячу раз повторенное действие того же самого солнца, которое было обвинено в посылке донесений из башни, постепенно покрыло патиной снимок, на котором были видны романтический профиль и широкие обнаженные плечи забытой актрисы Ирис Ахт, которая, как говорили, в течение ряда лет, до самой своей внезапной смерти в 1888 г., была любовницей Тургуса. Легкомысленного вида дверь в противоположной, восточной стене комнаты, бирюзовой окраской подобная единственной другой двери (ведущей в галерею), но прочно запертая, когда-то вела в опочивальню старого повесы; с тех пор она лишилась своей хрустальной ручки и по обеим сторонам от нее на восточной стене были две гравюры в изгнании, принадлежавшие к периоду упадка комнаты. Они были из числа тех, на которые никто всерьез не смотрит, — картины, существующие только как общее понятие картин для скромных декорационных нужд какого-нибудь коридора или приемной: одна представляла из себя потрепанную и мрачную *fête galante* в манере Тенье, другая некогда висела в детской, сонные обитатели которой всегда думали, что на ней на переднем плане изображены пенистые волны — вместо неясных силуэтов меланхолических овец, которые можно было теперь разглядеть.

Король вздохнул и начал раздеваться. Его походная кровать и ночной столик стояли лицом к окну, в северо-восточном углу. На восточной стороне была бирюзовая дверь, на севере — дверь галереи, на западе — дверь чулана, на юге — окно. Его черный блейзер и белые штаны унес бывший камердинер его камердинера. В пижаме, король присел на край кровати. Слуга вернулся с парой сафьяновых ночных туфель, натянул их на безучастные ноги своего господина и ушел, унося снятые лакированные туфли. Блуждающий взгляд короля остановился на окне, которое было наполовину открыто. Можно было разглядеть часть тускло освещенного

двора, где под огороженным тополем два солдата играли на каменной скамье в ландскнехт. Летняя ночь была беззвездная и беззвучная, с далекими спазмами зарниц. Вокруг стоявшего на скамье фонаря слепо билась похожая на летучую мышь ночница, пока понтер не сбил ее фуражкой. Король зевнул, и освещенные карточные игроки задрожали и растворились в призме его слез. Дверь галереи была слегка приотворена, и можно было слышать шаги приближавшегося и удалявшегося часового. Ирис Ахт над чуланом распрямляла плечи и смотрела в сторону. Трещит сверчок. У лампы на ночном столике как раз хватало силы, чтобы отбросить яркий блик на позолоченный ключ в чуланной двери. И внезапно от этой искры разгорелся в уме узника великолепный пожар.

Мы теперь вернемся из середины августа 1958 года к послеполуденному часу в мае тремя десятилетиями раньше, когда он был смуглым, крепким тринадцатилетним мальчиком с серебряным кольцом на указательном пальце загорелой руки. Королева Бленда, его мать, незадолго до того уехала в Вену и Рим. У него было несколько дорогих его сердцу товарищей, но никто не мог сравниться с Олегом, герцогом Ральским. В те дни подростки из знатных семейств одевались по праздникам — которых у нас бывало так много в течение нашей долгой северной весны — в вязаные безрукавки, короткие белые носки, черные туфли с пряжками и очень тесные, очень короткие шорты, называемые *hotinguens*. Я рад был бы снабдить читателя вырезными фигурками и частями одежды, какие бывают вычерчены для детей, вооруженных ножницами. Это скрасило бы немного здешние темные вечера, разрушающие мой мозг. Оба мальчика были красивыми длинноногими образцами варяжского отрочества. В двенадцать лет Олег был лучшим центр-форвардом Герцогской школы. Когда он, обнаженный и блестящий, стоял в банном тумане, его ярко выраженные признаки мужественности резко противоречили девичьей грации. Он был настоящим фавненком. В тот день обильный ливень отлакировал весеннюю листву дворцового сада, и ах, как трепалась и металась персидская сирень в буйном цвету за оконными стеклами в зеленых потеках и аметистовых пятнах! Предстояло играть в комнатах. Олег опаздывал. Придет ли он вообще?

Юному принцу пришло в голову откопать комплект драгоценных игрушек (подарок иностранного властителя, недавно ставшего жертвой покушения), которые так забавляли Олега и его самого в предыдущую Пасху, а затем были отложены в сторону, как бывает с теми особенными художественными игрушками, которые позволяют пузырю доставленного ими удовольствия разом выдать всю свою сладость перед тем, как уйти на

покой в музейное забвение. Ему особенно хотелось сейчас отыскать сложный игрушечный цирк, заключенный в коробку размером с крокетный ящик. Он жаждал его страстно — его глаза, его мозг и то в его мозгу, что соответствовало подушечке большого пальца, живо помнили коричневых мальчиков-акробатов с ягодицами в блестках, элегантного и меланхолического клоуна в брыжах и, главное, трех слонов, каждый размером со щенка, из полированного дерева, с такими подвижными суставами, что этих гладких маленьких великанов можно было поставить вертикально на одной передней ноге или поднять на дыбы, вполне устойчиво, на белом бочонке с красным ободком. Менее двух недель прошло со времени последнего посещения Олега, когда мальчикам разрешили впервые спать в одной постели, и зуд от их тогдашнего дурного поведения и жаркое предчувствие второй такой же ночи смешались теперь в нашем юном принце со смущением, искавшим исхода в более ранних, более невинных играх.

Его наставник-англичанин, который после пикника в Мандевильском лесу лежал с вывихнутой щиколоткой, не знал, где мог быть этот цирк; он посоветовал поискать его в кладовой в конце западной галереи. Принц отправился туда. Этот пыльный черный сундук? Он выглядел угрюмо-отрицательно. Дождь был здесь слышнее из-за близости болтливой водосточной трубы. А что если попробовать чулан? Его золоченый ключик неохотно повернулся. Все три полки и пространство под ними были забиты самыми разнообразными предметами: палитра в осадках многих закатов, чашка, полная фишек, слоновой кости палочка для почесывания спины, издание «Тимона Афинского» форматом в $\frac{1}{32}$ листа, переведенного на земблянский его дядей Конмалем, братом королевы, игрушечное ведро (*situla*) для морского песка, голубой бриллиант в 65 каратов, случайно прибавленный в детстве из ларчика, в котором его покойный отец хранил драгоценности, к камушкам и ракушкам в этом ведре, мелок и квадратная доска со сложно переплетающимся рисунком от какой-то давно забытой игры. Он собирался продолжать поиски в чулане, но когда попробовал отвести полу из черного бархата, один угол которой был непонятным образом прищемлен позади полки, что-то подалось, полка двинулась, оказалась передвижной и открыла прямо под своим дальним краем, в задней стенке шкафа, замочную скважину, к которой, как оказалось, подходил тот же ключ.

В нетерпении он очистил остальные две полки от всего, что на них лежало (главным образом старая одежда и башмаки), снял их, как прежде

снял среднюю, и отпер раздвижную дверь в задней стенке чулана. Слоны были забыты, он стоял на пороге тайного хода. Его глубокая тьма была непроницаема, но что-то в пещерной акустике предвещало гулким очищением горла небывалые вещи, и он поспешил к себе взять два фонарика и педометр. Когда он возвращался, пришел Олег. Он держал тюльпан. Его мягкие светлые локоны были подстрижены со времени его последнего посещения дворца, и юный принц подумал: да, я знал, что он будет другим. Но когда Олег нахмурил свои золотистые брови и наклонился ближе, чтобы услышать об открытии, юный принц понял по пушистому теплу его покрасневшего уха и по оживленному кивку в ответ на предложение исследования, что в его милом товарище по ложу не произошло никаких перемен.

Как только мосье Бошан сел у постели мистера Кэмпбеля играть в шахматы и предложил на выбор свои поднятые кулаки, юный принц повел Олега к волшебному чулану. Настороженные, бесшумные, обитые зеленым ковром ступени *escalier dérobé* вели к вымощенному камнем подземному проходу. Строго говоря, «подземными» были лишь короткие отрезки пути, когда после подкопа под юго-западным вестибюлем, смежным с кладовой, он продолжался под серией террас, под березовой аллеей королевского парка, а потом под тремя поперечными улицами, Академическим бульваром, Кориолановым переулком и Тимоновой аллеей, отделявшими его от конечного назначения. Кроме этого, в своем зигзагообразном и загадочном маршруте он приспособлялся к различным строениям, через которые он следовал, там пользуясь крепостным валом, в который он аккуратно влезал, как карандаш в гнездо карманного дневничка, тут пролегая через подвалы огромного здания, со слишком многими темными проходами, чтобы можно было заметить это тайное вторжение. Возможно, что за истекшие годы между этим заброшенным проходом и внешним миром образовались энigmatические связи, вследствие ли случайных сотрясений от работ в соседних слоях каменной кладки или слепых тычков самого времени, ибо там и сям можно было вывести наличность таких глубоких и тесных дыр и проникновений, что просто с ума сойти (из лужи пресной, вонючей, стоячей воды, говорившей о близости рва, или из темного запаха земли и дерна, означавшего близость переднего ската бруствера над головой), а в одном месте, где туннель проползал через подвал большой герцогской виллы с парнишками, знаменитыми своей коллекцией пустынной флоры, легкая россыпь песка на мгновение изменила звук шагов. Олег шел впереди: его изящно оформленные ягодицы, тесно обтянутые индиговой бумажной тканью, бодро двигались, и

казалось, не факел, а его собственное оживленное сияние, озаряет перескакивающим светом низкий потолок и тесные стены. Позади него свет электрического фонарика юного принца играл на земле и одевал мучнистым налетом изнанку голых ляжек Олега. Воздух был затхлый и холодный. Все дальше и дальше шел загадочный подкоп. Понемногу в нем обозначился легкий восходящий наклон. К тому времени, что наконец они дошли до его предела, педометр оттикал 1888 ярдов. Волшебный ключик от чулана кладовой с приятной легкостью скользнул в замочную скважину зеленой двери, перед которой они оказались, и завершил бы действие, предсказанное его гладким проникновением, если бы взрыв странных звуков из-за двери не заставил наших исследователей остановиться. Два ужасных голоса — один мужской, другой женский, то доходившие до страстных верхов, то падавшие до хриплого шепота, обменивались бранью на гутнийском наречии, которое в ходу у рыбаков Западной Зембли. Гнусная угроза заставила женщину вскрикнуть от страха. Последовало внезапное молчание, вскоре прерванное мужчиной, который пробормотал какую-то краткую фразу банального одобрения («прекрасно, моя милая» или «лучше нельзя»), что было еще более жутко, чем все сказанное прежде.

Не сговариваясь, юный принц и его друг круто повернули в абсурдной панике и под бешеный стук педометра помчались назад тем же путем. «Уф!» — сказал Олег, как только последняя полка была поставлена на место. «У тебя вся спина в меле», — сказал юный принц, когда они повернули наверх. Они застали Бошана и Кэмпбеля кончающими игру вничью. Пора было обедать. Мальчикам велели вымыть руки. Недавнее волнение, вызванное приключением, уже сменялось возбуждением иного рода. Они заперлись. Никем не замечаемая вода лилась из крана. Оба были в полной мужской силе и стонали как голуби.

Это подробное воспоминание, описание структуры и окраски которого заняло некоторое время в настоящем примечании, пронеслось в одно мгновение в памяти короля. Иные обитатели прошлого — и это было одним из них — могут тридцать лет продремать в памяти, не просыпаясь, пока их экологическая ниша подвергается бедственным изменениям. Вскоре после обнаружения тайного хода он чуть не умер от воспаления легких. В бреду он одно мгновение пытался следовать за светящимся диском, исследующим бесконечный туннель, а в следующее порывался обхватить тающие ляжки своего светловолосого катамита. Для поправки здоровья его отослали на два сезона в Южную Европу. Смерть Олега в пятнадцать лет в тобоганной катастрофе помогла стереть из памяти реальность их приключения. Понадобилась революция, чтобы тайный ход

снова стал реальностью.

Убедившись в том, что скрипучие шаги часового отделились на некоторое расстояние, король открыл чулан. Сейчас он был пуст, если не считать крошечного томика *Timon Afinsken*, все еще лежавшего в углу, старой спортивной одежды и гимнастических туфель, втиснутых в нижнее отделение. Шаги возвращались. Он не посмел продолжать свой осмотр и запер чулан.

Было очевидно, что ему потребуется несколько мгновений совершенной безопасности для выполнения, с минимальным шумом, серии мелких движений: войти в чулан, запереть дверь изнутри, снять полки, отпереть потайную дверь, вернуть полки на место, скользнуть в зияющую тьму, закрыть потайную дверь и запереть ее. Скажем, секунд 90.

Он выглянул в галерею, и часовой, довольно красивый, но невероятно глупый экстремист, немедленно направился к нему. «У меня есть сильное желание, — сказал король, — Хэл, мне хочется поиграть на рояле, прежде чем лечь». Хэл (если в самом деле его так звали) повел его в музыкальную комнату, где, как было известно королю, Одон стоял на карауле возле накрытой чехлом арфы. Это был рыжебровый дородный ирландец с розовым черепом, теперь прикрытым ухарской кепкой русского фабричного. Король сел за Бехштейн и, как только они остались одни, вкратце объяснил положение, вызвякивая ноты одной рукой. «Никогда не слышал ни о каком проходе», — пробормотал Одон с досадой шахматного игрока, которому показали, как можно было бы спасти проигранную им партию. Абсолютно ли уверен Его Величество? Его Величество был уверен. Полагает ли он, что проход ведет за пределы дворца? Определенно за пределы дворца.

Как бы то ни было, через несколько минут Одон должен был уходить, ему предстояло играть этим вечером в «Водяном», прекрасной старой мелодраме, которая, по его словам, ни разу не ставилась по крайней мере три десятка лет. «С меня совершенно достаточно моей собственной мелодрамы», — заметил король. «Увы», — сказал Одон. Наморщив лоб, он медленно облачился в свое кожаное пальто. Сегодня вечером ничего нельзя было сделать. Если он попросит коменданта, чтобы его оставили дежурным, то это только возбудит подозрение, а малейшее подозрение может оказаться роковым. Завтра он найдет случай осмотреть этот новый путь побега, если это в самом деле выход, а не тупик. Обещает ли Чарли (Его Величество) ничего до тех пор не предпринимать? «Но они подходят все ближе и ближе», — сказал король о звуках постукивания и распарывания, доносившихся из Картинной галереи. «Не очень, — сказал

Одон. — На вершок в час, может быть, на два. Мне пора», — добавил он, указывая подергиванием века на хмурого и тучного стражника, шедшего ему на смену.

В несокрушимой, хоть совершенно ошибочной, уверенности, что драгоценности короны скрыты где-то во дворце, новая администрация наняла чету иностранных экспертов (см. примечание к строке [681](#)), чтобы найти их. Их благотворные труды продолжались уже месяц. Двое русских, разнеся буквально в щепки Палату Совета и несколько других парадных помещений, перенесли свою деятельность в ту часть галереи, где огромные полотна Эйштейна развлекали несколько поколений земблянских принцев и принцесс. Не умея уловить сходство и потому мудро довольствуясь традиционным стилем комплиментарного портрета, Эйштейн показал себя дивным мастером *trompe l'oeil* в изображении различных предметов, окружающих его досточтимые мертвые модели, заставляя их казаться еще мертвее из-за контраста с опавшим лепестком или полированной поверхностью, которые он воспроизводил с такой любовью и мастерством. Но в иных из этих портретов Эйштейн прибегнул также к странному обману: среди украшений из дерева или шерсти, золота или бархата он поместил кое-что в самом деле сработанное из материала, переданного в других местах красками. Этот прием, использованный, очевидно, для усиления осязательного и тонального эффекта, заключал в себе, однако, нечто бесчестное и указывал не только на основной изъян таланта Эйштейна, но и на тот элементарный факт, что «реальность» не является ни темой, ни целью истинного искусства, которое творит свою собственную реальность, ничего общего не имеющую со средней «реальностью», доступной коллективному глазу. Но вернемся к нашим спецам, стукотня которых приближается вдоль галереи к изгибу, где стоят король и Одон, готовые расстаться. В этом месте висел портрет, изображавший бывшего хранителя казны, дряхлого графа Ядрова, представленного легко опирающимся пальцами на чеканный украшенный гербом ларец, повернутая к зрителю сторона которого была продолговатой вставкой из настоящей бронзы, меж тем как на затененной крышке ларца, написанной в перспективе, художник изобразил тарелку с превосходно выполненным двухдольным, мозговидным, разрезанным пополам ядром грецкого ореха.

«Их ожидает сюрприз», — прошептал Одон на своем родном языке, пока жирный стражник в углу проделывал серию старательных формальностей, довольно сиротливо грохоча прикладом об пол.

Двум советским профессионалам можно простить предположение, что они найдут настоящий тайник за настоящим металлом. В данный момент

они старались решить, выломать ли вставку или снять картину; мы же можем забежать вперед и заверить читателя, что тайник — продолговатая выемка в стене — действительно там имелся; он, однако, не содержал ничего, кроме обломков ореховой скорлупы.

Где-то поднялся железный занавес, открыв другой, расписанный нимфами и кувшинками. «Я принесу вам вашу флейту завтра!» — многозначительно крикнул Одон на диалекте, и улыбнулся, и помахал рукой, уже затуманенный, уже отступающий в глубины своего театрального мира.

Жирный стражник отвел короля назад в его комнату и передал под надзор красивого Хэла. Было половина десятого, король лег в постель. Угрюмый плут-лакей принес ему, как обычно, прощальный стакан молока с коньяком и убрал ночные туфли и халат. Он уже почти вышел из комнаты, когда король приказал ему погасить свет, вслед за чем в комнату вернулась рука, и пальцы в перчатке нашли и повернули выключатель. Дальняя молния все еще время от времени вздрагивала в окне. Король впотьмах кончил питье и поставил пустой стакан на ночной столик, где он стукнулся с приглушенным звоном о стальной электрический фонарик, приготовленный предусмотрительными властями на тот случай, если бы потухло электричество, что теперь нередко случалось.

Заснуть он не мог. Повернув голову, он наблюдал за чертой света под дверью. Вдруг она тихонько отворилась, и в комнату заглянул его красивый молодой тюремщик. Причудливая мыслишка протанцевала в уме короля, но юнец хотел всего лишь предупредить узника, что собирается присоединиться к своим товарищам на соседнем дворе и что до его возвращения дверь будет заперта. Если же бывшему королю что-либо понадобится, он может позвать его через окно. «Сколько ты будешь отсутствовать?» — спросил король. «*Yeg ved ik* (я не знаю)», — ответил стражник. «Спокойной ночи, нехороший мальчик», — сказал король.

Он подождал, пока силуэт стражника не вошел в свет двора, где прочие тульцы приняли его в свою игру. Затем в безопасной темноте король нащупал на полу чулана кой-какую одежду и натянул на себя поверх пижамы то, что на ощупь показалось ему лыжными штанами, и еще что-то, что пахло как старый свитер. Дальнейшее нащупывание принесло пару теннисных туфель и шерстяную шапку с наушниками. Затем он продолжал действия, мысленно прорепетированные раньше. Пока он снимал вторую полку, какой-то предмет упал с миниатюрным глухим стуком. Он догадался, что это было, и взял его с собой как талисман.

Он не осмелился нажать кнопку фонарика, пока не углубился как

следует; он не мог также позволить себе шумно оступиться и потому преодолел восемнадцать незримых ступеней в более или менее сидячем положении, как робкий новичок, сползающий на задку по поросшим лишайником скалам горы Крон. Тусклый свет, который он наконец выпустил на волю, был теперь его драгоценнейшим спутником, Олеговым духом, призраком свободы. Он испытывал смесь тревоги и ликования, как бы радость любви, подобную которой он в последний раз испытал в день своей коронации, когда по дороге к трону несколько тактов невероятно богатой, глубокой, полнозвучной музыки (авторство и физический источник которой ему никогда не удалось установить) поразили его слух, и он вдохнул головную помаду хорошенького пажа, который наклонился, чтобы смахнуть розовый лепесток со скамеечки под его ногами; и при свете своего фонарика король увидел, что он безобразно наряжен во все красное.

Тайный ход сделался, казалось, еще более убогим. Вторжение окружающей среды было еще заметнее, чем в тот день, когда два мальчика, дрожавшие в тонких фуфайках и шортах, его исследовали. Лужа стоячей воды с опаловым отливом стала длиннее, по ее краю шла больная летучая мышь, как калека со сломанным зонтиком. Запомнившаяся россыпь цветного песка хранила тридцатилетний отпечаток узорной подошвы Олегова башмака, столь же бессмертный, как след ручной газели египетского ребенка, оставленный тридцать столетий назад на голубых нильских кирпичках, сохнувших на солнце. А в том месте, где проход шел сквозь фундамент музея, каким-то образом спустилась вниз на изгнание и уничтожение безголовая статуя Меркурия, проводника душ в преисподнюю, и треснувший кратер с двумя черными фигурами, играющими в кости под черной пальмой.

Последнее колено туннеля, завершившееся зеленой дверью, содержало нагромождение разрозненных досок, перебираясь через которые беглец не раз споткнулся; он отпер дверь и, открыв ее, был остановлен тяжелой черной портьерой. Пока он нащупывал проход среди ее вертикальных складок, слабый луч его фонарика закатил свой безнадежный глаз и потух. Он выпустил его из рук — фонарик упал в приглушенную пустоту. Король запустил обе руки в глубокие складки пахнувшей шоколадом ткани и, несмотря на неверность и опасность момента, собственное его движение как бы физически пробудило воспоминание о смешных, сначала контролируемых, а затем переходящих в неистовые волноподобные сотрясения, колебаниях театрального занавеса, сквозь который тщетно пытается пробиться нервный актер. Это гротескное ощущение, в такой

дьявольский миг, разрешило тайну прохода до того еще, как он выпростался наконец из портьеры в тускло освещенную, тускло заваленную *lumbarkamer*, служившую некогда уборной Ирис Ахт в Королевском театре. Она все еще оставалась той же, какой стала после ее смерти: пыльной дырой, выходявшей в какое-то зальце, куда иной раз забредали актеры во время репетиций. Прислоненные к стене куски мифологической декорации наполовину скрывали большую пыльную в бархатной раме фотографию Тургуса — густые усы, пенсне, медали, — каким он был в те времена, когда этот коридор в милю длиной служил ему необычайным путем для свиданий с Ирис.

Облаченный в алое беглец переморгнул и направился в зал. Из него был вход в несколько актерских уборных. Где-то за ним нарастала буря рукоплесканий, чтобы потом постепенно замереть. Другие отдаленные звуки извещали о начале антракта. Мимо короля прошло несколько костюмированных актеров, и в одном из них он узнал Одона. На нем была бархатная куртка с медными пуговицами, бриджи и полосатые чулки, воскресный наряд гутнийских рыбаков, а в кулаке был еще зажат картонный нож, которым он только что прикончил свою возлюбленную. «Боже», — сказал он при виде короля.

Выхватив два плаща из кучи фантастических одежд, Одон подтолкнул короля к лестнице, ведущей на улицу. Одновременно в группе людей, куривших на лестничной площадке, произошло смятение. Старый интриган, который подслуживанием к разным экстремистским чиновникам добился режиссерской должности, внезапно указал трясущимся пальцем на короля, но, страдая сильным заиканием, не мог произнести слов возмущенного опознания, которое заставляло щелкать его искусственные челюсти. Король попытался натянуть на лицо передний клапан своей кепки — и чуть не потерял равновесия в конце узкой лестницы. Снаружи шел дождь. В луже отразился его алый силуэт. Несколько автомобилей стояло в поперечном переулке. Здесь Одон обычно оставлял свою гоночную машину. На одну ужасную секунду ему показалось, что она исчезла, но затем он с чудным облегчением вспомнил, что оставил ее в тот вечер в соседнем проулке (см. интересное примечание к строке [149](#)). >>>

[Строки 131–132: Я был тенью свиристеля, убитого мнимой далью оконного стекла.](#)

Здесь продолжается прелестная мелодия двух начальных строк поэмы. Повторение этой затяжной ноты спасено от монотонности тонкой вариацией в строке 132, где ассонанс между седьмым и девятым словом

доставляет слуху томную радость, как эхо какого-то забытого грустного напева, мотив которого значительнее, чем слова. Ныне, когда «обманная даль» в действительности сыграла свою страшную роль и поэма — это единственная уцелевшая от нее «тень», мы поневоле вычитываем из этих слов нечто большее, чем зеркальное отражение и мерцание миража. Мы чувствуем, как рок в образе Градуса поглощает миллю за милей «мнимой дали» между собой и бедным Шейдом. В его неуклонном слепом полете он тоже встретит отражение, которое сокрушит его.

Хотя Градус пользовался всеми средствами передвижения — наемными автомобилями, пригородными поездами, эскалаторами, самолетами, — все же мысленный глаз видит его, и мышцы мысли ощущают его вечно мчащимся через небо, с черным чемоданом в одной руке и кое-как сложенным зонтиком в другой, в непрерывном скольжении высоко над морем и сушей. Сила, движущая им, — это магическое действие самой поэмы Шейда, механизм и размах стиха, мощный ямбический мотор. Никогда еще неизбывный ход судьбы не имел столь чувственного оформления. (Для других образов приближения этого абстрактного бродяги см. примечание к строке [17.](#)) >>>

[Строка 137: Лемнискаты](#)

«Рациональная бициркулярная кривая четвертой степени» — гласит мой усталый старый словарь. Не могу понять, при чем тут велосипедная езда, и подозреваю, что фраза Шейда не имеет прямого смысла. Как случилось с другими поэтами до него, он как будто здесь поддался чарам обманчивого благозвучия.

Возьмем разительный пример: что может быть звучнее, великолепнее, сильнее вызывать образы хоральной и скульптурной красоты, чем слово *coramen*? В действительности, однако, оно попросту означает сыромятный ремень, которым земблянский пастух привязывает свою нехитрую провизию и жесткое одеяло на самую кроткую из своих коров, когда он гонит их на *vebodar* (горные пастбища). >>>

[Строка 143: Заводная игрушка](#)

Благодаря необычайной удаче я ее видел! Как-то вечером в мае или июне я зашел к моему другу, чтобы напомнить ему о собрании брошюр, написанных его дедом, оригиналом-священником, хранившихся, как он однажды сказал, в подвале. Я застал его в угрюмом ожидании каких-то людей (кажется, его университетских коллег с женами), приглашенных на официальный обед. Он охотно сопровождал меня в подвал, но, порывшись

среди сваленных пыльных книг и журналов, сказал, что попытается найти их как-нибудь в другой раз. Тогда-то я и заметил ее на полке между подсвечником и будильником без стрелок. Он, думая, что я могу решить, что она принадлежала его умершей дочери, поспешил объяснить, что она такая же старая, как он сам. Мальчик был негритенок из крашеной жести с отверстием для ключа в боку и лишенный всякой плотности — состоял просто из двух более или менее соединенных вместе профилей, а его тачка была теперь вся согнута и поломана. Он сказал, стряхивая пыль с рукавов, что хранит ее как своего рода *temento mori* — однажды в детстве, когда он играл этой игрушкой, с ним случился странный обморок. Нас прервал голос Сибиллы, звавшей сверху, — но ничего, теперь этот ржавый механизм заработает снова, потому что ключ у меня. >>>

[Строка 149: Одна нога на горной вершине](#)

Хребет Вера, суровая горная цепь в 200 миль длиной, не совсем доходящая до северной оконечности Земблянского полуострова (отрезанного у своего основания от материка безумия несудоходным каналом), делит его на две части: цветущую восточную область Онхавы и других городов, таких как Арос и Гриндельвод, и гораздо более узкую западную полосу с ее своеобразными рыбацкими поселками и приятными морскими курортами. Эти два берега соединены двумя асфальтированными шоссе: более старое, избегая препятствий, идет сначала вдоль восточных склонов на север, до Одеваллы, Еслова и Эмблы, и только там сворачивает на запад в крайнем северном пункте полуострова; более новая же — тщательно спроектированная, извилистая, великолепно построенная дорога — пересекает хребет в западном направлении, от северных предместий Онхавы до Брегберга, и в туристических брошюрах именуется «живописной». В нескольких местах горы пересекаются тропами, ведущими на перевалы, которые нигде не превышают 5000 футов. Иные пики поднимаются на 2000 футов выше и сохраняют снежный покров в разгар лета; с одного из них, Глиттертин-горы, самой высокой и трудной для подъема, в ясные дни можно различить далеко на востоке, за заливом Неожиданности, смутную радужность — некоторые говорят, что это Россия.

После побега из театра наши друзья намеревались проехать по старому шоссе 20 миль на север, а затем свернуть налево по проселку, который в конце концов привел бы их к главному убежищу карлистов — баронскому замку в еловом лесу на восточном склоне хребта Бера. Но бдительный заика разразился наконец спазматической речью, бешено

заработали телефоны, и беглецы едва успели покрыть десяток миль, как неясный блеск в темноте перед ними, на стыке двух дорог, выдал присутствие дорожной заставы — хорошо еще, что это одним ударом отменило оба маршрута.

Одон развернул машину кругом и при первой возможности свернул на запад, в горы. Поглотившая их узкая и ухабистая дорога миновала дровяной сарай, дошла до горного потока, пересекла его по громко загрохотавшим доскам и вскоре выродилась в загроможденную пнями просеку. Они оказались на опушке Мандевильского леса. В грозном буром небе гремел гром.

Несколько мгновений они оба постояли, глядя вверх. Ночь и деревья скрывали подъем. С этого места хороший альпинист мог добраться до Брегбергского перевала к рассвету — если, пробравшись сквозь черную стену леса, попал бы на правильную тропу. Решено было расстаться с тем, чтобы Чарли продолжал путь к далекому сокровищу в морской пещере, а Одон остался позади для отвода глаз преследователей. Он сказал, что устроит им веселую гонку с сенсационными переодеваниями и установит связь с остальной группой. Его мать была американка из Нью-Уая в Новой Англии. Говорили, что она была первой женщиной в мире, охотившейся на волков — полагаю, и на других животных — с самолета.

Рукопожатие, вспышка молнии. Когда король побрел через сырой темный папоротник, его запах, кружевная упругость и сочетание мягкой поросли и крутой почвы напомнили ему те времена, когда он бывал на пикниках поблизости — в другой части леса, но на том же склоне горы, и еще выше, мальчиком, на валунном поле, где мистер Кэмпбель однажды подвернул щиколотку и покуривал свою трубку, пока его несли вниз два здоровенных служителя. В общем, довольно скучные воспоминания. Кажется, где-то здесь был охотничий павильон — сразу за Сильфхарским водопадом, что ли? Хорошая охота на глухаря и вальдшнепа — развлечение, которое любила его покойная мать, королева Бленда, любившая также твид и верховую езду. Теперь, как и тогда, в черных деревьях шуршал дождь, и стоило остановиться, чтобы услышать биение собственного сердца и дальний рев потока. Который час, *kot or?* Он нажал кнопку своего репетира, и тот невозмутимо прошипел и отзвучал десять часов и двадцать одну минуту.

Всякий, кто пробовал взбираться по крутому склону темной ночью, сквозь чащу враждебной растительности, поймет, какое трудное дело предстояло нашему альпинисту. Более двух часов он не сдавался, спотыкаясь о пни, падая в овраги, хватаясь за невидимые кусты, отбиваясь

от хвойных полчищ. Он потерял свой плащ. Он подумывал, не лучше ли было бы свернуться калачиком в подлеске и дождаться рассвета. Внезапно засветилась впереди булавочная головка света, и вскоре он уже двигался, спотыкаясь, вверх по недавно выкошенному лугу. Залаяла собака, камень покотился из-под ноги, он понял, что находится вблизи горной *bore* (фермы). Он понял также, что свалился в глубокую илистую канаву.

Заскорузлый фермер и его толстая жена, которые, подобно персонажам из старой скучной сказки, предложили промокнутому беглецу желанный приют, приняли его за чудаковатого участника экскурсии, отбившегося от своей группы. Ему позволили обсушиться в теплой кухне, где ему дали сказочный ужин: хлеб, сыр и кружку горного меда. Его чувства (благодарность, утомление, приятное тепло, сонливость и пр.) были слишком очевидны, чтобы нуждаться в описании. В печи потрескивал огонь из корней лиственницы, и все тени его потерянного королевства собирались и играли вокруг его качалки, пока он дремал между пламенем и трепетным светом глиняного светильника, клювастого предметика, смахивавшего на римский светильник, висевшего над полкой, где жалкие бисерные безделушки и кусочки перламутра превращались в микроскопических солдат, сгрудившихся в отчаянной схватке. Он проснулся с ломотой в шее при первом полнозвучном коровьем колокольчике, на заре, нашел хозяина снаружи, в сыром углу, отведенном природой для скромной нужды, и попросил доброго *grunter*'а (горного фермера) указать ему кратчайший путь к перевалу. «Я разбужу лентяйку Гарх», — сказал фермер.

Грубо сколоченная лестница поднималась на чердак. Фермер положил свою заскорузлую руку на заскорузлые перила и гортанно крикнул наверх, в темноту: «Гарх, Гарх!» Хотя это имя дается детям обоего пола, оно, строго говоря, мужское, и король ожидал появления с чердака мальчика-горца с голыми коленками, словно смуглого ангела. Вместо этого оттуда появилась молодая растрепанная девчонка в одной мужской сорочке, доходившей ей до розовых икр, и паре огромных чёботов. Мгновением позже, как в цирковой трансформации, она появилась вновь — ее желтые волосы все еще висели, прямые и нечесанные, но грязная сорочка заменилась грязным пуловером, а ноги были заправлены в вельветовые штаны. Ей было сказано проводить незнакомца до места, откуда он легко мог бы достичь перевала. Заспанное и угрюмое выражение стерло ту минимальную привлекательность, которую ее курносое круглое лицо еще могло иметь для местных пастухов, но она не без готовности подчинилась воле отца. Его жена напевала старинную песню, возясь с горшками и

кастрюлями.

Перед уходом король попросил хозяина, которого звали Грифф, принять старую золотую монету, случайно оказавшуюся у него в кармане, — единственные деньги, которые были при нем. Грифф решительно отказался и, все еще ворча, взялся за трудное дело отпираания и снятия засовов с двух или трех тяжелых дверей. Король взглянул на старуху, заметил одобрительное подмигивание и положил приглушенный дукат на камин, рядом с фиолетовой морской раковиной, к которой был прислонен цветной снимок элегантного гвардейца и его жены с обнаженными плечами — Карла Возлюбленного, каким он был двадцать с лишним лет назад, и его молодой королевы, гневной девственницы с черными, как уголь, волосами и глазами, голубыми, как лед.

Звезды только что померкли. Он последовал за девушкой и обрадованной овчаркой вверх по заросшей тропе, блиставшей рубиновой росой в театральном освещении альпийской зари. Самый воздух казался окрашенным и глазированным. От крутого утеса, вдоль которого поднималась тропа, веяло могильным холодом, но на противоположной обрывистой стороне то тут, то там, между вершинами росших внизу елок, паутинные проблески солнца начинали свивать узоры тепла. На следующем повороте это тепло обволокло беглеца, и черная бабочка, танцуя, спустилась по покрытому галькой откосу. Тропинка еще сузилась и постепенно сошла на нет среди нагроможденных валунов. Девушка указала на склоны за ними. Он кивнул. «Теперь иди домой, — сказал он. — Я здесь отдохну и дальше пойду один».

Он опустился на траву возле поросли спутанного карликового сосняка и вдохнул яркий воздух. Собака, пыхтя, легла у его ног. Гарх впервые за все время улыбнулась. Земблянские горские девушки — это обычно простые механизмы случайной похоти, и Гарх не была исключением. Едва усевшись подле него, она наклонилась и стянула через взлохмаченную голову толстый серый свитер, открыв голую спину и груди как бланманже и обдав своего смущенного спутника едким духом нехоленого женского тела. Она собралась было продолжать раздеваться, но он остановил ее жестом и встал. Он поблагодарил ее за доброту, он потрепал невинную собаку, и, ни разу не оглянувшись, упругим шагом король стал подниматься по травянистому скату.

Он еще посмеивался над конфузом девушки, когда дошел до огромных камней, нагроможденных вокруг озера, до которого он доходил раз или два со скалистой кронбергской стороны много лет назад. Теперь перед ним мелькнул мимолетный блеск воды сквозь проём натуральной арки, шедевра

эрозии. Арка была низкая, и он наклонил голову, чтобы сойти к воде. В ее прозрачно-индиговом растворе он увидел свое алое отражение, но странным образом, — что на первый взгляд показалось ему оптической иллюзией, — отражение было не у его ног, а гораздо дальше; кроме того, оно сопровождалось искривленным зыбью отражением скалы, торчавшей высоко над его местонахождением. И наконец, самая эта магическая натяжка образа заставила его распаться, и двойник в красном свитере и красной кепке повернулся и исчез, меж тем как наблюдатель оставался неподвижным. Тогда он приблизился к самому краю воды и там был встречен своим настоящим отражением, гораздо крупнее и яснее чем то, что обмануло его. Он пошел вокруг озера. Высоко в темно-голубом небе торчала пустая скала, на которой только что стоял фальшивый король. Дрожь от *alfear* (непреодолимый страх, нагоняемый эльфами) пробежала у него между лопаток. Он прошептал привычную молитву, перекрестился и решительно направился к перевалу. На верхушке ближнего хребта *steinmann* (груда камней, наваленная в память восхождения) надел в его честь кепку из красной шерсти. Он продолжал шагать. Но его сердце было концом боли, тыкавшимся снизу в горло, и погода он снова остановился, чтобы обследовать положение и решить, карабкаться ли вверх по усыпанному обломками крутому склону впереди или же свернуть направо по травянистой полоске, украшенной горечавкой, которая вилась среди поросших лишайником скал. Он избрал второй маршрут и в должный срок достиг перевала.

Огромные свалившиеся скалы, разнообразные по форме, покрывали обочину. К югу *nippern* (куполообразные холмы, или «дымари») были разделены склоном из камня и травы на свет и тень. К северу таяли зеленые, серые, голубоватые горы — Фалькберг, со своим снежным капюшоном, Мутраберг, с лавинным веером, Паберг (Павлин-гора) и другие, разделенные узкими неясными долинами, перемежавшимися с клочками ватных облаков, которые, казалось, были всунуты между отступающими сериями хребтов, чтобы не дать их бокам тереться друг о друга. За ними, в конечной синеве, вздымалась гора Глиттертин, как зубчатый край яркой фольги; а к югу нежная дымка обволакивала еще более далекие хребты гор, которые переходили один в другой бесконечной чередой, сквозь все градации мягкого расплывания.

Перевал был достигнут, гранит и сила притяжения были преодолены, но самая опасная часть пути лежала впереди. К западу череда вересковых склонов вела вниз, к сверкающему морю. До этой минуты гора стояла между ним и заливом, теперь он должен был вступить под этот палящий

свод. Он начал спускаться.

Тремя часами позже он шел по ровной земле. Две старухи, работавшие во фруктовом саду, разогнулись с кинематографическим замедлением и уставились ему вслед. Он миновал сосновые рощи Боскобея и приближался к Блавикской набережной, когда черная полицейская машина свернула из поперечной дороги и остановилась рядом с ним. «Эта шутка зашла слишком далеко, — сказал водитель машины. — Онхавская тюрьма набита сотней таких шутов, и бывший король должен быть среди них. Наша местная тюрьма слишком мала для еще новых королей. Следующий будет пристрелен на месте. Как твое настоящее имя, Чарли?» — «Я англичанин. Я турист», — сказал король. «Ладно, во всяком случае, снимай эту красную *fufa*. И кепку. Давай их сюда». Он бросил их на заднее сиденье и отъехал.

Король продолжал идти. Синяя пижамная куртка, заправленная в лыжные штаны, могла легко сойти за модную рубашку. В его левый башмак попал камушек, но у него не было сил что-либо сделать. Он узнал приморский ресторан, где много лет назад завтракал инкогнито с двумя забавными, очень забавными матросами. На окаймленной геранью веранде пили пиво несколько вооруженных до зубов экстремистов среди обыкновенных курортных гостей, иные из которых были заняты писанием писем далеким друзьям. Рука в перчатке протянула королю сквозь герань цветную открытку, на которой он нашел надпись: «Следуйте к Р. П. *Воп voyage!*» Под видом непринужденной прогулки он дошел до конца набережной.

Был прелестный день с легким ветром и лучистой пустотой на месте западного горизонта, которая всасывала в себя нетерпеливое человеческое сердце. Король, находившийся теперь в самом критическом пункте своего путешествия, оглядывался, осматривая редких гуляющих, стараясь решить, какие из них могут оказаться переодетыми полицейскими агентами, готовыми на него наброситься, как только он перепрыгнет парашют и направится к Риппльсоновой пещере. Только один парус, окрашенный в королевский пурпур, нарушал человеческим присутствием простор моря. Какой-то русский турист, коренастый, со многими подбородками и мясистым генеральским затылком, фотографировал с парашюта Нитру и Индру (т. е. «внутренний» и «внешний»), два черных островка, которые, казалось, о чем-то сговаривались, накрывшись плащами. Его увядшая жена, в свободно накинутой разрисованной цветами *écharpe*, заметила с певучим московским выговором: «Всякий раз, что я вижу такое страшно обезображенное лицо, не могу не подумать о Нинином сыне. Война — это

ужасная вещь». — «Война? — переспросил ее супруг. — Это скорее от взрыва на Стеклянном заводе в тысяча девятьсот пятьдесят первом году, чем от войны». Они медленно прошли мимо короля в том направлении, откуда он пришел. На скамейке, на тротуаре, лицом к морю, человек с прислоненными рядом костылями читал онхавскую *Post*, на первой странице которой было изображение Одона в экстремистской форме и Одона в роли Водяного. Как ни странно, дворцовая стража до тех пор не догадывалась, что это был один и тот же человек. Теперь за его поимку обещали изрядную награду. Волны ритмично облизывали гальку. Лицо читателя газеты было зверски изуродовано при недавно упомянутом взрыве, и все искусство пластической хирургии произвело лишь отталкивающую мозаичную поверхность, где части узора и части контура как будто менялись, сливались или разделялись, как изменяющиеся щеки и подбородки в кривом зеркале.

Короткая часть пляжа между рестораном в начале променады и гранитными скалами в конце была почти пуста. Далеко налево три рыбака грузили в гребную лодку бурый от водорослей невод, а прямо под тротуаром пожилая женщина в платье в горошинку, с треуголкой из газеты на голове («Экс-короля видели...»), сидела с вязаньем на гальке, спиной к улице. Ее забинтованные ноги были вытянуты на песке, с одной стороны лежала пара ковровых шлепанцев, а с другой — клубок красной шерсти, нить которого она то и дело дергала незапамятным резким движением локтя земблянской вязальщицы, поворачивая клубок и ослабляя натянутую нить. И наконец, маленькая девочка во вздувающейся юбке неуклюже, но энергично гремела по тротуару коньками на роликах. Мог ли карлик на полицейской службе изображать ребенка с косичками?

Ожидая, пока удалится русская чета, король остановился у скамьи. Человек с мозаичным лицом сложил газету, и за мгновение до того, как он заговорил (в нейтральной промежулке между облачком дыма и звуком выстрела), король понял, что это Одон. «Это все, что можно было сделать за такое короткое время», — сказал Одон и оттянул щеку, демонстрируя, каким образом разноцветная полупрозрачная пленка пристаёт к лицу, изменяя его контуры в соответствии с натянутостью. «Вежливый человек, — добавил он, — обычно не станет рассматривать чересчур близко изуродованное лицо несчастного». — «Я высматривал *shpiks* (шпиков)», — сказал король. «Целый день, — сказал Одон, — они патрулировали набережную. Сейчас они обедают». — «Я хочу пить и есть», — сказал король. «Кое-что есть в лодке, пусть только исчезнут эти русские. На ребенка можно не обращать внимания». — «А эта женщина на

пляже?» — «Это молодой барон Мандевилль — тот самый, у которого была эта дуэль в прошлом году. Пойдемте теперь». — «Нельзя ли нам взять с собой и его тоже?» — «Не пойдет — жена, ребенок. Пошли, Чарли, пошли, Ваше Величество». — «Он был моим тронным пажом в день коронации». Болтая таким образом, они подошли к Риппльсоновой пещере. Надеюсь, это примечание доставило читателю удовольствие. >>>

[Строка 162: Невинным языком, и т. д.](#)

Это исключительно окольный способ описания застенчивого поцелуя сельской девушки, но и все описание весьма искусственно. Мое отрочество было слишком счастливым и здоровым, чтобы заключать в себе что-либо отдаленно напоминающее обморочные припадки, испытанные Шейдом. У него, вероятно, была легкая форма эпилепсии, схождение нервов с рельс в одном и том же месте, на одном и том же изгибе пути, каждый день в течение нескольких недель, пока природа не исправила повреждения. Кто может забыть добродушные лоснящиеся от пота лица медногрудых железнодорожных рабочих, опирающихся на свои лопаты и провожающих глазами окна осторожно скользящего мимо экспресса? >>>

[Строка 167: В моей безумной юности, и т. д.](#)

Поэт начал Песнь вторую (на четырнадцатой карточке) 5 июля, в свой шестидесятый день рождения (см. примечание к строке [181](#), «сегодня»). Моя оплошность, измените на шестьдесят первый. >>>

[Строка 169: О посмертной жизни](#)

См. примечание к строке [549](#). >>>

[Строка 171: Великий заговор](#)

В течение почти целого года после побега короля экстремисты оставались уверены, что ни он, ни Одон не покинули Зембли. Эту ошибку можно объяснить только той примесью глупости, которая фатальным образом присуща самой компетентной тирании. Летательные машины и все с ними связанное околдовало умы наших новых правителей, которым благосклонная история вдруг подарила для развлечения целый ящик этих стрекочущих и возносящихся игрушек. Им казалось невероятным, чтобы столь важный беглец не совершил акта побега воздушным путем. Через несколько минут после того, как король и актер прогремели вниз по черной лестнице Королевского театра, каждое крыло в небе и на земле было взято на учет — такова была распорядительность правительства. В последующие

недели ни один частный или коммерческий самолет не получил разрешения сняться, а проверка транзитных пассажиров стала такой строгой и затяжной, что международные линии решили отменить остановки в Онхаве. Было несколько жертв. Какой-то энтузиаст сбил малиновый воздушный шар, и аэронавт (известный метеоролог) утонул в заливе Изумления; пилот с лапландской базы, вылетевший со спасательной миссией, заблудился в тумане и подвергся такой травле со стороны земблянских истребителей, что снизился на горном пике. Всему этому можно найти оправдание. Иллюзия присутствия короля в земблянской глуши поддерживалась роялистами-заговорщиками, заманившими целые полки на поиски в горах и лесах нашего сурового полуострова. Правительство затратило несуразное количество энергии на торжественную проверку личности сотен самозванцев, переполнявших тюрьмы страны. Большинство из них отделалось шутками и вышло на свободу. Небольшое число, увы, погибло. А потом, весной следующего года, из-за границы пришла ошеломляющая новость. Земблянский актер Одон ставит фильм в Париже!

Теперь был сделан правильный вывод, что если Одон бежал, то бежал и король. На чрезвычайном заседании экстремистского правительства передавался из рук в руки в мрачном молчании номер французской газеты с заголовком: L'EX-ROI DE ZEMBLA EST-IL À PARIS? Мстительное раздражение скорее, чем государственная стратегия, подвигнуло тайную организацию, в которой Градус был мелким членом, на составление плана уничтожения царственного беглеца. Мстительные злодеи! Их можно сравнить с хулиганами, у которых руки чешутся истязать того неуязвимого человека, чье свидетельское показание упекло их в пожизненную тюрьму. Известны случаи, когда такие каторжники впадали в бешенство от мысли, что их неуловимая жертва, самые тестикулы которой они жаждут выворачивать и рвать своими когтями, сидит в это время на пиру под трельяжем на солнечном острове и ласкает меж своих колен прелестное юное создание в безмятежной безопасности — и смеется над ними! Кажется, не может быть ада хуже, чем та беспомощная ярость, которую они испытывают, когда до них доходит весть об этом нерушимом сладчайшем веселье и пронизывает их, медленно разрушая их звериные мозги. Группа особенно преданных делу экстремистов, называющих себя «Тенями», собралась и поклялась затравить короля и убить его, где бы он ни находился. Они в известном смысле были теньвыми близнецами карлистов, — у многих из них и в самом деле были двоюродные и даже родные братья среди приверженцев короля. Без сомнения, происхождение

обеих групп восходит к различным безрассудным ритуалам студенческих братств и военных клубов, а их распространение можно понять как модные причуды и антипричуды; но меж тем как для объективного историка с карлизмом ассоциируется романтический и благородный ореол, его теневая группа должна поражать воображение как нечто определенно варварское и омерзительное. Гротескная фигура Градуса, помесь летучей мыши и краба, была не намного необычайнее, чем другие Тени, как, например, Нодо, сводный брат Одона, эпилептик и карточный плут, или сумасшедший Мандевиль, который потерял ногу, пытаясь изобрести антимагию. Градус давно был членом всевозможных худосочных левых организаций. Он никого еще не убил, хотя несколько раз за свою серую жизнь был довольно близок от этого. Он настаивал впоследствии, что когда оказался избранным, чтобы выследить и убить короля, выбор был решен на картах, но не забудем, что тасовал и сдавал их Нодо! Возможно, что иностранное происхождение нашего кандидата тайным образом подсказало его назначение, дабы ни один сын Зембли не принял на себя бесчестия фактического цареубийства. Мы легко можем представить себе сцену: призрачный неоновый свет лаборатории в пристройке Стекланного завода, где в эту ночь собрались на заседание Тени, пиковый туз на кафельном полу, водка, глотаемая из лабораторных пробирок, множество рук, хлопающих Градуса по круглой спине, темное возбуждение человека, принимающего эти довольно-таки предательские поздравления. Мы относим этот фатальный момент к пяти минутам после полуночи 2 июля 1959 года — день, который случайно был также днем, когда ни в чем не повинный поэт набросал первые строки своей последней поэмы.

Был ли Градус действительно подходящим человеком для этого дела? И да и нет. Однажды в ранней молодости, когда он служил рассыльным в большом и унылом предприятии, выделявавшем картонные коробки, он тишком помог трем товарищам устроить засаду на одного местного парня, которого они хотели прибить за то, что он выиграл мотоциклетку на ярмарке. Молодой Градус достал топор и руководил рубкой дерева. Оно, однако, упало не прямо и не вполне перегородило деревенскую дорогу, по которой их беззаботная жертва обычно проезжала в сумерки. Бедный юноша, грохотавший к тому месту, где притаились хулиганы, был стройный, хрупкий на вид лотарингек, и надо было быть настоящим подлецом, чтобы позавидовать его безобидному удовольствию. Довольно любопытно, что пока они сидели в засаде, будущий цареубийца заснул в канаве и, таким образом, пропустил краткую схватку, в которой двое нападающих получили приведшие к нокауту удары кастетом от храброго

лотарингца, а третьего он переехал и искалечил на всю жизнь.

Градус никогда не добился настоящего успеха в стекольном деле, к которому вновь и вновь возвращался между виноторговлей и печатанием брошюр. Он начал в качестве изготовителя картезианских чертиков (американских жителей) — бесенят из бутылочного стекла, прыгающих вверх и вниз в наполненных метилатом трубках, которые продаются с лотков на бульварах на Вербной неделе. Он работал также плавильщиком, а затем на отжиге, на государственных заводах и был, кажется, более или менее ответствен за исключительно уродливые красные и янтарные окна большой общественной уборной в буйном, но красочном Каликсхавене, там, где находятся матросы. Он утверждал, что это он улучшил сверкание и дребезжание так называемых *feuilles-d'alarme*, употребляемых виноградарями и садоводами для отпугивания птиц. Я расположил относящиеся к нему примечания таким образом, что первое из них (см. примечание к строке [17](#), где намечены некоторые из прочих видов его деятельности), оказалось самым туманным, тогда как последующие становятся постепенно яснее по мере того, как градуальный Градус приближается в пространстве и во времени.

Внутренние движения в нашем механическом человеке производились простыми пружинами и катушками. Его можно было бы назвать пуританином. Его скучная душа была пропитана отрицанием, сосредоточенным на одном существенном пункте, грозном в своей простоте: он не любил несправедливости и обмана. Он не любил их союза — они повсюду были вместе — с тупой страстью, для выражения, которой не было, да и не требовалось слов. Такая нетерпимость заслуживала бы похвалы, если бы не была побочным продуктом его безнадежной глупости. Он считал несправедливостью и обманом все, что превосходило его понимание. Он поклонялся общим местам и делал это с педантической уверенностью. Общие места были божественны, все особое было от дьявола. Если один человек был беден, а другой богат, то не важно было, что именно разорило первого и обогатило второго, — различие само по себе было несправедливостью, и бедный человек, не протестовавший против этого, был таким же дурным, как богатый, это игнорировавший. Те, кто знал слишком много, — ученые, писатели, математики, кристаллографы и т. п. — были не лучше королей или священников: все они обладали несправедливой долей власти, которая была обманом отнята у других. Простой порядочный человек должен был быть всегда настороже против какой-нибудь хитрой подлости со стороны природы или ближнего.

Земблянская революция доставила Градусу большое удовлетворение,

но также и много разочарований. Ретроспективно казался весьма значительным один чрезвычайно досадный эпизод из того порядка вещей, к которому Градусу следовало бы давно быть готовым, но к которому он никогда не был готов. Один исключительно блестящий имитатор короля, теннисный ас Юлиус Стейнманн (сын известного филантропа), в течение нескольких месяцев ускользал от полиции, доведенной до предельного бешенства совершенством его подражания голосу Карла Возлюбленного в серии речей, передававшихся по подпольному радио, в которых высмеивалось правительство. Когда наконец он был схвачен, то был судим чрезвычайной комиссией, в которой Градус был членом, и приговорен к смерти. Исполнители приговора оскандалились, и несколько времени спустя доблестный молодой человек был найден оправляющимся от ран в провинциальной больнице. Когда Градус об этом узнал, он впал в редкую для него ярость — не потому, чтобы это событие обличало роялистские махинации, а потому, что чистая, честная, аккуратная процедура смерти была нарушена нечистым, нечестным, беспорядочным образом. Ни с кем не посоветовавшись, он бросился в больницу, ворвался туда, отыскал в переполненной палате Юлиуса и ухитрился дважды выстрелить, оба раза промахнувшись, пока дюжий санитар не вырвал у него пистолет. Он кинулся обратно в штаб и вернулся с дюжиной солдат, но его пациент уже исчез.

Такие вещи лишают человека покоя, но что может Градус сделать? Сговорившиеся Парки затеяли великий заговор против Градуса. Отмечаешь с прощительным злорадством, что подобным ему никогда не выпадает на долю высшая радость прикончить свою жертву собственноручно. О, разумеется, Градус деятелен, способен, полезен, часто необходим. У подножия плахи, холодным серым утром, кто, если не Градус, подметет узкие запорошенные ночным снегом ступени? Но его длинное обветренное лицо не будет последним лицом, которое увидит в этом мире человек, принужденный взойти по этим ступеням. Это Градус покупает дешевый фибровый чемодан, который с замедленной бомбой внутри будет подложен более удачливым исполнителем под кровать бывшего приспешника. Никто лучше Градуса не знает, как подстроить ловушку при помощи фиктивного объявления, но богатую старую вдову, которая в нее попадет, окрутит и убьет другой. Когда падший тиран привязан, голый и вопящий, к доске на публичной площади и умерщвляется по кусочку народом, который отрезает ломтики и съедает их, и делит между собой его живое тело (как я читал в молодости об одном итальянском деспоте в рассказе, сделавшем меня вегетарьянцем на всю жизнь), Градус не принимает участия в этом

дьявольском причащении — он указывает на подходящий инструмент и руководит разделыванием.

И так оно и должно быть; миру нужны Градусы. Но Градус не должен убивать королей. Виноградус никогда, никогда не должен искушать Бога. Ленинградус не должен наводить свое духовое ружье на людей даже во сне, потому что, если он это сделает, пара гигантских, толстых, неестественно волосатых рук обнимет его сзади и начнет давить, давить, давить. >>>

[Строка 172: Книг и людей](#)

В черной записной книжке, которая, к счастью, при мне, я нахожу тут и там бегло набросанные среди понравившихся мне выдержек (подстрочное примечание из босвелевской «Жизни доктора Джонсона», надписи на деревьях в знаменитой Вордсмитской аллее, цитата из блаженного Августина и т. д.) несколько образцов беседы с Джоном Шейдом, собранных для упоминания в присутствии людей, которых моя дружба с поэтом могла интересовать или раздражать. Я надеюсь, что его и мой читатель простит мне, если я нарушу стройное течение этих комментариев и дам моему прославленному другу говорить от своего лица.

Когда речь зашла о рецензентах, он сказал: «Я никогда не выражал признательности за печатную похвалу, хотя иной раз желал бы обнять того или иного образцового ценителя. Я также никогда не потрудился нагнуться из окна и опорожнить мою посудину на темя какого-нибудь несчастного продажного писаки. Я принимаю как разнос, так и восторги с одинаковым равнодушием». Кинбот: «Я полагаю, вы отмечаете первое как болтовню болвана, а второе как дружеский жест доброй души». Шейд: «Именно».

Говоря о главе раздувшегося русского отделения профессоре Пнине, настоящем тиране по отношению к своим подчиненным (по счастью, профессор Боткин, числившийся в другом отделении, не был под началом у этого карикатурного буквоеда): «Как странно, что у русских интеллигентов полностью отсутствует чувство юмора, когда у них есть такие чудные юмористы, как Гоголь, Достоевский, Чехов, Зощенко и эти гениальные близнецы Ильф и Петров».

В разговоре о вульгарности одного нашего жирного знакомого: «Этот человек так же пошл, как фартук пикникового повара-любителя». Кинбот (смеясь): «Великолепно!»

Когда разговор коснулся преподавания в колледжах Шекспира: «Прежде всего — долой идеи, долой социальный фон, учите первокурсников трепетать, пьянеть от поэзии „Гамлета“ и „Лиры“, читать позвончиком, а не черепом». Кинбот: «Вы отдаете предпочтение

ударным местам?» Шейд: «Да, дорогой мой Чарльз, я валяюсь на них, как благодарная дворняга на дерне, загаженном датским догом».

В беседе о взаимном влиянии и проникновении марксизма и фрейдизма я сказал: «Из двух ложных доктрин хуже всегда та, которую труднее искоренить». Шейд: «Нет, Чарли, есть более простой критерий: марксизму нужен диктатор, а диктатору нужна тайная полиция, а это конец мира; фрейдист же, как бы ни был глуп, всегда может голосовать на выборах, даже если ему нравится называть это (улыбаясь) *политическим опылением*».

О студенческих сочинениях: «Обычно я очень снисходителен (сказал Шейд). Но есть известные мелочи, которых я не прощаю». Кинбот: «Например?» — «Когда заданная книга не прочитана. Когда она прочитана по-идиотски. Когда в ней ищут символов. Например: „Автор использует поразительный образ *зеленые листья*, потому что зеленый цвет — это символ счастья и крушения надежд“. У меня также есть привычка катастрофически понижать отметку, если студент употребляет слова „простой“ и „искренний“ в похвальном смысле; например: „Стиль Шелли всегда простой и хороший“ или „Йетс всегда искренен“. Это распространено весьма широко, и, когда я слышу, как критик говорит об искренности автора, я знаю, что или критик, или автор — дурак». Кинбот: «Но мне говорили, что такой подход преподается в средней школе?» — «Вот там-то и надо пройтись метлой. Ребенку нужно тридцать специалистов для обучения его тридцати предметам, а не одна загнанная учительница, которая показывает ему картинку рисового поля и говорит, что это Китай, потому что она ничего не знает ни о Китае, ни о чем другом и не может объяснить разницу между долготой и широтой». Кинбот: «Да, я согласен». >>>

[Строка 181: Ныне](#)

А именно 5 июля 1959 года, шестое воскресенье после Троицы. Шейд начал писать Песнь вторую «рано утром» (так отмечено наверху карточки 14). Он продолжал (вплоть до строки 208) весь день, то отрываясь, то возобновляя работу. Большая часть вечера и начало ночи были посвящены тому, что его любимые писатели восемнадцатого века называли «Шумом и Суестью света». После того, что последний гость уехал (на велосипеде) и пепельницы были опорожнены, часа два все окна оставались темными, но затем, около трех утра, я увидел из моей верхней ванной, что поэт вернулся к своему письменному столу в сиреневом свете своего кабинетика, и эта ночная сессия довела Песнь до строки 230-й (карточка 18). Во время нового

похода в ванную, полутора часами позже, на заре, я увидел, что свет перешел в спальню, и снисходительно улыбнулся, потому что, по моему расчету, прошло всего две ночи со времени три тысячи девятьсот девяносто девятого раза — но неважно. Несколькими минутами позже всюду снова была сплошная тьма, и я вернулся в постель.

5 июля, в полдень, на другом полушарии, на омытом дождем гудроне Онхавского аэродрома, Градус, держа в руке французский паспорт, подходил к русскому пассажирскому самолету, вылетавшему в Копенгаген, и это событие совпало с тем, что Шейд начал ранним утром (по атлантическому береговому времени) сочинять, или записывать, сочинив в постели, начальные строки Песни второй. Когда, почти двадцатью четырьмя часами позже, он дошел до строки 230-й, Градус, после освежительной ночи в летней резиденции нашего консула в Копенгагене, высокопоставленной «Тени», вошел вместе с этой Тенью в магазин одежды для того, чтобы соответствовать своим видом описанию в дальнейших примечаниях (к строкам [286](#) и [408](#)). Мигрень опять хуже сегодня.

Что до моей деятельности, то боюсь, что она была совершенно неудовлетворительной со всех точек зрения — эмоциональной, творческой и светской. Эта полоса невезения началась накануне вечером, когда я по доброте сердечной предложил молодому другу, кандидату на мой третий пинг-понговый стол, у которого после необычайной серии нарушений правил автомобильной езды отняли водительские права, отвезти его на моем мощном «кэрмлере» до самого имения его родителей — пустячок, каких-нибудь двести миль. В течение длившегося всю ночь банкета, среди толпы чужих людей — молодежи, стариков, приторно надушенных девиц — среди фейерверков, дыма от садовой плиты, на которой жарилось мясо, грубых шуточек, джазовой музыки и купанья на рассвете, я потерял всякий контакт с этим глупым мальчишкой; меня заставили петь, втянули в невообразимо скучную болтовню с различными его родственниками, и, наконец, каким-то непонятным образом я был перенесен на другой праздник в другом имении, где после неопишуемых салонных игр, в которых мне чуть не отхватили ножницами бороду, я позавтракал фруктами и рисом и был поведен моим анонимным хозяином — пьяным старым дураком в смокинге и жокейских бриджах — на спотыкающийся обзор его конюшен. Отыскав свою машину (в стороне от дороги, в сосновой роще), я смахнул с водительского сиденья мокрые плавки и серебряную девичью туфлю. Тормоза постарели за ночь, и вскоре, на безлюдном участке дороги, у меня кончился бензин. Часы Вордсмитского колледжа звонили шесть, когда я добрался до Аркадии, давая себе клятву никогда больше не

попадаться подобным образом и наивно предвкушая утешение спокойного вечера с моим поэтом. И лишь когда я увидел обвязанную лентой плоскую картонку, которую я накануне положил на стул в прихожей, я сообразил, что чуть не пропустил дня его рождения.

Незадолго до того я заметил эту дату на наружной обложке одной из его книг, подумал об ужасной изношенности его утреннего облачения, сравнил как бы шутя длину его руки с моей и купил ему в Вашингтоне совершенно роскошный шелковый халат, настоящую драконову кожу в восточных тонах, впору самураю, и его-то и содержала эта коробка.

Второпях я сбросил одежду и, рыча мой любимый церковный гимн, принял душ. Мой разносторонне одаренный садовник, делая столь нужный мне массаж, сообщил мне, что вечером у Шейдов будет большой прием с холодным буфетом и что ожидается сенатор Имя рек (весьма говорливый политик, упоминаемый во всех газетах, двоюродный брат Джона).

Для одинокого человека нет большей радости, чем неожиданное празднование дня рождения, и, думая — нет, будучи уверен, — что мой беспризорный телефон звонил весь день, я радостно набрал номер Шейдов, и, разумеется, подошла Сибилла.

«*Bon soir*, Сибилла».

«А, здравствуйте, Чарльз. Хорошо съездили?»

«Ну, по правде сказать...»

«Слушайте, я знаю, вам нужен Джон, но он как раз сейчас отдыхает, а я ужасно занята. Он вам позвонит позже, хорошо?»

«Когда позже — сегодня?»

«Нет, я думаю, завтра. У нас звонят у двери. Пока».

Странно. Почему Сибилле нужно было слушать дверной звонок, когда кроме горничной и кухарки было нанято двое молодцов в белых куртках? Ложная гордость помешала мне сделать то, что мне следовало сделать: взять под мышку мой королевский подарок и невозмутимо прошагать к негостеприимному дому. Кто знает — может быть, я был бы вознагражден у задней двери глотком кухонного хереса. Я все еще надеялся, что произошла ошибка и что Шейд позвонит. Это было горькое ожидание, и единственным следствием бутылки шампанского, которую я пил то у одного окна, то у другого, было сильное *crapula* (похмелье).

Из-за портьеры, из-за самшитового дерева, сквозь золотую вуаль вечера и сквозь черное кружево ночи, я наблюдал за этим газоном, за этой подъездной аллеей, этим веером света над дверью, этими яркими самоцветами окон. Солнце еще не зашло, когда в четверть восьмого я услышал машину первого гостя. О, я увидел их всех. Я видел, как древний

доктор Саттон, снежноволосый, совершенно овальный маленький человек, прибыл в трясущемся «форде» со своей высокой дочерью, г-жой Старр, военной вдовой. Я видел чету — по фамилии Кольт, как я узнал позднее, — местного адвоката и его жены, чей бестолковый «кадиллак» въехал наполовину в мой двор и тотчас попятился в суматохе светового мигания. Я видел всемирно известного старого писателя, согбенного под бременем литературных почестей и собственной плодовитой бездарности, прибывшего на такси из той смутной глубины времени, когда Шейд и он были соиздателями маленького журнала. Я видел, как Фрэнк, садовник Шейдов, уехал на автофургоне. Я видел, как отставной профессор орнитологии пришел пешком с шоссе, где он незаконно оставил свой автомобиль. Я видел патронессу искусств, организовавшую последнюю выставку тетушки Мод, втиснутую в крохотный «пулекс», который вела ее по-мальчишески красивая лохматая подруга. Я видел, как Фрэнк вернулся с нью-уайским антикваром, подслеповатым господином Каплуном и его женой, взъерошенной орлицей. Я видел, как кореец-аспирант в смокинге подъехал на велосипеде и как пришел пешком президент колледжа в мешковатом костюме. Я видел, при исполнении церемониальных обязанностей, то на свету, то в тени, где крейсировали от окна к окну, как марсиане, мартини и виски с содой, двух юношей в белых куртках из отельной школы и сообразил, что хорошо, очень хорошо знаю того, что потоньше. И наконец, в половине девятого (когда, я полагаю, хозяйка дома уже начала ломать пальцы, как обычно делала от нетерпения) длинный черный лимузин, официально отполированный и слегка погребальный на вид, вплыл в ауру въезда, и, пока толстый чернокожий шофер торопился отпахнуть автомобильную дверцу, я с чувством жалости увидел, как мой поэт вышел из дома с белым цветком в петлице и с приветственной улыбкой на раскрасневшемся от алкоголя лице.

На следующее утро, как только я увидел, что Сибилла уехала за горничной Руби, которая не спала у них в доме, я перешел через улицу с красиво и укоризненно запакованной картонкой. Перед их гаражом, на земле, я заметил *buchmann*'а, т. е. небольшую колонку библиотечных книг, которые Сибилла, очевидно, там забыла. Я нагнулся к ним, одержимый бесом любопытства, — это были большей частью книги г-на Фолькнера. В следующее мгновение вернулась Сибилла, ее шины захрустели по гравию как раз позади меня. Я добавил книги к моему подарку и положил всю кучу ей на колени. Очень мило с моей стороны, но что это за картонка? Всего лишь подарок для Джона. Подарок? Да разве вчера не был день его рождения? Да, конечно, но ведь день рождения — это простая условность?

Условность или нет, но это был также день моего рождения — каких-нибудь шестнадцать лет разницы, вот и все. Да ну? Поздравляю вас. А как прошел прием? Да вы знаете, какие это бывают приемы (тут я полез в карман за другой книгой, книгой, которой она не ожидала). Да, а какие же они бывают? Ну, люди, которых знаешь всю жизнь, которых просто необходимо пригласить раз в год, люди, как Бен Каплун или Дик Кольт, с которыми мы вместе ходили в школу, или этот вашингтонский двоюродный брат и этот писатель, которого вы с Джоном считаете дутой величиной. Мы не пригласили вас, потому что знаем, какими скучными вы находите такие сборища. Это послужило мне сигналом.

«Кстати, о романах, — сказал я, — вы помните, мы решили однажды — вы, ваш муж и я, — что неотшлифованный шедевр Пруста — это громадная бездушная сказка, навеянный спаржей сон, не имеющий абсолютно ничего общего с какими бы то ни было возможными людьми в исторической Франции, сексуальный *travestissement* и колоссальный фарс, словарь гения с его поэзией, но не более, невозможно грубые хозяйки дома, пожалуйста, дайте мне говорить, и еще более грубые гости, механические скандалы под Достоевского, снобистические нюансы Толстого, повторяемые и растягиваемые до невыносимой длины, очаровательные морские виды, тающие аллеи, нет, не перебивайте меня, эффекты света и тени, соперничающие с величайшими английскими поэтами, цветение метафор, описанное — у Кокто, кажется, — как „мираж висячих садов“, и, я еще не кончил, абсурдный, резиново-проволочный роман между белокурым молодым подлецом (вымышленным Марселем) и неправдоподобной *jeune fille* с наклеенной грудью, с толстой шеей как у Вронского (и у Левина) и купидоновыми ягодицами вместо щек; и — теперь дайте мне закончить, к общему удовольствию — мы были неправы, отрицая за нашим маленьким *beau ténébreux* способность вызывать в читателе человеческое участие, она есть, она есть — может быть, типа восемнадцатого или даже семнадцатого века, но она есть. Пожалуйста (протягивая ее), погрузитесь в эту книгу без ропота, без топора, вы найдете в ней красивую закладку, купленную во Франции, пусть Джон ее возьмет. *Au revoir*, Сибилла, мне надо идти. *Кажется, мой телефон звонит*».

Я очень хитрый земблянец. *На всякий случай* я принес с собой в кармане третий и последний том Пруста в издании *Bibliothèque de la Pléiade* Париж, 1954 г., в котором я отметил некоторые места на страницах 269–271. Мадам де Мортемар, решив, что мадам де Валькур *не* будет в числе «избранных» на ее *soirée*, намерена послать ей на следующий день записку: «Дорогая Эдит, я по вас скучаю, вчера вечером я не очень

надеялась увидеть вас (Эдит удивится: как она могла бы, раз она меня не пригласила?), потому что знаю, вы не очень любите подобного рода сборища, которые всего только на вас наводят скуку».

Вот и все про последний день рождения Джона Шейда. >>>

[Строки 181–182: Свиристели... цикады](#)

Птица из строк [1–4](#) и [131](#) опять с нами. Она появится снова в конечной строке поэмы; и другая цикада, покинув свою оболочку, ликующе запоет в строках [236–244](#). >>>

[Строка 189: Стар-Овер Блю](#)

См. примечание к строке [627](#). Это напоминает мне королевскую игру в гусёк, но здесь она играется при помощи маленьких самолетиков из крашеной жести; это скорее охота на дикого гуся (переходите на квадрат [209](#)). >>>

[Строка 209: При постепенном распаде](#)

Сочетание пространства и времени есть само по себе распад; Градус летит на запад, он достиг серо-голубого Копенгагена (см. примечание к строке [181](#)). Послезавтра (7 июля) он проследует в Париж. Он промчался сквозь эту строку и исчез, но скоро вновь омрачит наши страницы. >>>

[Строки 213–214: Вот силлогизм](#)

Это может понравиться мальчику. В дальнейшей жизни мы узнаем, что мы-то и есть эти «другие». >>>

[Строка 230: Домашнее привидение](#)

Бывшая секретарша Шейда, Джейн Провост, которую я посетил недавно в Чикаго, рассказала мне о Хэйзель гораздо больше, чем ее отец. Он нарочито избегал разговоров о своей умершей дочери, и, поскольку я не предвидел этой работы исследователя и комментатора, я не понуждал его говорить на эту тему и отвести со мною душу. Правда, в этой песни он ее отвел весьма основательно, и написанный им портрет Хэйзель, совершенно ясный и полный, может быть, немножко слишком полон в отношении композиции, так что читатель не может не почувствовать, что он слишком растянут и разработан в ущерб некоторым более богатым и редким темам, которые он вытеснил. Но комментатор не может уклоняться от своих обязанностей, как бы ни была скучна информация, которую ему приходится собрать и передать. Отсюда это примечание.

По-видимому, в начале 1950 года, задолго до эпизода с Амбаром (см. примечание к строке [347](#)), шестнадцатилетняя Хэйзель была причастна к каким-то ужасающим «психокинетическим» явлениям, длившимся около месяца. Первоначально Poltergeist как будто хотел связать беспорядок с личностью тетушки Мод, которая только что умерла; первым действующим предметом была корзинка, в которой она когда-то держала своего полупарализованного скайтерьера (порода, именуемая в нашей стране «плакучая ива»). Сибилла дала усыпить животное вскоре после ухода в больницу его хозяйки, вызвав этим гнев Хэйзель, которая была вне себя от горя. Однажды утром эта корзинка вылетела из «неприкосновенного святилища» (см. строки [90–98](#)) и пронеслась по коридору мимо открытой двери кабинета, где работал Шейд: он видел, как она мелькнула мимо, теряя на лету свое жалкое содержимое — изодранное одеяльце, резиновую кость и наполовину выцветшую подушку. На следующий день место действия перешло в столовую, где одна из картин маслом работы тетушки Мод («Кипарис и летучая мышь») оказалась повернутой лицом к стене. Последовали другие инциденты, вроде коротких перелетов ее альбома (см. примечание к строке [90](#)) и, конечно, всевозможных постукиваний, особенно в заповедной комнате, которые будили Хэйзель от ее несомненно мирного сна в смежной спальне. Но вскоре домовой исчерпал возможности, относившиеся к тетушке Мод, и сделался, так сказать, более эклектичным. Все те банальные передвижения, которыми предметы ограничены в подобных случаях, имели место и в настоящем: на кухне с грохотом падали кастрюли, в леднике был найден (может быть, преждевременно) снежный ком; раз или два Сибилла видела тарелку, летевшую наподобие диска и благополучно приземлявшуюся на диване; лампы все время зажигались в разных частях дома; стулья, переваливаясь, собирались в непроходимой кладовой; таинственные клочки веревок валялись на полу; незримые гуляки спотыкались вниз по лестнице посреди ночи; и однажды зимним утром Шейд, проснувшись и посмотрев в окно на погоду, увидел, что столик из его кабинета, на котором он держал подобный Библии словарь Уэбстера открытым на букве «М», стоит, ошеломленный, снаружи на снегу (подсознательно это могло отразиться на строках [5–12](#)).

Я представил себе, что в течение этого периода Шейды или, по крайней мере, Джон Шейд испытывали ощущение странной неустойчивости, словно части обыденного гладко функционирующего мира развинтились, и вдруг замечаешь, что одна из твоих шин катится где-то сбоку рядом с тобой или что отскочило рулевое колесо. Мой бедный друг не мог не вспомнить драматических припадков своего детства и опасался,

не будет ли это новым генетическим вариантом на ту же тему, переданным по наследству. Не последней заботой Шейда были попытки скрыть эти ужасные и унижительные явления от соседей. Он был испуган и раздраем жалостью. Хотящим никогда не удалось поймать с поличным эту рыхлую, слабую, неуклюжую и серьезную девушку, казавшуюся более заинтересованной, чем испуганной, ни он, ни Сибилла не сомневались, что каким-то необычайным образом она участвовала в этой неурядице, которую они считали признаком (цитирую Джейн П.) «наружного продолжения или выделения безумия». Они мало что могли сделать, отчасти потому, что питали неприязнь к современной знахарской психиатрии, но еще больше потому, что боялись Хэйзель и боялись ее обидеть. Они имели, однако, тайное совещание со старомодным и ученым доктором Саттоном, и это улучшило их настроение. Они подумывали о переезде в другой дом или, вернее, громко говорили друг другу так, чтобы их услышал тот, кто мог подслушивать, что подумывают о переезде, как вдруг совершенно внезапно демон исчез, как иной раз *moskovett*, этот резкий порывистый ветер, колосс холодного воздуха, который дует на нашем восточном берегу весь март, а потом вы вдруг слышите утром птиц, и бессильно повисают флаги, и очертания мира возвращаются на место. Явления совершенно прекратились, и если их не забыли, то по крайней мере никогда о них не упоминали; но как любопытно, что мы не замечаем таинственного знака равенства между Геркулесом, вырывающимся из слабого тела невротического ребенка, и буйным духом тетушки Мод; как любопытно, что наш разум удовлетворен первым попавшимся объяснением, хотя, в сущности, научное и сверхъестественное — чудо мышц и чудо мысли — оба необъяснимы, как и все пути Господни. >>>

[Строка 231: Как смехотворны, и т. д.](#)

В этом месте черновика (под датой 6 июля) ответвляется чудесный вариант с одним любопытным пробелом:

Странный Мир Иной, где живы все наши мертворожденные дети,
и ожившие собаки, и кошки, и исцеленные калеки,
и умы, умершие раньше, чем прибыть туда:
бедный старый Свифт, и бедный —, и Бодлер...

Что замещает это тире? Если только Шейд не придал просодического веса немому «е» в *Baudelaire* — чего, я совершенно уверен, он не мог

сделать в английском стихе (ср. *Rabelais*, строка [501](#)), недостающее здесь имя должно быть хореическое. Среди имен знаменитых поэтов, художников, философов и т. д., о которых известно, что они сошли с ума или впали в старческое слабоумие, можно найти немало подходящих. Не помешало ли Шейду это разнообразие при отсутствии логической причины для выбора, и не потому ли оставил он пробел, положившись на то, что таинственная органическая сила, выручающая поэтов, заполнит его в свое время? Или было еще что-то — смутная интуиция, пророческая щепетильность, помешавшая ему вписать имя выдающегося человека, который случайно был его близким другом? Может быть, он не хотел рисковать тем, что некий читатель в его собственном доме может воспротивиться упоминанию именно этого имени? И коли уж на то пошло, зачем вообще упоминать его в этом трагическом контексте? Темные, тревожные мысли. >>>

[Строка 238: Пустой изумрудный футлярчик](#)

Это, как я понимаю, полупрозрачный покров, оставшийся на древесном стволе от имаго цикады, выползшей вверх по стволу при вылуплении. Шейд говорил, что однажды он спросил класс из трехсот студентов, и только *трое* знали, как выглядит цикада. Невежественные поселенцы называли ее «саранчой», что, конечно, означает «кузнечик», и та же нелепая ошибка повторяется поколениями переводчиков лафонтеновской басни «*La Cigale et la Fourmi*» (см. строки [243–244](#)). Муравью, спутнику *cigale*, предстоит быть законсервированным в янтаре.

Во время наших закатных блужданий, которых было так много, по крайней мере девять (согласно моим записям) в июне, но которые свелись к двум за первые три недели июля (им предстоит возобновиться в Ином мире!), у моего друга была довольно кокетливая манера указывать концом своей трости на различные любопытные натуральные предметы. Ему никогда не надоедало иллюстрировать этими примерами необычайное сочетание Канадской Зоны с Южной, «представленных», как он выражался, в этом именно месте Аппалачии, где на нашей высоте в приблизительно 1500 футов северные виды птиц, насекомых и растений встречаются вперемежку с южными представителями. Как большинство литературных знаменитостей, Шейд, казалось, не понимал, что смиренному почитателю, который достиг наконец и получил наконец в свое распоряжение недостижимого гения, гораздо интереснее обсуждать с ним литературу и жизнь, чем слушать о том, что *diana* (по-видимому, цветок) встречается в Нью-Уае вместе с *atlantis* (тоже, по-видимому, цветок), и тому подобные

вещи. В особенности мне запомнилась раздражительнейшая вечерняя прогулка (6 июля), дарованная мне моим поэтом с величественной щедростью в возмещение за тяжкую обиду (см., часто см. примечание к строке [181](#)), в отплату за мой малый дар (которым он, кажется, никогда не воспользовался) и с благословения жены, которая сочла должным сопроводить нас часть пути до Дальвичского леса. Посредством остроумных экскурсов в область естественной истории, Шейд упорно ускользал от меня — меня, одолеваемого истерическим, сильнейшим, безудержным любопытством узнать, какую именно часть приключений земблянского короля он закончил в течение последних четырех или пяти дней. Гордость, мой обычный недостаток, помешала мне нажать на него прямыми вопросами, но я все возвращался к моим старым темам — побегу из дворца, приключениям в горах — с тем, чтобы добиться от него какого-нибудь признания. Можно бы вообразить, что поэт, занятый сочинением длинного и трудного произведения, просто обеими руками ухватится за возможность поговорить о своих достижениях и неудачах. Но ничего подобного не произошло! Все, что я получил в ответ на мои бесконечно кроткие и осторожные расспросы были фразы вроде: «Точно так, подвигается отлично» или: «Никак нет, что же тут говорить». И наконец, он отвертелся от меня обидным анекдотом о короле Альфреде, который, как говорят, любил рассказы своего норвежского приближенного, но прогонял его, когда бывал занят другими делами. «Ну вот и вы, — говаривал неучливый Альфред кроткому норвежцу, пришедшему поведать тонко отличавшуюся версию какого-нибудь старого скандинавского мифа, уже рассказанного им прежде, — ну вот, вы тут опять!» — и случилось так, дорогие мои, что этот баснословный изгнанник, этот боговдохновенный северный бард, известен сегодня английским школьникам под тривиальным прозвищем Нувот.

И все же! При более позднем случае мой капризный и заклеванный друг был куда великодушнее (см. примечание к строке [802](#)). >>>

[Строка 240: Тот англичанин в Ницце](#)

Чайки 33-го года все, конечно, околели. Но если поместить объявление в лондонском «Таймс», можно раздобыть имя их благодетеля, — если только Шейд его не выдумал. Когда я посетил Ниццу на четверть века позже, там был вместо этого англичанина местный лодырь, старый бородатый бродяга, терпимый или поощряемый как приманка для туристов, который стоял, как статуя Верлена, с небрежливой чайкой, сидевшей в профиль на его свалывшихся волосах, или дремал на

общедоступном солнце, удобно свернувшись, спиной к усыпляющему прибору, на променадной скамье, под которой он аккуратно разложил на газете, чтобы просушить или провялить, разноцветные комочки неопределимой провизии. Вообще-то там гуляло не так уж много англичан, хотя я заметил нескольких к востоку от Ментоны, на набережной, где был воздвигнут, но еще не освобожден от покрова массивный памятник королеве Виктории, с трудом обнимаемый бризом, — взамен другого, увезенного немцами. Нетерпеливый рог ее ручного единорога довольно патетично торчал сквозь саван. >>>

[Строка 246: ...моя дорогая](#)

Поэт обращается к своей жене. Посвященные ей строки (строки [246–292](#)) имеют структурное значение, как переход к теме их дочери. Я, однако, могу засвидетельствовать, что, когда шаги дорогой Сибиллы, яростные и резкие, раздавались наверху над нашими головами, не всегда все было «как быть должно!» >>>

[Строка 247: Сибилла](#)

Жена Джона Шейда, рожденная Айрондель (что происходит не от маленькой долины с залежами железной руды, а от французского слова «ласточка»). Она была на несколько месяцев старше него. Насколько я знаю, она родом канадка, так же как была бабка Шейда со стороны матери (двоюродная сестра деда Сибиллы, если я не ошибаюсь).

С самого начала я старался вести себя с предельной учтивостью по отношению к жене моего друга, и с самого начала она меня невзлюбила и мне не доверяла. Позднее мне говорили, что, упоминая меня на людях, она называла меня «слоновый клеш», «королевских размеров овод», «глист», «чудовищный паразит гения». Я прощаю ее — ее и всех. >>>

[Строка 270: Моя темная Vanessa](#)

Это так типично для сердца ученого, в поисках ласкательного имени, навалить в одну кучу бабочковый род и орфическое божество поверх неизбежного упоминания Ванхомриг, Эстер! В связи с этим в моей памяти застряли две строки из стихотворения Свифта (которого в здешней глуши мне не достать):

Как вдруг. *Ванесса* во цвету
вошла, звездой *Атланты*

Что касается бабочки «Ванессы», то она появится вновь в строках [993–995](#) (к коим см. примечание). Шейд говаривал, что ее старое английское название было The Red Admirable^[15], позднее выродившееся в The Red Admiral. Это одна из немногих бабочек, случайно мне известных. Земблянцы называют ее *harvalda* (геральдическая), возможно, потому, что ее определенное изображение имеется в гербе герцогов Больстонских. В иные годы, осенью, она довольно обычно встречалась в дворцовых садах и навещала астры вместе с одной летающей днем ночницей. Я видел The Red Admirable, лакомящуюся на сочащихся сливах, а однажды — на мертвом кролике. Это — исключительно игривое насекомое. Один почти ручной экземпляр ее был последним природным феноменом, к которому Джон Шейд привлек мое внимание, идя навстречу своей гибели (см., см. теперь же мое примечание к строкам [993–995](#)).

Я замечаю душок Свифта в некоторых моих примечаниях. Я тоже врожденный меланхолик, беспокойный, раздражительный и подозрительный человек, хотя у меня и бывают минуты легкомыслия и *fou rire*. >>>

[Строка 275: Мы сорок лет женаты](#)

Джон Шейд и Сибилла Ласточкина (см. примечание к строке [247](#)) женились в 1919 году, ровно за три десятилетия до того, как король Карл женился на Дизе, герцогине Больстон. С самого начала его царствования (1936–1958) народные представители, ловцы лососей, внесоюзные стекольщики, военные группы, встревоженные родственники и в особенности епископ Есловский, сангвинический и благочестивый старик, — делали все что могли, дабы убедить его оставить свои многочисленные, но бесплодные развлечения и жениться. Это был вопрос не морали, а престолонаследия. Как это бывало и с его предшественниками, примитивными *alderkings*, пылавшими страстью к мальчикам, духовенство спокойно игнорировало языческие обычаи нашего молодого холостяка, но хотело бы, чтобы он сделал то же, что сделал более ранний и еще более несговорчивый Карл, — взял одну отпускную ночь и произвел законного наследника.

В первый раз он увидел девятнадцатилетнюю Дизу в праздничную ночь 5 июля 1947 года на маскированном балу во дворце своего дяди. Она пришла в мужском костюме, ряженая под тирольского мальчика, со слегка вывернутыми внутрь коленями, но бесстрашная и прелестная, а затем он повез ее и ее двоюродных братьев (двух гвардейцев, переодетых цветочницами) по улицам на своем дивном новом автомобиле с откидным

верхом смотреть на гигантскую иллюминацию по случаю его дня рождения, и танцы с факелами в парке, и фейерверки, и бледные запрокинутые лица. Он тянул почти два года, но на него наседали нечеловечески красноречивые советники, и он наконец сдался. Накануне своей свадьбы он молился большую часть ночи, запершись один в холодном огромном Онхавском соборе. Самодовольные *alderkings* глядели на него с рубиново-аметистовых стекол окон. Никогда так горячо не просил он Бога о напутствии и укреплении (см. ниже примечание к строкам [433–434](#)).

После строки 274 в черновике имеется следующее отвергнутое начало:

я люблю свое имя: Шейд, Ombre, почти «человек»
по-испански...

Жалеешь, что поэт не продолжал на ту же тему и не избавил читателя от последующих неловких откровенностей. >>>

[Строка 286: Розовым следом реактивного самолета над пламенем заката](#)

Я тоже часто обращал внимание моего поэта на идиллическую красоту самолетов в вечернем небе. Кто бы мог угадать, что в тот же самый день (7 июля), когда Шейд записал эту искрящуюся строку (последнюю на двадцать третьей карточке), Градус, *alias* Дегрэ, перелетал из Копенгагена в Париж, завершив таким образом второй этап своего зловещего путешествия! Даже в Аркадии я емь, говорит смерть в надгробных письменах.

Деятельность Градуса в Париже была распланирована «Тенями» довольно точно. Они совершенно правильно предполагали, что не только Одон, но и наш бывший консул в Париже, покойный Освин Бретвит будет знать, где найти короля. Они решили, что Градус пощупает Бретвита. У консула была квартира в Медоне, в которой он жил один, редко выходя куда-нибудь, кроме Национальной Библиотеки (где он читал теософские труды и решал шахматные задачи в старых газетах), и никого не принимая. Точный план «Теней» родился из счастливого стечения обстоятельств. Догадываясь, что Градусу не хватает умственного багажа и мимического дара для перевоплощения в ревностного роялиста, они предложили, чтобы он лучше изобразил совершенно аполитичного комиссионера, нейтрального человека, заинтересованного только в получении хорошей

цены за различные бумаги, которые он, по просьбе частных лиц, вывез из Зембли для доставки законным владельцам. На помощь пришел случай в минуту антикарлистского настроения. Кто-то из второстепенных «Теней», которого мы назовем бароном А., имел тестя, барона Б., безвредного чудаковатого старика, давно вышедшего в отставку из государственной службы и совершенно неспособного понять некоторые ренессансовые стороны нового режима. Он был — или думал, что был (ретроспективное отдаление увеличивает), — близким другом покойного министра иностранных дел, отца Освина Бретвита, и потому с удовольствием ждал дня, когда сможет передать «молодому» Освину (который, как он понимал, не был в полном смысле слова *persona grata* для нового режима) пакет драгоценных фамильных бумаг, на которые этот затхлый барон случайно наткнулся среди папок в конторе министерства. Внезапно его уведомили, что день настал: документы будут немедленно отправлены в Париж. Ему также разрешили предпослать им краткую записку, которая гласила:

Вот некоторые драгоценные документы, принадлежавшие вашей семье. Я не мог бы придумать ничего лучше, чем отдать их в руки сына великого человека, бывшего моим товарищем по Гейдельбергскому университету и моим учителем по дипломатической службе. *Verba volant, scripta manent.*

Упомянутые *scripta* представляли собою 213 длинных писем, которыми лет семьдесят назад обменялись Зуле Бретвит, двоюродный дядя Освина, мэр Одеваллы, и его двоюродный брат Ферц Бретвит, мэр Ароса. Эта корреспонденция, унылый обмен бюрократическими общими местами и напыщенными остротами, не имела даже того узколокального интереса, который письма такого рода имеют для провинциального историка, — но, разумеется, невозможно судить о том, что может привлечь или оттолкнуть сентиментального любителя собственной генеалогии, — а Освин Бретвит именно таким всегда слыл среди своих бывших подчиненных. Я хотел бы немного отвлечься и прервать этот сухой комментарий, чтобы кратко отдать дань Освину Бретвиту.

Физически это был болезненного вида лысый человек, напоминавший бледную железу. Лицо его было странным образом лишено всяких черт. Глаза были цвета кофе с молоком. Вспоминаешь его всегда с траурной повязкой на руке. Но эта пресная наружность давала неверное представление о человеке. Через блестящий рифленый океан я приветствую мужественного Бретвита! Пусть на мгновение покажутся его рука и моя в

крепком трансатлантическом пожатии над золотой гралицей эмблематического солнца. Пусть никакая страховая фирма или авиационная компания не использует этой виньетки в качестве рекламного герба на глянцевиной странице журнала под изображением отставного дельца, ошеломленного и польщенного на цветной фотографии видом закуски, которую предлагает ему стюардесса вместе со всем прочим, что она может дать; лучше пусть это возвышенное рукопожатие будет принято нашим циничным веком неистового гетеросексуализма как последний, но долговечный символ мужества и самоотвержения. Как горячо мечталось, что подобный же символ, но в словесной форме, осенит поэму другого умершего друга, — но этому не суждено было случиться... Тщетно было бы искать в «Бледном огне» (воистину бледном!) тепла моей руки, сжимающей твою руку, бедный Шейд!

Но вернемся к парижским крышам. Храбрость в Освине Бретвите сочеталась с честностью, добротой, достоинством и тем, что, как эвфемизм, можно назвать подкупающей наивностью. Когда Градус позвонил с аэродрома и, чтобы возбудить его аппетит, прочел ему записку барона Б. (за исключением латинской цитаты), Бретвит подумал только о предстоявшем ему удовольствии. Градус отказался сказать по телефону, какие именно это были «драгоценные бумаги», но случилось так, что экс-консул в последнее время надеялся получить обратно ценную коллекцию марок, которую его отец много лет назад завещал ныне покойному двоюродному брату. Двоюродный брат этот проживал в том же доме, что барон Б., и, погруженный во все эти сложные и увлекательные соображения, экс-консул, ожидая посетителя, беспокоился не о том, не является ли человек из Зембли опасным мошенником, а о том, доставит ли он все альбомы разом или постепенно, дабы посмотреть, что он может получить за свои труды. Бретвит надеялся, что сделка будет заключена в тот же вечер, так как на следующее утро он должен был лечь в больницу и, возможно, подвергнуться операции (так и случилось, и он умер под ножом).

Когда между двумя тайными агентами, принадлежащими к враждебным партиям, происходит поединок умов, то, если у одного таковой отсутствует, бой может быть забавным; но он скучен, если оба болваны. Я бросаю вызов кому угодно — пусть найдет в анналах заговоров и контрзаговоров что-либо более бессмысленное и скучное, чем сцена, занимающая конец этого добросовестного примечания.

Градус неудобно присел на край дивана (на котором меньше года назад отдыхал усталый король), всунул руку в свой портфель, вручил хозяину дома объемистый пакет в бурой бумаге и переместил свои чресла на стул

близ сиденья Бретвита, чтобы удобнее было наблюдать, как он будет возиться с веревкой. В ошеломленном молчании Бретвит уставился на то, что он в конце концов развернул, а затем сказал:

«Что же — вот и конец мечтам. Эта переписка была опубликована в тысяча девятьсот шестом или тысяча девятьсот седьмом году — нет, все-таки в тысяча девятьсот шестом — вдовой Ферца Бретвита; у меня, может быть, даже есть экземпляр где-то среди книг. К тому же это не собственноручная копия, а переписано писцом для напечатания — вы можете заметить, что оба мэра пишут одним и тем же почерком».

«Как интересно», — сказал Градус, замечая.

«Я, конечно, благодарен за доброе намерение», — сказал Бретвит.

«Мы были в этом уверены», — сказал довольный Градус.

«Барон Б., должно быть, слегка выжил из ума, — продолжал Бретвит, — но, повторяю, его доброе намерение меня трогает. Полагаю, вы хотите денег за доставку этого сокровища?»

«Удовольствие, которое оно вам доставляет, будет нашей наградой, — ответил Градус. — Но позвольте сказать откровенно: мы не пожалели труда, чтобы устроить это как следует, и я проделал долгий путь. И вот — я хочу предложить вам маленькую сделку. Окажите нам услугу, и мы ответим тем же. Я знаю, вы в несколько стесненных...» (рука Градуса плеснулась, как маленькая рыбка, и он подмигнул).

«Что правда, то правда», — вздохнул Бретвит.

«Если вы пойдете нам навстречу, это не будет вам стоить ни копейки».

«О, я мог бы заплатить кое-что» (надутые губы, пожатие плеч).

«Нам не нужны ваши деньги (ладонь останавливает поток автомобилей). Но вот наш план. У меня есть записки от других баронов к другим беглецам. Фактически, у меня есть письма к самому таинственному из всех беглецов».

«Что? — вскричал Бретвит с искренним удивлением. — Там известно, что Его Величество покинул Земблю?» (Я бы отшлепал за это голубчика.)

«Именно так, — сказал Градус, потирая руки и чуть ли не пыхтя от животного удовольствия, — здесь несомненно действовал инстинкт, ибо он, конечно, не мог понять рассудком, что *faux pas* консула представляло собой ни больше ни меньше как первое подтверждение нахождения короля за границей. — Именно так, — повторил он с многозначительной ухмылкой, — и я был бы глубоко обязан вам, если бы вы меня рекомендовали господину Х».

При этих словах Освина Бретвита осенило ложное прозрение, и он простонал про себя: да, конечно же! Какая тупость с моей стороны! Он же

один из наших! Пальцы его левой руки невольно задергались, как если бы он натягивал на нее бибабо, между тем как глаза его напряженно следили за простонародным жестом удовлетворения собеседника. От карлистского агента, открывающегося старшему по рангу, ожидался знак, соответствующий букве «Х» (первая буква имени Ксаверий по-земблянски) в одноручном алфавите глухонемых: рука в горизонтальном положении со слегка согнутым указательным пальцем и остальными, собранными щепоткой (многие критиковали этот знак как чересчур безвольный, теперь он заменен более мужественной комбинацией). В тех нескольких случаях, когда он был подан Бретвиту, откровению предшествовал для него миг напряженного ожидания — скорее прореха во времени, чем действительная пауза, — нечто вроде того, что врачи называют «аурой», странное ощущение одновременно напряженности и нереальности, одновременно жара и холода неизъяснимого раздражения, пронизывающего всю нервную систему перед припадком. И на сей раз тоже Бретвит почувствовал, как магическое вино ударяет ему в голову.

«Хорошо, я готов. Подайте знак», — сказал он жадно.

Градус, решившись рискнуть, взглянул на лежавшую на коленях Бретвита руку — незаметно для своего хозяина она, казалось, ручным шепотом подсказывала Градусу. Он попытался повторить то, что она изо всех сил старалась внушить ему, — всего лишь рудименты нужного знака.

«Нет-нет, — сказал Бретвит, снисходительно улыбаясь жесту неловкого новичка. — Другой рукой, друг мой. Вы же знаете, Его Величество левша».

Градус попытался опять — но, подобно изгнанной марионетке, пугливый маленький суфлер исчез. По-бараньи уставившись на свои пять ставших чужими обрубков, Градус проделал движение неумелого, полупарализованного тенеписца и наконец неуверенно изобразил V — знак победы. Улыбка Бретвита начала блекнуть.

Когда она исчезла, Бретвит (это имя означает «шахматный ум») встал со стула. В более просторной комнате он зашагал бы назад и вперед, но это было невозможно в набитом вещами кабинете. Градус-Неудачник застегнул все три пуговицы своего тесного коричневого пиджака и несколько раз потрянул головой.

«Я считаю, — сказал он сердито, — надо быть справедливым. Коли я привез вам эти ценные бумаги, вы должны мне за это устроить свидание или по крайней мере дать мне его адрес».

«Я знаю, кто вы такой! — вскричал Бретвит, указывая на него пальцем. — Вы репортер! Вы из этого паршивого датского листка, который

торчит у вас из кармана. — (Градус машинально потрогал его и нахмурился.) — Я надеялся, что они перестали меня изводить! Вульгарная назойливость! Ничто для вас не свято — ни рак, ни изгнание, ни гордость короля!» (Увы, это правда не только в отношении Градуса, есть у него коллеги и в Аркадии.)

Градус сидел, уставясь на свои новые башмаки цвета красного дерева, с дырчатými передками. Карета скорой помощи, нетерпеливо вскрикнув, промчалась по темным улицам тремя этажами ниже. Бретвит выместил свое раздражение на лежавшей на столе переписке предков. Он схватил аккуратную пачку вместе с отделившейся от нее оберткой и швырнул все это вместе в мусорную корзинку. Веревка упала снаружи, к ногам Градуса, который поднял ее и добавил к *scripta*.

«Пожалуйста, уходите, — сказал бедный Бретвит. — У меня боль в паху, которая сводит меня с ума. Я не спал три ночи. Вы, журналисты, упрямая шайка, но я тоже упрям. Вы никогда от меня не узнаете о моем короле. Прощайте».

Он подождал на площадке, пока шаги его посетителя не спустились вниз и не дошли до двери подъезда. Она открылась и закрылась, и потом со звуком пинка погас автоматический свет на лестнице. >>>

[Строка 287: Напеваешь, укладывая](#)

Карточка (двадцать четвертая) с этим текстом (строки [287–299](#)) помечена 7 июля, и под этой датой я нахожу в моей записной книжечке следующую запись: «Доктор Аллерт, 3.30 пополудни». Испытывая легкую нервозность, как большинство людей перед посещением врача, я решил купить по дороге какое-нибудь успокоительное средство, чтобы не дать учащенному пульсу ввести в заблуждение доверчивую науку. Я нашел капли, которые хотел, в аптеке же принял ароматное питье и как раз выходил, когда заметил Шейдов, покидающих соседний магазин. Она несла новый чемодан. Ужасная мысль, что они, пожалуй, уезжают на летние каникулы, уничтожила действие лекарства, которое я только что принял. Так привыкаешь к тому, что чужая жизнь протекает рядом с твоей собственной, что неожиданный поворот параллельного тебе сателлита вызывает чувство оштолбенения, пустоты и несправедливости. И главное, он еще не кончил «моей» поэмы!

«Собираетесь в путешествие?» — спросил я, улыбаясь и указывая на чемодан.

Сибилла приподняла его за уши, как зайца, и осмотрела моими глазами.

«Да, в конце месяца, — сказала она. — Как только Джон покончит со своей работой».

(Поэма!)

«А куда, позвольте узнать?» (Поворачиваясь к Джону.)

Г-н Шейд взглянул на г-жу Шейд, и она ответила за него со своей обычной бесцеремонной манерой, что они еще не знают наверно — может быть, в Вайоминг, или Юту, или Монтану, и возможно, что снимут домик где-нибудь на высоте 6000–7000 футов.

«Среди лупины и осин», — степенно сказал поэт (создавая сцену в воображении).

Я начал высчитывать вслух высоту в метрах, которую считал слишком большой для сердца Джона, но Сибилла потянула его за рукав, напоминая, что им надо еще кое-что купить, и я был покинут на высоте примерно в 2000 метров, с отдающей валерьянкой отрыжкой.

Но временами чернокрылая судьба выказывает чудесную предусмотрительность! Десятью минутами позже доктор А., лечивший также и Шейда, рассказал мне с вялыми подробностями, что Шейды сняли маленькое ранчо у своих друзей, уезжающих в другое место, в Сидарне, Ютана, на границе Айдоминга. От доктора я перепорхнул в бюро путешествий, получил карты и брошюры, изучил их, вычитал, что на горных склонах над Сидарной имеются две или три группы домиков, спешно послал заказ в Сидарнский почтамт и несколькими днями позже снял на август месяц нечто напоминавшее на присланных мне снимках помесь мужицкой избы и альпийского убежища, но с кафельной ванной, и ценой дороже, чем мой замок в Аппалачии. Ни Шейды, ни я не проронили ни слова о нашем летнем адресе, но я знал, а они нет, что он был один и тот же. Чем больше я кипел из-за явного желания Сибиллы скрыть его от меня, тем слаще было предвкушение моего внезапного появления из-за валуна в тирольском наряде и растерянной, но довольной улыбки Джона. В течение этих двух недель, пока я позволял моим демонам переполнять через край мое магическое зеркало этими розовыми и лиловатыми утесами, и черным можжевельником, и вьющимися дорогами, и порослями полыни, переходящими в обыкновенную траву, и сочными голубыми цветами, и смертельно бледными осинами, и бесконечной чередой Кинботов в зеленых шортах, встречающих целую антологию поэтов, и целую Лысую гору их жен, я, кажется, допустил какую-то роковую ошибку в моих заклинаниях, потому что горный склон сух и уныл, а запущенное ранчо Херли лишено всяких признаков жизни. >>>

[Строка 293: Она](#)

Хэйзель Шейд, дочь поэта, родилась в 1934 году, умерла в 1957 (см. примечания к строкам [230](#) и [347](#)). >>>

[Строка 316: Весенние белянки появились в мае в наших лесах](#)

Откровенно говоря, я не уверен в том, что это значит. В моем словаре «toothwort» определяется как «сорт кресса», а «белянка» — как «любая порода чисто-белых животных или один из родов лепидоптеры». Мало проку и от отмеченного на поле варианта:

В лесах появились в мае виргинийские белянки.

Фольклорные персонажи, что ли? Феи? Или бабочки-капустницы? >>>

[Строка 319: Лесную утку](#)

Прелестный образ. Лесная утка, богато окрашенная птица — изумрудная, аметистовая, сердоликовая, с черными и белыми отметинами, — несравненно красивее сильно перехваленного лебедя, змеевидного гуся с грязной шеей из желтоватого плюша и черными резиновыми лапами ныряльщика.

Между прочим, народная номенклатура американских животных отражает простой утилитарный ум невежественных пионеров и не приобрела еще патины наименований европейской фауны. >>>

[Строка 334: Не заедет за ней](#)

«Заедет ли он когда-нибудь за мной?» — гадал я, бывало все ожидая, ожидая в иные янтарно-розовые сумерки друга по пинг-понгу или же старого Джона Шейда. >>>

[Строка 347: В старом амбаре](#)

Этот амбар или, скорее, сарай, где в октябре 1956 года (за несколько месяцев до смерти Хэйзель Шейд) имели место «некие явления», принадлежал Полю Хентцнеру, эксцентричному фермеру немецкого происхождения с такими старомодными «хобби», как таксидермия и собирание трав. Благодаря странной игре атавизма он был (по словам Шейда, который любил говорить о нем, — то были единственные моменты, между прочим, когда мой милый старый друг становился чуть-чуть нудным) возвратным звеном к «любопытным немцам», которые три

столетия назад были отцами первых великих натуралистов. Хотя по академическим нормам он был человек необразованный, без настоящего знания о вещах, отдаленных в пространстве или во времени, в нем было что-то красочное и черноземное, нравившееся Джону Шейду гораздо больше, чем провинциальная изысканность английского отделения. Он, такой разборчивый при выборе товарищей по прогулкам, любил каждый второй вечер бродить с сухопарым степенным немцем вверх по лесной тропе до Дальвича и по полям своего знакомца. Всегда радуясь точному слову, он уважал Хентцнера за знание «названий предметов» — некоторые из этих названий были, наверно, местные искажения или германизмы или просто выдумка старого пройдохи.

Теперь он гулял с другим спутником. Как ясно я помню один совершенный вечер, когда мой друг так и искрился островами, перевертышами, анекдотами, которые я доблестно парировал рассказами о Земле и спасении на волосок от гибели! Пока мы огибали Дальвичский лес, он прервал меня, чтобы указать на природный грот среди мшистых скал у тропы, под цветущим кизилом. На этом самом месте бравый фермер неизменно останавливался, а однажды, когда их сопровождал его маленький сын, этот последний, семена рядом с ними, указал пальцем и пояснительно сообщил: «Тут папа писает». Другой, менее бессмысленный рассказ ожидал меня на вершине холма, где квадратный участок, заполненный кипреем, молочаем и репейником и полный бабочек, резко отличался от окружавшего его со всех сторон золотарника. После того что жена Хентцнера бросила его (около 1950 года), взяв с собою ребенка, он продал свою ферму (замещенную теперь кинематографом на открытом воздухе) и переехал в город; но в летние ночи он приносил спальный мешок в амбар, стоявший в дальнем конце все еще принадлежавшей ему земли, и там он однажды скончался.

Этот-то амбар и стоял раньше на заросшем сорными травами участке, в который Шейд тыкал любимой тростью тетушки Мод. Как-то субботним вечером молодой студент, прислуживавший в гостинице на кампусе, и местная гулящая девчонка зашли туда по какой-то надобности и болтали там либо дремали, как вдруг были насмерть испуганы треском и перелетающими огнями, обратившими их в беспорядочное бегство. Никому, в сущности, не было дела, что именно обратило их в бегство — было ли то негодующее привидение или отвергнутый обожатель. Но «Вордсмитская газета» («старейшая студенческая газета в США») ухватилась за этот инцидент и принялась его трепать, как озорной щенок. Место происшествия посетило несколько самозванных психиатрических

исследователей, и вся эта история так явно превратилась в студенческую проказу с участием самых отъявленных колледжских озорников, что Шейд пожаловался властям, в итоге чего бесполезный амбар был снесен как опасный в отношении пожара.

Я, однако, получил от Джейн П. много совершенно иной и куда более патетичной информации, которая объяснила мне, почему мой друг нашел нужным угостить меня рассказом о банальном студенческом озорстве, но также заставило меня пожалеть, что я помешал ему дойти до той точки, к которой он так путано и смущенно подходил (ибо, как я сказал в одном из предшествующих примечаний, он избегал упоминания о своей покойной дочери), заполнив благоприятную паузу удивительным эпизодом из истории Онхавского университета. Этот эпизод имел место в 1876 году нашей эры. Но вернемся к Хэйзель Шейд. Она решила, что хочет сама исследовать эти «явления» для сочинения («на любую тему»), заданного в курсе психологии хитрым профессором, собиравшим материал по «Автоневрологическим образцам мышления среди американских университетских студентов». Ее родители разрешили ей ночное посещение амбара только при условии, что Джейн П., считавшаяся столпом благонадежности, будет ее сопровождать. Едва они там расположились, как зарядившая на всю ночь гроза окружила их убежище такими театральными завываниями и вспышками, что сделала невозможным наблюдение за какими бы то ни было звуками и огнями внутри. Хэйзель не сдавалась и несколькими днями позже попросила Джейн пойти с ней опять, но Джейн не могла. Она говорила мне, что предложила заместить себя близнецами Уайт (милые мальчики из студенческого клуба, приемлемые для Шейдов). Но Хэйзель категорически отвергла это предложение и после ссоры с родителями взяла свой карманный фонарик и записную книжку и отправилась одна. Легко себе представить, как боялись Шейды рецидива неприятностей с домовым, но неизменно мудрый доктор Саттон заверил их — на каком основании, не могу сказать, — что случаи, когда одно и то же лицо подвергалось бы тем же припадкам по прошествии шести лет, фактически неизвестны.

Джейн позволила мне списать несколько заметок Хэйзель с машинописи, основанной на записях, сделанных на месте.

10 ч. 14 м. пополудни. Начало исследования.

10 ч. 23 м. Бессвязные скребущие звуки.

10 ч. 25 м. Кружок бледного света величиной с маленькую круглую салфеточку скользит по темным стенам, заколоченным

досками окнам и полу; переместился; помедлил тут и там, танцуя вверх и вниз; как будто ожидает, дразня и играя, атаки, которой можно избежать. Исчез.

10 ч. 37 м. Вернулся.

Заметки занимают несколько страниц, но по очевидным причинам я должен отказаться от того, чтобы привести их полностью в этом комментарии. Опять были долгие паузы и «царапание и поскребывание», и возвращение светящегося кружка. Она заговорила с ним. В ответ на какой-нибудь, с его точки зрения, упоительно-глупый вопрос («ты болотный огонек?») он метался взад и вперед в экстазе отрицания, а когда хотел дать серьезный ответ на серьезный вопрос («ты покойник?»), медленно поднимался, как бы набирая высоту для веского утвердительного падения. В продолжение недолгого времени он реагировал на азбуку, читавшуюся ею вслух, оставаясь на месте, пока не называлась нужная буква, на которой он совершал краткий прыжок одобрения. Но прыжки становились все апатичнее, и после того, что два-три слова были медленно записаны, кружок ослабел, как усталый ребенок, и наконец уполз в щель, из которой внезапно выскочил с преувеличенным увлечением и стал вертеться по стенам в нетерпеливом стремлении возобновить игру. Куча обрывков слов и бессмысленных слогов, которые ей удалось в конце концов набрать, вышла в ее старательных заметках в виде короткой строки простых сцепленных букв. Я переписываю ее:

пада ата и не ланта неди огол варта тата астр трах пере патад
ано улок сказ

В своих «Заметках» наблюдательница сообщает, что ей пришлось прочесть алфавит — или, по крайней мере, начать его читать (буква «а», к счастью, преобладает) — восемьдесят раз, но из них 17 не дали никакого результата. Словоразделение, основанное на таких различных интервалах, поневоле должно быть несколько произвольным; кое-что из этой галиматии может быть перегруппировано в другие лексические единицы, не прибавляя смысла (например, «талант», «лава», «страх»). Амбарное привидение как будто изъяснялось со спастическим затруднением, следствием апоплексии или полупробуждения от полусна, рассеянного мечом света на потолке, военной катастрофой с космическими последствиями, которые не может отчетливо выразить толстый непослушный язык. И тут нам бы тоже, может быть, захотелось прервать

расспросы читателя или товарища по ложу возвращением в блаженное забвение — если бы не дьявольская сила, побуждающая нас искать тайный узор в этой абракадабре,

⁸¹² Какое-то звено-зерно, какой-то

⁸¹³ Связующий узор в игре

Я ненавижу такие игры, они вызывают у меня биение в висках с чудовищной болью, но я выдержал и без конца корпел, с бесконечным терпением и отвращением комментатора, над искалеченными слогами в отчете Хэйзель, ища хоть малейшего указания на судьбу бедной девушки. Я не нашел ни единого намека. Ни призрак старого Хентцнера, ни игрушечный фонарик скрытого в засаде бездельника, ни ее собственная изобретательная истеричность не выражали тут ровно ничего, что могло бы сойти даже за отдаленное предупреждение или намек на обстоятельства ее близкой смерти.

Отчет Хэйзель мог бы быть длиннее, если бы — как она рассказывала Джейн — возобновившееся «поскребывание» вдруг не ударило по ее усталым нервам. Кружок света, до тех пор соблюдавший расстояние, метнулся враждебно к ее ногам, так что она чуть не упала с деревянного чурбана, служившего ей сиденьем. Ее осенило подавляющее сознание, что она находится наедине с необъяснимым и, может быть, очень дурным существом, и с дрожью, которая чуть не вывихнула ей лопатки, она поспешила вернуться под небесную сень звездной ночи. Знакомая тропинка с успокоительной жестикуляцией и другими мелкими знаками утешения (одинокий сверчок, одинокий фонарь) проводила ее домой. Она остановилась и испустила вопль ужаса: группа темных и светлых пятен, слившихся в фантастическую форму, поднялась с садовой скамьи, до которой как раз дошел свет с крыльца. Я не имею понятия, какова средняя температура в октябрьскую ночь в Нью-Уае, — удивительно, однако, что в данном случае тревога отца оказалась достаточно сильной, чтобы заставить его дежурить на воздухе в пижаме и неопишемом «купальном халате», который предстояло заменить моему подарку ко дню рождения (см. примечание к строке [181](#)).

В сказках всегда бывает «три ночи», и в этой грустной сказке также была третья ночь. На этот раз она захотела, чтобы родители увидели с нею «говорящий огонек». Протокол этой третьей амбарной ночи не сохранился, но я предлагаю читателю следующую сцену, которая, мне кажется, не может

быть слишком далека от действительности:

ЗАЧАРОВАННЫЙ АМБАР

Кромешная тьма. Слышно, как ОТЕЦ, МАТЬ и ДОЧЬ тихо дышат в разных углах. Проходит три минуты.

ОТЕЦ (*Матери*). Тебе там удобно?

МАТЬ. Угу. Эти мешки из-под картофеля, чудные...

ДОЧЬ (*с силой паровоза*). Ш-ш-ш!

Пятнадцать минут проходит в молчании. В темноте глаз начинает различать там и сям синеватые прорезы ночи и одну звезду.

МАТЬ. Это был папин животик — не привидение.

ДОЧЬ (*кривляясь*). Очень смешно.

Проходит еще пятнадцать минут. Отец, мысленно погруженный в работу, выпускает нейтральный вздох.

ДОЧЬ. Это нужно — все время вздыхать?

Проходит пятнадцать минут.

МАТЬ. Если я всхрапну, пусть привидение меня ущипнет.

ДОЧЬ (*с подчеркнутым самообладанием*). Мама, пожалуйста. Пожалуйста, мама!

Отец прочищает горло, но решает ничего не говорить. Проходит еще двенадцать минут.

МАТЬ. А кто-нибудь подумал, что на леднике еще много пышек с кремом?

Эта капля переполняет чашу.

ДОЧЬ (*взрывается*). Почему ты все **портишь?** Почему тебе **всегда** нужно все испортить? Почему нельзя оставить людей **в покое?** Не трогай меня!

ОТЕЦ. Послушай, Хэйзель, мама не скажет больше ни слова, и мы будем продолжать, но мы уже час сидим здесь, и становится поздно.

Проходит две минуты. Жизнь безнадежна, загробная жизнь бессердечна. Слышно, как Хэйзель тихонько плачет впотьмах. Джон Шейд зажигает фонарь. Сибилла зажигает папиросу. Заседание закрыто.

Огонек больше не возвращался, но он снова заблестел в коротком

стихотворении «Природа электричества», которое Джон Шейд послал в нью-йоркский журнал «Денди и Бабочка» в 1958 году, но которое появилось только после его смерти:

Покойники, кроткие покойники — кто знает? —
Живут, быть может, в вольфрамовых нитях,
И на моем ночном столике горит
Умершая невеста другого.

И может быть, Шекспир затопляет целый
Город бесчисленными огнями,
И пламенная душа Шелли
Завлекает бледных ночниц в беззвездные ночи.

Уличные фонари пронумерованы, и возможно,
Что номер девятьсот девяносто девятый
(столь ярко светящий сквозь столь зеленое дерево) —
Это один из моих старых друзей.

А когда над мертвенно-бледной равниной
Играет вилка молнии, в ней, может быть, живут
Мучения какого-нибудь Тамерлана,
Рев тиранов, раздираемых в аду.

Наука, кстати, говорит нам, что Земля не только распалась бы на части, но исчезла бы как призрак, если бы из мира вдруг пропало электричество.
[>>>](#)

[Строка 347: Она оборачивала слова](#)

Один из примеров, приводимых ее отцом, странен. Я совершенно уверен, что это я однажды, когда мы обсуждали «зеркальные слова», заметил (и я помню изумленное выражение на лице поэта), что «колесо», прочитанное наоборот, дает «оселок», а «T. S. Eliot» — «toilest»^[16]. Впрочем, правда и то, что Хэйзел Шейд была кое в чем похожа на меня.
[>>>](#)

[Строки 367–370: now and then \(временами\) — pelt \(перо\), again \(опять\) — explain \(объяснять\)](#)

В разговоре Джон Шейд как добрый американец произносил «again» в рифму с «rep», а не с «explain». Любопытно соседство этих рифм здесь. >>>

[Строка 376: Стихи](#)

Мне кажется, я могу догадаться (в моей лишенной книг горной пещере), какие стихи имеются в виду, но, не справившись, не хотел бы называть их автора. Вообще же я скорблю о злобных выпадах моего друга против самых знаменитых из современных поэтов. >>>

[Строки 376–377: Названные в курсе английской литературы](#)

В черновике заменено более значительным — и более благозвучным вариантом:

считались главой нашего отделения

Хотя можно предположить, что здесь имеется в виду человек (кто бы он ни был), занимавший эту должность в то время, когда Хэйзель Шейд была студенткой, читателя нельзя винить, если он отнесет это к Полю Х., хорошему администратору, но ничтожному ученому, возглавлявшему английское отделение Вордсмитского колледжа с 1957 года. Мы встречались время от времени (см. [Предисловие](#) и примечание к строке [894](#)), но не часто. Главой отделения, к которому принадлежал я, был профессор Натточдаг — «Неточка», как называли мы этого славного человека. Конечно, мигрень, так мучившая меня последнее время, что однажды мне пришлось уйти посередине концерта, на котором я как раз сидел рядом с Полем Х., не должна бы была касаться чужого человека. По-видимому, однако, касалась, и даже очень. Он наблюдал за мной и немедленно после кончины Джона Шейда распространил mimeографированное письмо, начинавшееся так:

«Некоторые члены английского отделения весьма обеспокоены судьбой рукописи поэмы, или частей поэмы, оставшихся после покойного Джона Шейда. Эта рукопись попала в руки человека, который не только не обладает квалификацией для того, чтобы ее редактировать, так как принадлежит к другому отделению, но который также, как известно, страдает умственным расстройством. Думается, что некоторые юридические меры...» и т. д.

«Юридические меры», конечно, могут быть приняты и кое-кем

другим. Но неважно; справедливый гнев умеряется удовлетворением от предвкушения того, что этот «*engagé*» джентльмен будет менее обеспокоен судьбой поэмы моего друга, когда прочтет комментируемое здесь место. Саути любил жареную крысу на ужин, что особенно смешно, поскольку крысы сожрали его епископа. >>>

[Строка 384: Книгу о Попе](#)

Заглавие этого произведения, которое можно найти в любой университетской библиотеке («Благословенный сверх меры»)^[17], — фраза, заимствованная из строчки Попа, которую я помню, но не могу точно процитировать. Эта книга главным образом посвящена технике Попа, но она содержит также веские замечания о «стилизированных нравах его эпохи». >>>

[Строки 385–386: Джейн Дин, Пит Дин](#)

Прозрачные псевдонимы двух ни в чем не повинных людей. Я посетил Джейн Провост, проезжая через Чикаго в августе. Я застал ее все еще девицей. Она показала мне забавные фотографии своего двоюродного брата Питера и его друзей. Она мне сказала — и у меня нет причины не верить ее словам, — что Питер Провост (с которым мне очень хотелось познакомиться, но который, увы, торговал автомобилями в Детройте), может быть, капельку преувеличил, но, конечно, ничего не выдумал, когда объяснил, что должен был сдержать обещание, данное одному из ближайших друзей по студенческому союзу, великолепному молодому атлету, чья «гирлянда», надо надеяться, не будет «короче девичьей»^[18]. К таким обязательствам нельзя относиться легкомысленно или пренебрежительно. Джейн сказала, что после трагедии она пыталась говорить с Шейдами, а позже написала Сибилле длинное письмо, на которое не получила ответа. Я сказал, немножко щегольнув «слэнгом», которым я в последнее время начал овладевать: «Вы это говорите мне!»^[19] >>>

[Строки 403–404: Восемь пятнадцать. \(Тут время раздвоилось.\)](#)

Отсюда до строки 474 чередуются в синхронном порядке две темы: телевидение в гостиной Шейдов и как бы проигрывание по записи (уже намеченных раньше) поступков Хэйзель с того момента, когда Питер встретил ту, с которой должен был провести вечер по заочному уговору (406–407), и извинился, что вынужден спешно уехать (426–428), до

автобусной поездки Хэйзель ([445–447](#) и [457–460](#)), окончившейся тем, что сторож нашел ее тело ([474–477](#)). Я выделил тему Хэйзель курсивом.

Все это представляется мне слишком искусственным и растянутым, особенно потому, что прием синхронизации уже насмерть заезжен Флобером и Джойсом. В прочих отношениях разработка темы прелестна.
[>>>](#)

[Строка 408: Мужская рука](#)

10 июля, в день, когда Джон Шейд это написал, — а возможно, и в ту самую минуту, когда он начал свою третью картотечную карточку — строками [406–416](#), — Градус ехал в наемном автомобиле из Женевы в Лэ, где, как ему было известно, Одон отдыхал после окончания съемок своего фильма на вилле старого друга — американца Джозефа С. Лэвендера (это имя происходит от *laundry* — прачечная, а не от *laund* — прогалина). Наш блестящий прожектор слышал, что Джо Лэвендер собирает художественные фотографии типа, который по-французски зовется *ombrioles*. Но ему не было сказано, что именно они из себя представляют, и он решил, что это «абажуры с ландшафтами». Его кретинский план состоял в том, чтобы представиться агентом Страсбургского торговца предметами искусства, а затем, за выпивкой с Лэвендером и его гостем, постараться выудить намек на местопребывание короля. Он упустил из виду, что Дональд Одон, с его абсолютным чутьем на подобного рода вещи, немедленно заключит по манере Градуса выставлять пустую ладонь перед рукопожатием или слегка кивать после каждого глотка, а также по другим особенным привычкам (которых сам Градус в людях не замечал, но которые заимствовал у них), что, где бы Градус ни родился, он несомненно прожил немало времени среди низшего земблянского сословия, а потому был шпионом или хуже. Градус также не имел понятия о том, что *ombrioles*, собираемые Лэвендером (я уверен, что Джо не обидится на меня за эту нескромность), сочетали в себе изысканную красоту с весьма непристойным сюжетным материалом — наготой попеременно с фиговыми деревьями, гипертрофией пыла, мягко оттененными задними щеками, а также россыпью женских прелестей.

Из своего женевского отеля Градус попытался снестись с Лэвендером по телефону, но ему ответили, что звонить следует не раньше полудня. К полудню Градус был уже в пути и позвонил снова, на этот раз из Монтрё. Лэвендеру уже было доложено о звонке, и он предлагал г-ну Дегрэ прийти к чаю. Он позавтракал в кафе на озере, погулял, приценился к маленькому хрустальному жирафу в сувенирной лавке, купил газету, прочитал ее на

скамье и поехал дальше. В окрестностях Лэ он заблудился среди крутых извилистых улочек. Остановившись над каким-то виноградником у приблизительных ворот недостроенного дома, он увидел по направлению указательных пальцев трех каменщиков красную крышу Лэвендеровой виллы высоко среди поднимающейся зелени на противоположной стороне улицы. Он решил оставить машину и срезать путь, как ему казалось, поднявшись по каменным ступеням. Пока он тащился по огражденному стенами проходу, не спуская глаз с заячьей лапы тополя, то заслонявшей красную крышу на верхушке подъема, то открывавшей ее, солнце нашло слабую точку среди дождевых туч, и в следующий миг рваная голубая дыра в них обросла светлой каймой. Он почувствовал тяжесть и запах своего нового коричневого костюма, купленного в копенгагенском магазине и уже измятого. Пыхтя, поглядывая на ручные часы и обмахиваясь тоже новой фетровой шляпой, он добрался наконец до поперечного продолжения петляющей дороги, которую он оставил внизу. Он пересек ее, прошел через калитку и вверх по виляющей, посыпанной гравием дорожке и очутился перед виллой Лэвендера. Ее название «Либитина» было выведено прописью над одним из забранных решеткой северных окон — буквы были из черной проволоки, а точки над каждым из трех «i» были остроумно изображены осмоленными головками побеленных гвоздей, вбитых в белый фасад. Такое устройство, так же как и решетки на северных окнах, Градус уже замечал в швейцарских виллах, но его иммунитет к классическим источникам лишил его удовольствия, которое он мог бы получить от дани, принесенной мрачной жовиальностью Лэвендера римской богине трупов и могил. Другое отвлекло его внимание: из углового окна доносились фортепианные звуки, громовая музыка, по какой-то причине заставившая его, как он рассказывал мне позднее, допустить возможность, до сих пор не приходившую ему в голову, и побудившая его руку метнуться к заднему карману, ибо он приготовился встретить не Лэвендера и не Одона, а талантливого исполнителя гимнов Карла Возлюбленного. Музыка прекратилась, пока Градус, озадаченный прихотливой формой дома, медлил в нерешительности перед застекленным крыльцом. Из зеленой боковой двери появился пожилой лакей в зеленом и провел его к другому входу. Играя в непринужденность (игра, нисколько не улучшенная старательными репетициями), Градус спросил его сперва на посредственном французском, затем на еще худшем английском и, наконец, на сносном немецком, много ли гостей находится в доме, но тот только улыбнулся и поклоном направил его в музыкальную комнату. Музыкант исчез. Напоминающее арфу гудение еще исходило от рояля, на котором стояла пара пляжные сандалий, как на

краю кувшинкового пруда. С приоконного сиденья поднялась чопорная, сухопарая дама в сверкающем стеклярусом платье и представилась как гувернантка племянника г-на Лэвендера. Градус упомянул о своем нетерпении увидеть сенсационную коллекцию Лэвендера — это было удачное определение изображений любовных сцен в садах, но гувернантка (которую король, к ее удовольствию, всегда называл в глаза мадемуазель Бэль вместо мадемуазель Бо) поспешила признаться, что ничего не знает о «хобби» и коллекциях своего работодателя, и предложила гостю осмотреть сад. «Гордон покажет вам свои любимые цветы, — сказала она и крикнула в направлении соседней комнаты: — Гордон!» Оттуда довольно неохотно вышел стройный, но крепкий на вид мальчик лет четырнадцати-пятнадцати, окрашенный солнцем в персиковый цвет. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки в леопардовом крапе. Его коротко остриженные волосы были на один оттенок светлее его кожи. Его прелестное бестиальное лицо выражало одновременно капризность и хитрость. Наш заговорщик, поглощенный собственными мыслями, не заметил ни одной из этих подробностей и попросту получил общее впечатление неприличия. «Гордон — музыкальный вундеркинд», — сказала мисс Бо, и мальчика передернуло. «Гордон, покажи этому господину сад». Мальчик согласился, добавив, что он заодно окунется, если никто не возражает. Он надел свои сандалии и вышел первый. Сквозь свет и тень прошла эта странная пара: грациозный мальчик с обвитыми плющом бедрами и потрепанный убийца в грошовом коричневом костюме, со сложенной газетой, торчавшей из левого кармана пиджака.

«Это грот, — сказал Гордон. — Однажды я провел здесь ночь с товарищем». Градус скользнул безразличным взглядом по мшистому углублению, где виднелся надувной матрац с темным пятном на оранжевом нейлоне. Мальчик приложил жадные губы к трубе с ключевой водой и вытер мокрые руки о свои черные плавки. Градус взглянул на часы. Они двинулись дальше. «Вы еще ничего не видали», — сказал Гордон.

Хотя дом располагал по крайней мере полудюжиной ватерклозетов, г-н Лэвендер в знак нежной памяти о делаварской дедовской ферме установил под самым высоким тополем своего великолепного сада деревенский нужник, и для избранных гостей, чье чувство юмора могло это выдержать, он снимал с крючка в уютной близости камина бильярдной красиво вышитую подушку в форме сердца, чтобы брать с собой на трон.

Дверь была открыта, и по внутренней стороне мальчишеская рука нацарапала углем: «Здесь был король». «Это отличная визитная карточка, — с искусственным смехом заметил Градус. — Кстати, где он

теперь, этот король?»

«Кто знает, — сказал мальчик, хлопнув себя по бедрам в белых теннисных шортах. — Это было в прошлом году. Я думаю, он направился на *Côte d'Azur*, но я не уверен».

Мой дорогой Гордон солгал, что с его стороны было очень мило. Он совершенно точно знал, что его высокого друга уже не было в Европе; но дорогому Гордону не следовало упоминать о Ривьере, что было правдой и что заставило Градуса, который знал, что у королевы Дизы там палаццо, мысленно хлопнуть себя по лбу.

Так они дошли до плавательного бассейна. Градус в глубоком раздумье опустил на холщовый стульчик. Ему следовало немедленно телеграфировать в штаб-квартиру. Незачем было длить этот визит. С другой стороны, внезапный отъезд мог показаться подозрительным. Стульчик под ним скрипнул, и он огляделся, ища другого сиденья. Юный фавн уже закрыл глаза и вытянулся навзничь на мраморном краю бассейна. Его тарзановские шорты были отброшены на траву. Градус с отвращением плюнул и пошел назад к дому. Одновременно пожилой слуга сбежал по ступеням террасы, чтобы сказать ему на трех языках, что его просят к телефону. Г-н Лэвендер, как оказалось, не мог поспеть к чаю и хотел бы поговорить с г-ном Дегрэ. После обмена приветствиями наступила пауза, и Лэвендер спросил: «А не вы ли шпик от этого грязного французского листка?» — «Не что?» — сказал Градус, произнося это слово так, как оно пишется. «Смердящий настырный сукин сын?» Градус повесил трубку.

Он вернулся к машине и поехал дальше вверх по склону. С этой же излучины дороги, в туманный и лучезарный сентябрьский день с диагональю первой серебряной нити между двух балясин, король смотрел на искристую зыбь Женевского озера и заметил ее антифонный отклик: поблескивание фольговых полос для отпугивания птиц в виноградниках на склоне холма. Стоя здесь и угрюмо глядя на красные черепицы крыши Лэвендеровой виллы, уютно примостившейся под защитой деревьев, Градус мог с некоторой помощью лучше осведомленных лиц разглядеть кусочек газона и часть бассейна и даже различить пару сандалий на его мраморном краю — все, что оставалось от Нарцисса. Думается, что он рассуждал, не следует ли ему немного задержаться в окрестностях, чтобы удостовериться, что его не надули. Издалека снизу доносилось лязганье и позвякивание работающих каменщиков, и внезапно поезд прошел через сады, и геральдическая бабочка *volant en arrière*, с червонной перевязью на черном, перелетела через каменный парапет, и Джон Шейд взял новую карточку. >>>

[Строка 413: С пируэтом выпорхнула нимфа](#)

В черновике легче и музыкальнее: Нимфетка совершила пируэт >>>

[Строки 417–421: Я поднялся наверх... и т. д.](#)

Черновик содержит интересный вариант:

Я бежал наверх при первом квохтаньи джаза
И стал править гранку: «такие стихи, как
„Взгляни на пляшущего нищего, на поющего калеку,
В героях пьяницу, безумца в королях“
Отдают тем бессердечным веком».
Затем послышался твой зов...

Это, конечно, из «Рассуждения о человеке» Попа. Не знаешь, чему удивляться больше: тому ли, что Поп не сохранил предлога («На») в начале четвертой строки, или же тому, что Шейд заменил эти прекрасные строки куда более вялым окончательным текстом. Или же он боялся оскорбить настоящего короля? Обдумывая недавнее прошлое, я никак не мог задним числом установить, точно ли он «разгадал» мой секрет, как он однажды заметил (см. примечание к строке [991](#)). >>>

[Строка 426: Позади \(На один топкий шаг\) Фроста.](#)

Имеется в виду, конечно, Роберт Фрост (р. 1874 г.). Этот стих представляет собой одну из тех комбинаций каламбура и метафоры, которые так удаются нашему поэту. В температурных графиках поэзии высокое есть низкое, а низкое — высокое, так что точка, в которой происходит полная кристаллизация, лежит выше тепловатого достижения. Вот что фактически говорит наш скромный поэт об атмосфере своей собственной славы.

Фрост является автором одного из величайших коротких стихотворений на английском языке, стихотворения, которое каждый американский мальчик знает наизусть, — о зимнем лесе, унылых сумерках и упряжных колокольчиках, кротко увещательных в тусклом темнеющем воздухе, и этот дивный, берущий за душу конец — две заключительные строки, состоящие из одинаковых слогов, но из которых одна — личная и конкретная, а другая — метафизическая и космическая. Я не решаюсь цитировать по памяти, чтоб не переместить хотя бы одно драгоценное

маленькое слово.

При всем своем блестящем даровании Джон Шейд никогда не мог заставить так осесть свои снежинки. >>>

[Строки 430–431: Мартовской ночи, где издалека фары](#)

Заметьте, как изящно в этом месте тема телевидения сливается с темой девушки (см. строку [445](#), вновь фары из тумана...) >>>

[Строки 433–434: К... морю, которое мы посетили в тридцать третьем году](#)

В 1933 году принцу Карлу было восемнадцать лет, а Дизе, герцогине Больстонской, — пять. Упоминается Ницца (см. также строку [240](#)), где Шейды провели первую часть того года, но тут опять, как и в отношении столь многих других захватывающих сторон прошлого моего друга, я не располагаю подробностями (а кто виноват, дорогая С. Ш.?) и не могу сказать, дошли ли они или нет, гуляя по берегу, до Турецкого мыса и увидели ли мимоходом с окаймленной олеандрами улочки, обычно открытой туристам, виллу в итальянском стиле, построенную дедом королевы Дизы в 1908 году и названную тогда *Villa Paradiso* или, по-земблянски, *Villa Paradisa*, но впоследствии в честь его любимой внучки потерявшую первую половину названия. Там она проводила летние месяцы первые пятнадцать лет своей жизни и туда же вернулась в 1953 году «по состоянию здоровья» (как было внушено народу), а на самом деле — королевой-изгнанницей; и там она живет и поныне.

Когда разразилась земблянская революция (1 мая 1958 года), она написала королю безумное письмо на ученическом английском языке, убеждая его приехать и оставаться у нее, пока положение не разъяснится. Письмо было перехвачено Онхавской полицией, переведено на земблянский язык индусским членом экстремистской партии, а затем прочитано вслух царственному узнику в нарочито ироническом тоне комедийным комендантом Дворца. Письмо содержало лишь одну — слава Богу, лишь одну — сентиментальную фразу: «Я хочу, чтобы ты знал: как бы ты ни оскорблял меня, ты не можешь оскорбить мою любовь», и эта фраза (если перевести ее обратно с земблянского) выходила так: «Я хочу тебя и люблю, когда ты сечешь меня». Он прервал коменданта, назвав его скоморохом и мошенником и разругав всех присутствующих столь ужасно, что экстремистам пришлось решать на месте, расстрелять ли его немедленно или отдать ему оригинал письма.

В конце концов ему удалось сообщить ей, что он заключен во Дворце.

Доблестная Диза поспешно покинула Ривьеру и предприняла романтическую, но, к счастью, неудавшуюся попытку вернуться в Земблю. Если бы ей позволили высадиться, она была бы тотчас арестована, что отразилось бы и на побеге короля, удвоив его трудность. Письмо от карлистов, содержащее эти простые соображения, остановило ее в Стокгольме, и она полетела назад к своему насесту в отчаянии и ярости (главным образом, я думаю, потому, что сообщение это было передано ей через ее двоюродного брата, добрейшего Кюрди Буфа, которого она ненавидела). Прошло несколько недель, и вскоре она пришла в состояние еще худшего волнения из-за слухов, что ее муж может быть приговорен к смерти. Она снова покинула Турецкий мыс. Она поехала в Брюссель и наняла самолет для полета на север, когда пришло новое сообщение, на этот раз от Одона, о том, что король и он покинули Земблю и что ей следует спокойно вернуться на виллу «Диза» и там ждать дальнейших известий. Осенью того же года ей было сообщено Лэвендером, что к ней приедет человек, представитель ее мужа, чтобы обсудить некоторые деловые вопросы, касающиеся имущества, которым она и ее муж совместно владели за границей. Сидя на террасе под джакарандой, она как раз писала Лэвендеру безутешное письмо, когда высокий, стриженный, бородатый господин с букетом орхидей *Disa uniflora*, издали наблюдавший за ней, вошел к ней сквозь гирлянды теней. Она подняла глаза — и, конечно, никакие темные очки и никакой грим не могли ни на мгновение ее обмануть.

Со времени ее окончательного отъезда из Зембли он посетил ее два раза, последний раз два года назад, и за это время ее бледная темноволосая красота приобрела новое меланхолическое сияние зрелости. В Зембле, где большинство женщин веснушчатые блондинки, у нас есть поговорка «*belwif ivurkumpf wid snew ebanumf*» — «красивая женщина должна быть как роза ветров из слоновой кости с четырьмя частями из эбена». По этой-то четкой схеме природа и создала Дизу. Было и еще кое-что, понятное мною только после того, как я прочел или вернее, перечел «Бледный огонь», когда рассеялся перед моими глазами горячий, горький туман разочарования. Я говорю о строчках [261–267](#), в которых Шейд описывает свою жену. В то время, когда писался этот поэтический портрет, модель была в два раза старше королевы Дизы. Я хочу избежать вульгарности, касаясь этих деликатных предметов. Но остается тот факт, что шестидесятилетний Шейд придает здесь хорошо сохранившейся сверстнице тот эфирный и вечный облик, который она сохранила, или должна была сохранить, в его добром, благородном сердце. Любопытно тут то, что Диза в тридцать лет,

когда я видел ее в последний раз в сентябре 1958 года, странным образом походила — конечно, не на ту г-жу Шейд, которую я знал, а на идеализированный и стилизованный портрет, написанный поэтом в этих строках «Бледного огня». В действительности он был идеализирован и стилизован, лишь поскольку относился к старшей из двух женщин; в отношении королевы Дизы, какой она была в этот день на голубой террасе, он представлял собой прямое, неретушированное подобие. Верю, что читатель оценит странность этого, ибо если он не оценит ее, то нет смысла в писании стихов, или примечаний к стихам, или вообще чего бы то ни было.

Она казалась также спокойнее, чем раньше; ее самообладание возросло. При предыдущих встречах и в продолжение всей их супружеской жизни в Земле у нее бывали ужасные вспышки темперамента. Когда в первые годы их брака он думал справиться с этими вспышками и взрывами, пытаясь заставить ее взглянуть рационально на свою беду, он находил их очень раздражительными, но постепенно научился извлекать из них выгоду и приветствовал их, потому что они доставляли ему предлог избавляться от ее присутствия на все более длительные промежутки времени, не прося ее вернуться после того, как захлопывалась серия все более отдаленных дверей, или же сам удаляясь из дворца в какой-нибудь потаенный деревенский уголок.

В начале их бедственного брака он упорно, но тщетно пытался овладеть ею. Он сообщил ей, что никогда не был в любовной связи (что было совершенной правдой, поскольку для нее подразумеваемый объект мог иметь только одно значение), после чего он был принужден мириться с комическим положением, в котором ее покорная чистота непроизвольно повторяла приемы куртизанки со слишком молодым или слишком старым клиентом; он что-то сказал в этом смысле (главным образом, чтобы облегчить пытку), и она устроила чудовищную сцену. Он начинал себя приворотными зельями, но передние черты ее несчастного пола фатально его отталкивали. Однажды ночью, когда он попробовал тигровый чай и надежда вознеслась высоко, он совершил промах, попросив ее согласиться на один прием, а она совершила промах, объявив его противоестественным и отвратительным. Наконец он сказал ей, что его вывел из строя старый несчастный случай при верховой езде, но что морская поездка с товарищами и обильные морские купанья, наверное, восстановят его силы.

Незадолго до того она потеряла обоих родителей, и у нее не было надежного друга, к которому она могла бы обратиться за объяснением и советом, когда до нее дошли неизбежные слухи, — гордость не позволила

ей обсуждать их со своими фрейлинами, но она прочла кое-какие книги, узнала все, относящееся к нашим мужественным земблянским обычаям, и стала скрывать свое наивное горе под великолепной маской саркастической искушенности. Он поздравил ее с занятием такой позиции и торжественно поклялся, что отказался, или по крайней мере откажется, от привычек своей молодости, но всюду на его пути стояли навтыяжку мощные соблазны. Он поддавался им время от времени, потом через день, потом по нескольку раз в день — в особенности во время здорового режима Харфара, барона Шальксбора, феноменально наделенного, брутального молодца (чья фамилия — «ферма плута» — происходит, вероятнее всего, от «Шекспира»), Кюрди Буф (Curdy Buff) — как прозвали Харфара его поклонники — располагал огромным штатом акробатов и наездников без седла, и ситуация перешла все допустимые границы, так что Диза, неожиданно вернувшись из поездки в Швецию, застала дворец превращенным в цирк. Он опять обещал, опять пал и, несмотря на крайнюю осторожность, был опять избалован. В конце концов она удалилась на Ривьеру, предоставив ему забавляться с кучей сладкоголосых протеже в итонских воротничках, — привезенных из Англии.

Каковы же были чувства, которые он испытывал по отношению к Дизе? Дружественное безразличие и унылое уважение; даже при первом цветении их брака он не ощущал никакой нежности и никакого возбуждения. О жалости, о сердечном участии не могло быть и речи, он оставался как был, небрежным и бессердечным. Но во сне, и до и после разрыва, его сердце предлагало исключительные компенсации.

Его сны о ней были все более частыми и щемящими, куда более, чем это могло соответствовать его поверхностному чувству к ней. Эти сны случались, когда он меньше всего о ней думал; никак не связанные с ней тревоги принимали в его подсознательном мире ее образ, как битва или реформа становится в детской сказке чудо-птицей. Эти душераздирающие сны превращали серую прозу его чувства к ней в сильную и странную поэзию, постепенно утихающие волны которой вспыхивали и тревожили его в продолжение всего дня, воскрешая боль и яркость — потом только боль, потом только мгновенный отблеск боли, — но никак не изменяя его позиции в отношении настоящей Дизы.

Ее образ, вновь и вновь появлявшийся в его снах, то опасливо поднимающейся с далекого дивана, идущей на поиски посыльного, который, как говорили, только что прошел сквозь портьеры, принимал во внимание изменения моды; но Диза в платье, в котором он видел ее в лето взрыва на стеклянном заводе, или в прошлое воскресенье, или в любом

другом вестибюле времени, навсегда осталась такой, какой была в тот день, когда он впервые сказал ей, что не любит ее. Это случилось во время безнадежной поездки по Италии, в саду приозерной гостиницы — розы, черные араукарии, ржавые зеленоватые гортензии — безоблачным вечером, когда горы на дальнем берегу плыли в закатной дымке, и озеро было из персикового сиропа, равномерно подернутого голубизной, и заголовки газеты, лежавшей плоско на грязном дне близ каменистого берега, были совершенно ясны сквозь неглубокую прозрачную муть. И из-за того что, выслушав его, она опустилась на траву в невозможной позе, рассматривая стебелек и хмурясь, он тотчас взял свои слова обратно, — но этот удар оставил на зеркале непоправимую звездообразную трещину, и с тех пор ее образ в его снах был заражен памятью об этом признании, как какой-то болезнью или тайными следами хирургической операции, слишком интимной, чтобы быть названной.

Скорее сутью, чем фактической темой сна, было постоянное отрицание того, что он не любит ее. Сбившаяся ему любовь к ней превышала по эмоциональному тону духовной страсти и глубине все то, что он испытывал в часы существования на поверхности. Эта любовь была как непрестанное ломание рук, как блуждания души по бесконечному лабиринту безнадежности и раскаяния. В каком-то смысле это были любовные сны, ибо они были пропитаны нежностью, томительным желанием опустить голову к ней на колени и выплакать чудовищное прошлое. Они были до краев наполнены угнетающим сознанием ее молодости и беспомощности. Они были чище, чем его жизнь, поскольку плотское было в них связано не с нею, а с теми, с кем он изменял ей, — с Фринией с колючим подбородком, хорошенькой Тимандрой с бревном под передником, — но даже и так половая мерзость оставалась где-то далеко над затонувшим сокровищем и не имела никакого значения. Он видел, как к ней обращался туманный родственник, такой дальний, что был фактически лишен всяких черт. Она быстро прятала то, что держала, и протягивала для поцелуя выгнутую дугой руку. Он знал, что она только что нашла какой-то обличающий его предмет — кавалерийский сапог в его постели, — доказывавший, вне всякого сомнения, его неверность. Бисерные капли испарины выступали на ее бледном голом лбу, но ей нужно было слушать болтовню случайного гостя или направлять рабочего с лестницей, который, поочередно опуская и закидывая голову, нес эту лестницу в обнимку к разбитому окну. Можно было вынести — сильный, безжалостный сновидец мог бы вынести — сознание ее горя и гордости, но никто не мог бы вынести ее автоматической улыбки, когда она переходила от ужаса своего

открытия к банальностям, которые от нее требовались. Она отменяла иллюминацию, или обсуждала больничные койки со старшей сестрой, или просто заказывала завтрак на двоих в морской пещере, — и сквозь будничную простоту разговора, сквозь игру обворожительных жестов, которыми она всегда сопровождала иные готовые фразы, он, стонущий сновидец, различал смятение ее души и сознавал, что ее постигло отвратительное, незаслуженное, унижительное несчастье и что только долг этикета и ее непоколебимая доброта по отношению к безвинному третьему лицу дает ей силу улыбаться. Глядя на свет в ее лице, можно было предвидеть, что он через мгновение угаснет и сменится, как только посетитель уйдет, невыносимой легкой хмуростью, которую сновидец никогда не сможет забыть. Он вновь помогал ей встать на той же приозерной лужайке, где куски озера втискивались в промежутки вертикальных балясин, и вот уже он и она шли рядом по анонимной аллее, и он чувствовал, что она смотрит на него из угла легкой улыбки, но, когда он принуждал себя встретиться с этим вопросительным блеском, ее уже не было. Все успело измениться, все были счастливы. И ему было совершенно необходимо немедленно найти ее, чтобы сказать ей, что он ее обожает, но множество людей отделяло его от двери, и записки, доходившие до него, передаваемые из рук в руки, сообщали, что она несвободна, председательствует на открытии пожара, вышла замуж за американского дельца, что она превратилась в персонажа в романе, что она умерла.

Никакие угрызения такого рода не тревожили его теперь, когда он сидел на террасе ее виллы и рассказывал про свой удачный побег из дворца. Она с удовольствием слушала описание подземного прохода в театр и старалась вообразить занятное карабканье через горы, но эпизод с Гарх ей не понравился, как будто парадоксальным образом она бы предпочла, чтобы он испытал здоровое удовольствие с этой девкой. Она резко попросила его пропускать подобные отступления, и он отвесил ей легкий шуточный поклон. Но когда он заговорил о политическом положении (к экстремистскому правительству были только что прикомандированы в качестве иностранных советников два советских генерала), в ее глазах появилось знакомое отсутствующее выражение. Теперь, когда он благополучно выбрался из страны, весь голубой массив Зембли, от Эмблянской стрелки до Эмблемовой бухты, мог потонуть в море. Для нее было важнее, что он потерял в весе, чем то, что он потерял королевство. Она мельком справилась о регалиях; он открыл ей, в каком необычайном месте они были спрятаны, и она расплылась в девичьем смехе, чего с ней не бывало уже много лет. «Мне нужно обсудить кое-какие

дела, — сказал он. — И есть бумаги, которые ты должна подписать». Высоко на шпалерах, вместе с розами, поднималась телефонная линия. Одна из ее бывших фрейлин, томная и элегантная Флёр де Файлер (теперь лет сорока и несколько поблекшая), все еще с жемчугом в цвета вороньего крыла волосах и в традиционной белой мантилье, принесла документы из будуара Дизи. Услышав из-за лавров сочный голос короля, Флёр узнала его раньше, чем его великолепный маскарад успел ее ввести в заблуждение. Явились с чаем два лакея, красивые молодые иностранцы, явно латинского типа, и застали Флёр посредине реверанса. Внезапный бриз ощупью прошел меж глициний. «*Défiler*» (растлитель флоры). Он спросил Флёр, когда она повернулась, чтобы уйти с Дизиными орхидеями, играет ли она еще на виоле. Она несколько раз мотнула головой, не желая говорить без обращения и не смея назвать его, пока могли услышать слуги.

Они опять остались одни, Диза быстро нашла нужные ему бумаги. Покончив с этим, они поговорили немного о приятных пустяках, вроде основанного на земблянкой легенде фильма, который Одон надеялся сделать в Париже или в Риме. Как изобразит он, гадали они, адский чертог, где души убийц подвергаются пытке под непрерывным медленным дождем из драконьего яда, падающим с туманных сводов? В общем интервью протекало вполне удовлетворительным образом, хотя ее пальцы слегка дрожали, когда ее рука касалась подлокотника его кресла. Однако будем осторожны!

«Какие у тебя планы? — спросила она. — Почему ты не можешь остаться здесь, сколько захочешь? Пожалуйста, останься. Я скоро уезжаю в Рим, весь дом будет в твоём распоряжении. Подумай, ты здесь можешь предоставить ночлег целым сорока гостям, сорока арабским разбойникам» (влияние громадных терракотовых ваз в саду).

Он ответил, что в будущем месяце поедет в Америку и что завтра у него дело в Париже.

Почему в Америку? Что он там будет делать?

Преподавать. Разбирать литературные шедевры с блестящими и очаровательными молодыми людьми. «Хобби», которому он теперь мог свободно предаться.

«Я не знаю, конечно, — пробормотала она, глядя в сторону, — я не знаю, но, может быть, если ты ничего не имеешь против, я могла бы посетить Нью-Йорк, я хочу сказать, всего на неделю или две, и не в этом году, а в будущем».

Он похвалил ее жакетку в серебряных блестках. Она продолжала: «Ну, как же?» — «И твоя прическа чрезвычайно тебе идет». — «Ах, какое это

имеет значение? — простонала она. — Господи, что на свете имеет значение!» — «Мне пора идти», — прошептал он с улыбкой и встал. «Поцелуй меня», — сказала она и на мгновение превратилась в его объятиях в беспомощно дрожащую тряпичную куклу.

Он пошел к воротам. На повороте тропы он оглянулся и увидел вдали ее белую фигуру, с апатичной грацией несказанной скорби склонившуюся над садовым столом, и внезапно между безразличием яви и любовью во сне повис хрупкий мост, но она двинулась, и он увидел, что это вовсе не она, а всего только бедная Флёр де Файлер, собирающая документы, оставшиеся среди чайной посуды (см. примечание к строке [80-й](#)).

Когда во время очередной прогулки в мае или июне 1958 года я предложил Шейду весь этот дивный материал, он лукаво поглядел на меня и сказал: «Все это очень хорошо, Чарльз. Но есть два вопроса. Как вы можете знать, что все эти интимные подробности о вашем ужасном короле правда? А если правда, то как можно надеяться напечатать столь личные вещи о людях, которые, надо полагать, еще живы?» — «Мой дорогой Джон, — мягко и настойчиво отвечал я, — не беспокойтесь о пустяках. Превращенное вами в поэзию, все это *станет* правдой, и эти люди *станут* живыми. Правда, очищенная поэтом, не может причинить ни боли, ни обиды. Истинное искусство выше ложной чести».

«Конечно, конечно, — сказал Шейд. — Слова можно запряхь, как дрессированных блох, и заставить их везти других блох. О да, конечно». — «Более того, — продолжал я, меж тем как мы шли по дороге в огромный закат, — как только ваша поэма будет готова, как только величие Зембли сольется с величием ваших стихов, я намерен открыть вам одну последнюю истину, необычайный секрет, который совершенно вас успокоит». >>>

[Строка 469: Прибегнуть к пистолету](#)

Градус по пути назад, в Женеву, гадал, когда ему доведется прибегнуть к нему, к этому пистолету. День был невыносимо жаркий. На озере появилась серебряная чешуя и легкое отражение грозовой тучи. Как многие старые стекольщики, он мог довольно точно определять температуру воды по некоторым особенностям блеска и движения, и теперь он ее определил по крайней мере в 23 градуса. Как только он вернулся к себе в гостиницу, он позвонил по международному телефону в штаб-квартиру. Это оказалось тяжким испытанием. Полагая, что он привлечет меньше внимания, чем язык VIS^[20], заговорщики вели телефонные разговоры на английском, точнее говоря, на ломаном английском языке, с одним глагольным временем, без артиклей и с двумя различными произношениями, которые

оба были неправильны. Сверх того, придерживаясь хитрой системы, придуманной в главной стране ВИС, они пользовались двумя различными шифрами, — например, штаб говорил «бюро» вместо «король», а Градус говорил «письмо», что чрезвычайно затрудняло сношения. И наконец, каждая сторона забыла значение некоторых фраз по словарю другой, так что в результате их запутанная и дорогостоящая беседа совмещала в себе шарады и скачки с препятствиями, происходящие впотымах. Штаб понял, что письма от короля с указанием его адреса могут быть добыты при помощи взлома на вилле «Диза» и ограбления письменного стола королевы; Градус, не сказавший ничего такого, а всего лишь пытавшийся сообщить о результате своего визита в Лэ, с огорчением узнал, что вместо того, чтобы искать короля в Ницце, от него требовали, чтобы он ждал в Женеве прибытия партии консервированной лососины. Одно выяснилось с несомненностью: в следующий раз ему следует не телефонировать, а телеграфировать или писать. >>>

[Строка 470: Негр](#)

Однажды мы беседовали о предрассудках. Раньше, за завтраком в профессорском клубе, гость профессора Х., дряхлый отставной профессор из Бостона, — которого Х. описывал с глубоким уважением как «истинного патриция, настоящего брамина с голубой кровью» (дед брамина торговал подтяжками в Бельфасте), — вполне естественно и добродушно сказал о происхождении не особенно симпатичного нового служащего колледжской библиотеки, «представитель Избранного Народа, я полагаю» (провозглашая это, он слегка фыркнул от уютного удовольствия), на что Миша Гордон, рыжий музыкант, резко заметил, что, «конечно, Бог может избрать Себе народ, но человеку следует выбирать свои выражения».

Когда мы, мой друг и я, брели назад к своим соседствующим замкам, под тем легким апрельским дождиком, который в одном из своих лирических стихотворений он определил так:

Быстрый карандашный набросок весны, —

Шейд сказал, что больше всего на свете он ненавидит пошлость и жестокость и что обе эти вещи идеально сочетаются в расовом предрассудке. Он сказал, что как литератор не может не предпочесть «еврея» «израэлиту» и «негра» — «цветному», но тут же добавил, что такое совмещение в одной фразе двух различных принципов предубеждения

представляет собой хороший пример небрежного или демагогического огульного подхода (весьма в ходу у левых), ибо он стирает различия между двумя историческими примерами ада: дьявольскими гонениями и варварскими традициями рабства. С другой стороны, он признавал, что слезы всех обижаемых человеческих созданий на всем безнадежном протяжении времени математически равны одни другим, и, возможно (как он думал), не будет далек от истины тот, кто отметит фамильное сходство (напряжение обезьяньих ноздрей, тошнотворное помутнение глаз) между линчером из «жасминовой зоны» и мистиком-антисемитом, когда они бывают одержимы своей самой сильной страстью. Я сказал, что молодой негр-садовник (см. примечание к строке [998](#)), которого я недавно нанял, — вскоре после того, как дал отставку незабвенному квартиранту (см. [Предисловие](#)), — неизменно употребляет слово «цветной». На основании опыта от постоянной возни со старыми и новыми словами (заметил Шейд), он решительно возражает против этого эпитета не только потому, что он не дает правильного художественного впечатления, но также и потому, что его смысл слишком зависит от применения и от применяющего. Многие компетентные негры (соглашался он) считают его единственным приемлемым словом, эмоционально нейтральным и этически безобидным; их одобрение обязывает порядочных белых подражать их примеру, а поэты не любят подражать; но люди благовоспитанные обожают одобрение и ныне употребляют «цветной» вместо «негр», так же как «нагой» вместо «голый» или «испарина» вместо «пот», хотя, конечно (допускал он), временами и поэт может приветствовать ямочку на мраморной ягодице в «нагая» и подобающую бисерность в «испарине». Случается также слышать это слово (продолжал он) в устах предубежденных людей как шуточный эвфемизм в анекдоте-пародии на негритянский фольклор, когда что-либо смешное говорится или делается «цветным джентльменом» (который вдруг становится братом «еврейского джентльмена» викторианских повестушек).

Я не вполне понял его возражение против «цветного» с художественной точки зрения. Он объяснил это так: в первых научных работах о цветах, птицах, бабочках и т. п. иллюстрации раскрашивались от руки прилежными акварелистами. В дефективных или преждевременно выпущенных публикациях контуры на некоторых таблицах оставались пустыми. Противопоставление выражений «белый» и «цветной» человек всегда напоминало моему поэту столь упорно, что заслоняло общепринятый смысл, эти контуры, которые так хотелось, бывало, заполнить их законными красками — зеленью и пурпуром экзотического

растения, сплошной синевой оперения, гераниевой перевязью крыла. «К тому же (сказал он), мы, белые, вовсе не белые, мы лилово-розовые при рождении, потом цвета чайной розы, а позднее всякого рода отгаликивающих оттенков». >>>

[Строка 475: Сторож, Отец-Время](#)

Читателю следует заметить изящный отклик на строку [312](#). >>>

[Строка 490: Экс](#)

Экс, несомненно, замещает Экстон, фабричный городок на южном берегу озера Омеги. В нем имеется довольно известный музей естествознания со многими витринами, содержащими птиц, собранных и препарированных Сэмюелем Шейдом. >>>

[Строка 493: Она покончила со своей бедной юной жизнью](#)

Следующее примечание не является апологией самоубийства — это простое и трезвое описание духовного состояния.

Чем яснее и непреодолимей вера человека в Провидение, тем сильнее соблазн покончить со всем, развязаться с этой жизненной возней, но больше также и страх перед ужасающим грехом самоуничтожения. Рассмотрим раньше соблазн. Серьезное представление о какой бы то ни было форме будущей жизни, более подробно рассмотренное в другом месте настоящего комментария (см. примечание к строке [550](#)), неизбежно и необходимо предусматривает какую-то степень веры в Провидение — и обратно: глубокая христианская вера предусматривает хоть некоторую надежду на продолжение духовной жизни за гробом. Представлению о будущей жизни незачем быть рациональным, т. е. ему незачем заключать в себе точные черты личных фантазий или общей атмосферы субтропического азиатского парка. Доброму землянскому христианину внушают, что истинная вера существует не затем, чтобы снабжать его картинками или географическими картами, и что надлежит ей спокойно довольствоваться теплым туманом радостного предчувствия. Возьмем незатейливый пример: семья маленького Христофора собирается переселиться в далекую колонию, куда его отца назначили на пожизненную должность. Маленький Христофор, хрупкий мальчик лет девяти-десяти, полностью полагается (настолько, что самое сознание этого доверия стирается) на то, что старшие позаботятся обо всех подробностях отъезда, переезда и приезда. Он не может, да и не пробует вообразить особенности нового места, его ожидающего, но смутно и покойно убежден, что оно

будет еще лучше, чем его родная усадьба с большим дубом и горой, с его пони, с парком, и с конюшней, и со старым грумом Гриммом, который, когда никого нет поблизости, особенным образом ласкает его.

Нам тоже следовало бы иметь долю такого бесхитростного доверия. С этим божественным туманом полной зависимости, проникающим наше существо, неудивительно, что возникает соблазн, что вы с мечтательной улыбкой взвешиваете на ладони компактное оружие в замшевом чехле, не крупнее ключа от ворот замка или прошитой мошонки мальчика, что вы заглядываете в манящую бездну за парашютом.

Я выбираю эти образы наобум. Существуют пуристы, утверждающие, что джентльмен должен пользоваться парой пистолетов, по одному на каждый висок, или голым кинжалом — (*botkin'ом*) — заметьте правильное написание, — дамам же следует проглотить смертельную дозу или утонуть вместе с неуклюжей Офелией. Более скромные смертные отдавали предпочтение разным формам удушения, а второстепенные поэты пробовали такие изысканные пути освобождения, как вскрытие вен в четырехногой ванне продуваемого сквозняками пансиона, неопрятное и без абсолютной уверенности в исходе. Из сравнительно немногих известных человеку способов освобождения от тела наилучший — это падать, падать, падать, но при этом следует очень тщательно выбрать подоконник или скалу, чтобы не ушибить себя или другого. Прыгать с высокого моста не рекомендуется, даже если вы не умеете плавать, ибо ветер и вода изобилуют причудливыми возможностями, а трагедии не следует завершиться рекордом ныряния или повышением полицейского по службе. Если вы снимете келью в светящейся вафле, комнату № 1915 или 1959 в высоком отеле в деловом центре, с челом в звездной пыли, и поднимете оконную раму, и осторожно — не упадете, не спрыгнете, а выкатитесь — как требуется для воздушного удобства, — все же существует возможность спровадить в ваш индивидуальный ад мирного гражданина, прогуливающего ночью собаку; в этом отношении задняя комната может быть безопаснее, в особенности если она расположена высоко над крышей упрямого нормального старого дома, где можно надеяться, что случайная кошка успеет соскочить с дороги. Другой излюбленный пункт отбытия — это горная вершина с отвесным обрывом метров этак в 500, но ее нужно найти, ибо удивительно, как легко просчитаться в угле отклонения, так что какой-нибудь скрытый выступ, какой-нибудь дурацкий утес возьмет и ринется, чтобы поймать и заставить вас отскочить в кустарник — искалеченного неудачника, зря оставшегося в живых. Идеал — это падение с самолета — мускулы без напряжения, пилот озадачен, упакованный

парашют откинут прочь, отвергнут, отнесен пожатием плеч — прощай, *shootka* (парашютик)! Вы летите вниз, но все время чувствуете себя подвешенным и поддержанным, пока кувыркаетесь в замедленном темпе, как сонный голубь-вертун, раскидываетесь на спине, на воздушной перине, или лениво поворачиваетесь, чтобы обнять подушку, наслаждаясь до последнего мгновения мягкой, глубокой, подбитой смертью, жизнью с зеленой доской качелей земли (то вверху, то внизу); и потом сладострастное распятие, пока вы растягиваетесь в нарастающей быстроте, в близящемся всхлесте, а там — растворение вашего любимого вами тела в лоне Господнем. Будь я поэтом, я бы непременно сочинил оду о сладостном позыве закрыть глаза и полностью предаться совершенной безопасности желанной смерти. В экстазе предощущаешь огромность Божественного Объятия, принимающего твой освобожденный дух; теплую ванну физического расплыва; космическое неведомое, поглощающее то крохотное неведомое, которое было единственной подлинной частью твоей временной индивидуальности. Когда душа боготворит Того, Кто указывал ей путь через смертную жизнь, когда она различает Его знак, на каждом повороте тропы, нанесенный краской на валуне или зарубкой на еловом стволе, когда каждая страница в книге твоей личной судьбы отмечена Его водяным знаком, как можно сомневаться, что Он также охранит тебя и в вечности?

Так что же может удержать нас от совершения перехода? Что может помочь нам противиться нестерпимому искушению? Что может помешать уступить жгучему желанию слиться с Богом?

Нам, барахтающимся в повседневной грязи, пожалуй, может быть прощен единый грех, кладущий конец всем грехам. >>>

[Строка 501: L'if](#)

Тис, по-французски. Любопытно, что земблянское слово для плакучей ивы тоже «if» (а тис — *tas*). >>>

[Строка 502: «Грандиозная патата»](#)

Отвратительный каламбур, намеренно помещенный здесь в виде эпиграфа, чтобы подчеркнуть отсутствие уважения к смерти. Я помню еще со школьной скамьи *soi-disant*^[21] «последние слова» Рабле, среди других занимательных вещей в каком-то французском учебнике: *Je m'en vais chercher le grand peut-être*^[22]. >>>

[Строка 502: IPH](#)

Вкус и закон о диффамации мешают мне открыть настоящее название почтенного института высшей философии, над которым наш поэт изрядно, и изобретательно, издевается в этой Песне. Его конечные инициалы IPH студенты превратили в сокращение Hi-Phi^[23], и Шейд ловко пародирует его своей комбинацией «IPH». Он живописнейше расположен в одном юго-западном штате, который должен здесь остаться анонимным.

Я должен также отметить, что я решительно осуждаю то легкомыслие, с которым наш поэт говорит в этой песни о некоторых сторонах духовного упования, которое одна только религия может утолить (см. также примечание к строке [549](#)). >>>

[Строка 549: Презирая богов, со включением большого «Б»](#)

Здесь поистине самое Биение всего вопроса. И его, мне кажется, проглядел не только институт (см. строку [517](#)), но и сам наш поэт. Для христианина никакая Потусторонность неприемлема и невообразима без участия Бога в нашей вечной судьбе, а это, в свою очередь, подразумевает заслуженное наказание за всякий грех, большой или малый. Мой дневничок как раз содержит несколько заметок, относящихся к разговору, который у меня был с поэтом 23 июля «на моей террасе после игры в шахматы, вничью». Я переписываю их здесь только потому, что они проливают интереснейший свет на его отношение к этому предмету.

Я упомянул — не помню, в какой связи, — некоторые различия между его церковью и моей. Следует отметить, что наша земблянская версия протестантизма довольно близка к наиболее консервативным направлениям англиканской церкви, но имеет и кое-какие свои великолепные особенности. Реформацию у нас возглавлял гениальный композитор, наша литургия проникнута богатой музыкой, наши хоры мальчиков — сладчайшие в мире. Сибилла Шейд происходила из католической семьи, но еще в раннем девичестве выработала, как она сама мне говорила, «собственную религию» — что в лучшем случае сводится к полуприверженности к какой-нибудь полуязыческой секте, а в худшем — к чуть теплomu атеизму. Она отлучила мужа не только от епископальной церкви его предков, но и вообще ото всех форм религиозных таинств.

Мы случайно заговорили о свойственном нашему времени затуманиванию понятия «греха», о его смешении с куда более плотски окрашенной идеей «преступления», и я вкратце упомянул о моем соприкосновении в детстве с некоторыми обрядами нашей церкви. Исповедь у нас тайная, и проводится она в богато украшенном алькове, где

исповедующийся держит зажженную свечу и стоит с нею около кресла священника, с высокой спинкой, по форме почти точно такого же, как коронационный трон шотландских королей. Будучи учтивым маленьким мальчиком, я всегда боялся запятнать его лилово-черный рукав жгучими слезами воска, капавшими на суставы моих пальцев, образуя на них тугие корочки, да еще меня зачаровывала освещенная впадина его уха, походившая на морскую раковину или глянцевитую орхидею, сложный сосуд, казавшийся мне непомерно большим для моих пустяковых проступков.

Шейд: Все семь смертных грехов — пустяковые проступки, но без трех из них — гордыни, похоти и лени — поэзия могла бы никогда не родиться.

Кинбот: Справедливо ли это — основывать возражения на устаревшей терминологии?

Шейд: Все религии основаны на устаревшей терминологии.

Кинбот: То, что мы называем Первородным Грехом, никогда не может устареть.

Шейд: Об этом я ничего не знаю. Когда я был маленьким, я думал, что это относится к убийству Авеля Каином. Лично я присоединяюсь к старым нюхателям табака: *L'homme est né bon*^[24].

Кинбот: Однако непослушание Божественной воле есть основное определение греха.

Шейд: Я не могу быть непослушным тому, чего я не знаю и существование чего я вправе отрицать.

Кинбот: Ну-ну! Вы вообще отрицаете, что грехи существуют?

Шейд: Я могу назвать только два: убийство и намеренное причинение боли.

Кинбот: Тогда человек, проводящий жизнь в совершенном уединении, не может быть грешником?

Шейд: Он может мучить животных. Он может отравить источники на своем острове. Он может оклеветать невинного человека в посмертном заявлении.

Кинбот: Так что ваш пароль?..

Шейд: Жалость.

Кинбот: Но кто же внушил нам ее, Джон? Кто Судия жизни и Созидатель смерти?

Шейд: Жизнь — великая неожиданность. Я не вижу, почему смерть не могла бы оказаться еще большей.

Кинбот: Вот я и поймал вас, Джон: если мы начнем с отрицания

Верховного Разума, начертавшего и правящего нашим индивидуальным загробным будущим, нам придется принять невыразимо страшную мысль, что случай правит и вечностью. Рассмотрим такое положение. На всем протяжении вечности наши бедные души подвержены невообразимым превратностям. Не к кому воззвать, не у кого просить совета, поддержки, защиты — ничего. Бедный дух Кинбота, бедная тень Шейда могли заплутать, могли где-нибудь свернуть не в ту сторону — из чистой рассеянности или просто по незнанию какого-нибудь мелкого правила в ни с чем не сообразной игре природы — если такие правила существуют.

Шейд: Существуют же правила в шахматных задачах — например, запрещение двойных решений.

Кинбот: Я имел в виду дьявольские правила, подверженные нарушению противной стороной, как только мы начинаем понимать их. Вот почему черная магия не всегда действует. Демоны в своем спектральном коварстве нарушают соглашение между ними и нами, и мы опять попадаем в хаос случая. Даже если мы ограничим случай необходимостью и допустим детерминизм без участия Бога, механизм причины и следствия, чтобы доставить нашим душам после смерти сомнительное утешение метастатистики, нам все же еще придется считаться с возможностью индивидуальной беды, с тысяча второй дорожной катастрофой из тех, что предусмотрены в аду на День Независимости. Нет-нет, если мы хотим серьезно говорить о загробной жизни, не будем начинать с низведения ее на уровень научно-фантастических выдумок или случая из истории спиритизма. Мысль, что вашей душе предстоит погрузиться в безбрежную и хаотическую потустороннюю жизнь без направляющего Провидения...

Шейд: Всегда найдется психоводитель за углом, не правда ли?

Кинбот: Не за *этим* углом, Джон. В отсутствие Провидения душе остается положиться на прах своей оболочки, на опыт, накопленный за время своего заключения в теле, и по-детски цепляться за свои провинциальные принципы, местные регламенты и за свою индивидуальность, состоящую главным образом из тени прутьев собственной тюремной решетки. Ум верующего человека не может ни на миг допустить подобную мысль. Насколько разумнее — даже с точки зрения высокомерного безбожника! — принять Божье присутствие — сначала как слабое фосфорное свечение, бледный свет среди сумерек телесной жизни, а потом как ослепительное сияние? И я, милый Джон, и я в свое время подвергался религиозным сомнениям. Церковь помогла мне отразить их. Она помогла также не просить слишком многого, не требовать слишком ясного образа того, что невообразимо. Блаженный Августин

сказал...

Шейд: Почему мне должны *всегда* цитировать Блаженного Августина?

Кинбот: Как сказал Блаженный Августин, «можно знать, что не есть Бог, но нельзя знать, что он есть». Мне кажется, я знаю, чем Он не является: Он не отчаяние, Он не ужас, Он не земля в нашем хрипящем горле, Он не черный гул в наших ушах, рассеивающийся в ничто ни в чем. Я знаю также, что мир не мог произойти случайно и что каким-то образом Разум участвовал как главный фактор в создании Вселенной. Пытаясь найти подходящее имя для Вселенского Разума, или Первопричины, или Абсолюта, или Природы, я смею утверждать, что имя Божье имеет приоритет. >>>

[Строка 550: Осколки](#)

Я хочу кое-что сказать об одном более раннем примечании (к строке [12](#)). Моя совесть и научная щепетильность разобрали вопрос, и я теперь думаю, что две строки, приведенные в этом примечании, искажены и осквернены томительным желанием. Вот тот *единственный* раз за все время писания этих трудных комментариев, когда в моем горе и разочаровании я помедлил на краю фальсификации. Я должен просить читателя игнорировать эти две строки (которые, боюсь, даже не укладываются в правильный размер). Я мог бы вычеркнуть их перед публикацией, но это значило бы переделывать все примечание или, по крайней мере, значительную его часть, а на подобные глупости у меня нет времени. >>>

[Строки 557–558: Как, задохнувшись в черноте, определить Терру Прекрасную, ячейку яшмы](#)

Это самое прелестное двустишие во всей Песни. >>>

[Строка 579: Другая](#)

Я далек от намерения намекать на существование какой-то другой женщины в жизни моего друга. Он безмятежно играл роль образцового мужа, предназначенную ему его провинциальными почитателями, а кроме того, смертельно боялся жены. Не раз я останавливал сплетников, которые связывали его имя с именем одной из его студенток (см. [Предисловие](#)). В последнее время американские романисты, в большинстве своем принадлежащие к Объединенному английскому отделению, по той или иной причине гуще пропитанному литературным талантом, фрейдистскими

фантазиями и презренной гетеросексуальной похотью, чем весь остальной мир, заездили вконец эту тему, и поэтому мне было бы слишком скучно представлять здесь сию молодую особу. Во всяком случае, я ее почти не знал. Однажды вечером я пригласил ее в гости вместе с Шейдами со специальной целью опровергнуть эти слухи, — это напоминает мне, что мне следует кое-что сказать о любопытном ритуале приглашений и ответных приглашений в унылом Нью-Уае.

Справившись в моем дневнике, я вижу, что в течение пяти месяцев моих сношений с Шейдами я был приглашен к их столу всего три раза. «Посвящение» имело место в субботу, 14 марта, когда я обедал в их доме со следующими лицами: Натточдагом (которого я видел каждый день в его кабинете), профессором Гордоном из музыкального отделения (который полностью завладел беседой), главой русского отделения (комедийным педантом, о котором чем меньше будет сказано, тем лучше) и тремя-четырьмя неотличимыми женщинами, из которых одна (г-жа Гордон, кажется) была беременна, а другая, совершенная незнакомка, непрерывно говорила, со мной или, вернее, в меня, от 8 до 11 вследствие неудачного послеобеденного распределения наличных стульев. В следующий раз я был приглашен на меньший по числу гостей, но отнюдь не более уютный *souper*, в субботу, 23 мая, где присутствовали: Мильтон Стоун (новый библиотекарь, с которым Шейд до полуночи обсуждал распределение некоторых трудов о Вордсмите), добрый старый Натточдаг (которого я продолжал видеть каждый день) и недеодоризованная француженка (которая дала мне полную картину преподавания языков в Калифорнийском университете). Дата третьей, и последней, трапезы у Шейдов не занесена в мою книжечку, но я знаю, что это было однажды утром в июне, когда я принес чудный план королевского дворца в Онхаве, который я начертил со всевозможными геральдическими тонкостями, тронутый золотой краской, не без труда мною добытой, — и меня любезно задержали на импровизированный завтрак. Я должен добавить, что, несмотря на мои протесты, все три раза вегетарианские ограничения моей диеты не были приняты во внимание, и мне были предложены мясные продукты среди или вокруг оскверненной ими зелени, которой я мог бы соблаговолить отведать. Я довольно искусно реваншировался. Из дюжины или около того приглашений, сделанных мной, Шейды приняли ровно три. Каждая из этих трапез была организована вокруг какого-нибудь одного овоща, который я подверг стольким же изящным метаморфозам, как Пармантье свой излюбленный клубень. Каждый раз у меня был лишь один дополнительный гость, чтобы занимать г-жу Шейд (которая, видите ли, — тут я утончаю

голос до женского регистра — страдала аллергией к артишокам, к авокадо, к африканским желудям — словом, ко всему, что начиналось на букву «а»), Я нахожу, что ничто так не отбивает аппетита, как присутствие одних пожилых людей вокруг стола, марающих салфетки своей разлагающейся косметикой и пытающихся тишком, под прикрытием беспредметной улыбки, удалить раскаленное пыточное острие малинного зернышка из пространства между фальшивой десной и мертвой десной. Поэтому я приглашал молодых людей, студентов: в первый раз сына падишаха, во второй раз моего садовника, а в третий раз эту девицу в черном трико, с длинным белым лицом и веками, подкрашенными вурдалаковой зеленью, но она пришла очень поздно, а Шейды ушли очень рано, — я сомневаюсь, что фактическая конфронтация длилась более десяти минут, после чего мне пришлось развлекать эту молодую особу граммофонными пластинками далеко за полночь, когда она наконец кому-то позвонила и попросила сопроводить ее в столовку в Дальвиче. >>>

[Строка 584: Мать и дитя](#)

Es ist die Mutter mit ihrem Kind^[25] (см. примечание к строке [664](#)). >>>

[Строка 596: Указывает на лужи в подвале своего дома](#)

Все мы знаем эти сны, в которые просачивается нечто стигийское, и Лета проливается в унылых обстоятельствах испорченной канализации. Вслед за этой строкой в черновике сохранилось забракованное начало, — и я надеюсь, что читатель ощутит хоть отчасти озноб, который пробежал по моей длинной и гибкой спине, когда я нашел этот вариант:

Пытаться ли умершему убийце обнять
Поруганную жертву, с которой встретился лицом к лицу?
Есть души у вещей? Или равно должно погибнуть все —
Храмы великие и прах Танагры?

Последний слог «Tanagra» и первые три буквы слова «dust» (прах) образуют имя убийцы, с чьим *shargar*'ом (тщедушным призраком) предстояло в скором времени встретиться лучезарному духу поэта. «Простая случайность!» — может воскликнуть лишенный воображения читатель. Но пускай он попробует, как пробовал я, посмотреть, сколько существует таких комбинаций, возможных и убедительных. «Петроград — устаревшее название Ленинграда?» «A prig (ханжа) rad (устаревшее

прошедшее время глагола „читать“) *us* (нас)»?

Вариант этот столь поразителен, что лишь научная дисциплина и щепетильное уважение к правде помешали мне вставить его здесь и вычеркнуть другие четыре строки в каком-нибудь другом месте (например, слабые строки [627–630](#)) для сохранения длины поэмы.

Шейд сочинил эти строки во вторник, 14 июля. Что же делал в этот день Градус? Ничего. Комбинационная судьба почиет на лаврах. В последний раз мы видели его поздно днем, 10 июля, когда он вернулся из Лэ в свою женеvскую гостиницу, где мы его покинули.

Следующие четыре дня Градус промучился в Женеве. Есть забавный парадокс в том, что этим активистам постоянно приходится переносить долгие периоды праздности, которые они не в состоянии ничем заполнить из-за недостатка предприимчивости ума. Как многие некультурные люди, Градус был ненасытным читателем газет, брошюр, случайных листков и многоязычной литературы, которая бывает приложена к носовым каплям и таблеткам для пищеварения; но этим исчерпывалось его интеллектуальное любопытство, и, поскольку зрение у него было не очень хорошее, а потребимость местных новостей не безграничная, ему приходилось проводить значительную часть времени в апатичных уличных кафе или убивать его паллиативом сна.

Насколько счастливее внимательные ленивцы, цари среди людей, с чудовищно богатым мозгом, испытывающие интенсивное наслаждение и трепет восторга от вида террасной балюстрады в сумерки, огней и озера внизу, очертаний далеких гор, тающих в темно-абрикосовом послезакатном свете, черной хвои деревьев, вычерченных на бледно-чернильном зените, и гранатовых и зеленых воланов воды вдоль безмолвного, грустного, запретного берега. О, мой сладостный Боскобель! И нежные и страшные воспоминания, и стыд, и величие, и сводящие с ума предзнаменования, и звезда, до которой никогда не дотянуться никакому партийцу.

В среду утром, все еще не имея известий, Градус телеграфировал в штаб, что считает неразумным дольше ждать и что он будет стоять в отеле «Лазули» в Ницце. >>>

[Строки 597–608: Какие мысли звать на смотр, и т. д.](#)

Этот отрывок должен был бы напомнить читателю поразительный вариант, приведенный в предыдущем примечании. Ибо всего лишь недель позже *Tanagra dust* и «наши царственные руки» должны были встретиться в действительной жизни, в действительной смерти.

Если бы он не бежал, наш Карл Второй мог бы быть казнен — это

случилось бы несомненно, будь он схвачен между дворцом и Риппльсоновой пещерой, — но во время побега он только изредка ощущал близость толстых пальцев судьбы, чуял, как они нащупывают его (как пальцы сурового старого пастуха, проверяющего девственность дочери), когда его ноги, скользили в ту ночь по сырому папоротнику на склоне горы Мандевиль (см. примечание к строке [149](#)); и на следующий день, на более таинственной, жуткой высоте, среди головокружительной синевы, где альпинисты вдруг замечают присутствие призрачного спутника. Не раз в ту ночь король бросался наземь в отчаянной решимости остаться так до рассвета, чтобы с меньшими муками преодолеть любую ожидавшую его опасность. (Я думаю еще и о другом Карле, другом высоком темноволосом человеке, свыше двух ярдов ростом.) Но все это было на физическом или неврастеническом уровне, и я отлично знаю, что если бы мой король был пойман и осужден и находился на пути к расстрелу, он повел бы себя так же, как ведет в строках [606–608](#), — так же поглядел бы вокруг себя с дерзким самообладанием и так же

посмеялся бы над презренными, весело язвя
ретивых кретинов,
и шутки ради плюнул им в глаза.

Позвольте мне заключить это важное примечание довольно антидарвинским афоризмом: убивающий *всегда* ниже уровнем, чем его жертва. >>>

[Строка 603: Прислушиваться к дальним петухам](#)

Вспоминается восхитительный образ из недавнего стихотворения Эдзеля Форда:

И часто, когда пел петух, вытряхая огонь
Из утра и туманного покоса...

Покос (по-земблянски *tiwan*) — это поле возле амбара. >>>

[Строки 609–614: Не помочь также, и т. д.](#)

Это место отличается в черновике:

Нельзя помочь также изгнаннику, настигнутому смертью
На случайном ночлеге, открытом горячему дыханию
Этой Америки, этой сырой ночи:
Сквозь пластинчатые жалюзи, полосы цветного света
Нащупывают его постель — чародеи из прошлого
С эликсиром из самоцветов, — а жизнь быстро убывает.

Здесь довольно хорошо описан «случайный ночлег», бревенчатая хижина с кафельной ванной, где я стараюсь координировать эти примечания. Сначала мне очень мешал рев дьявольского радио откуда-то, как я думал, из увеселительного парка по другую сторону дороги. Оказалось, что это были поселившиеся в палатке туристы, и я подумывал о переезде в другое место, но они это сделали раньше меня. Теперь здесь тише, если не считать раздражительного ветра, который скрипит в поблекших осинах, и Сидарн снова превратился в город-призрак, и нет летних дураков или шпионов, чтоб глазеть на меня, и мой маленький рыболов в джинсах не стоит больше на своем камне среди ручья, и, может быть, так оно и лучше. >>>

[Строка 615: На двух языках](#)

Английском и земблянском, английском и русском, английском и латышском, английском и эстонском, английском и литовском, английском и русском, английском и украинском, английском и польском, английском и чешском, английском и русском, английском и венгерском, английском и румынском, английском и албанском, английском и болгарском, английском и сербо-хорватском, английском и русском, американском и европейском.
>>>

[Строка 619: Из глазка клубня](#)

Здесь прорастает каламбур (см. строку [502](#)). >>>

[Строка 627: Знаменитый Стар-Овер Блю](#)

Предполагаю, что от профессора Блю было получено разрешение, но даже и в этом случае включение живого человека, какой бы он ни был покладистый симпатяга, в вымышленную среду, где его заставляют действовать согласно выдумке автора, бросается в глаза как исключительно безвкусный прием, особенно когда остальные персонажи, за исключением семьи, конечно, скрыты в поэме под псевдонимами.

Имя, несомненно, соблазнительное. Звезда (star) над синевой (over blue) необычайно подходит астроному, хотя в действительности ни его имя, ни фамилия не имеют никакого отношения к небесному: первое было дано ему в память о деде, русском старовере (по-английски, кстати сказать, ударение приходится на предпоследний слог), члене раскольничьей секты, по фамилии Синявин, от «синий». Этот Синявин эмигрировал из Саратова в Сеатль и произвел на свет сына, который в свое время переименовал фамилию на Блю и женился на Стелле Лазурчик, американизированной кашубке. Вот как оно было. Честнейший Стар-Овер Блю будет, вероятно, удивлен тем эпитетом, которым в шутку наградил его Шейд. Автору хочется отдать здесь малую дань этому славному старому чудаку, которого все в университете обожали, а студенты прозвали Полковник Старботтль («звездная бутылка»), очевидно, из-за его исключительно компанейских привычек. Но в конце-то концов в окружении нашего поэта были и другие выдающиеся люди — например, почтенный земблянский ученый Оскар Натточдаг. >>>

[Строка 629: Судьба зверей](#)

Над этим поэт надписал и вычеркнул «судьба безумца».

Конечной судьбой душ безумцев занимались многие земблянские богословы, которые, в общем, придерживались мнения, что даже самый поврежденный ум содержит в своей поврежденной массе здоровую основную частицу, которая переживает смерть и внезапно расширяется и как бы разражается раскатами здорового, торжествующего смеха, когда мир трусливых дураков и аккуратных болванов остается далеко позади. Лично я не встречал помешанных, но слышал о нескольких забавных случаях в Нью-Уэе («Даже в Аркадии я есмь», — говорит Безумие, прикованное к своему серому столбу). Был, например, студент, впавший в неистовство. Был старый и чрезвычайно надежный университетский привратник, который однажды в проекционном зале показал брезгливой студентке предмет, которого она, несомненно, видала более совершенные экземпляры; но мой любимый пример — это экстонский железнодорожный служащий, чью манию описала мне — кто бы вы думали? — г-жа Х. Это было на большом приеме у Хёрли для летней школы, на который меня привел один из моих партнеров по второму пинг-понговому столу, приятель мальчиков Хёрли, — так как я знал, что мой поэт будет там что-то читать, и был вне себя от предвкушения, думая, что это, может быть, будет моя Зембля (это оказалось малозамечательным стихотворением одного из его малозамечательных друзей — мой Шейд был очень добр с неудачниками). Читатель поймет,

если я скажу, что на моей высоте я никогда не могу чувствовать себя «потерянным» в толпе, но правда и то, что я не знал почти никого из гостей Х. Подвигаясь в давке, с улыбкой на лице и коктейлем в руке, я высмотрел наконец над спинками двух смежных стульев макушку моего поэта и ярко-коричневый шиньон г-жи Х. В тот момент, когда я приблизился к ним сзади, я расслышал его возражение на какое-то замечание, которое она только что перед тем сделала:

«Это не то слово, — сказал он, — его нельзя применять к человеку, который намеренно бросил серое и несчастное прошлое и заменил его блестящей выдумкой. Это просто значит перевернуть страницу левой рукой».

Я потрепал моего друга по голове и слегка поклонился Эбертелле Х. Поэт смотрел на меня остекляневшими глазами. Она сказала:

«Помогите нам, г-н Кинбот: я утверждаю, что этот — как его? — этот старик — вы знаете про него — на экстонской железнодорожной станции, который решил, что он Бог, и принялся менять назначение поездов, — что он, строго говоря, спятил с ума, а Джон называет его собратом-поэтом».

«Все мы в каком-то смысле поэты, мадам», — ответил я и поднес зажженную спичку моему другу, который держал трубку в зубах и хлопал себя обеими руками по различным частям туловища.

Я не уверен, что этот банальный вариант заслуживал комментария, все место, относящееся к деятельности IPH, вышло бы вполне комическим, будь его бескрылый стих на одну стопу короче. >>>

[Строка 662: Кто мчится так поздно сквозь ветер и ночь?](#)

Эта строка, да и все это место (строки [653–664](#)), подражают знаменитому стихотворению Гёте о Лесном царе, седом колдуне в излюбленном эльфами ольшанике, который влюбляется в хрупкого маленького сына запоздалого путника. Нельзя не залюбоваться тем, как искусно Шейд перенес частично ломанный размер баллады (в душе трехдольник) в свои ямбические стихи.

⁶⁶² Кто мчится так поздно сквозь ветер и ночь?

⁶⁶³

⁶⁶⁴ Мартовский ветер. Это отец и дочь.

Две строки Гёте, открывающие это стихотворение, звучат чрезвычайно точно и красиво, с придачей неожиданной рифмы (как и на французском:

«vent-enfant») на моем родном языке:

Ret wóren ok spoz on nátt ut vétt?
Éto est vótehez ut míd ik détt.

Другой сказочный правитель, последний король Зембли, беспрестанно повторял про себя эти неотвязные строки по-земблянски и по-немецки как случайный аккомпанемент к дробной усталости и тревоге, взбираясь сквозь папоротниковую зону, опоясывающую темные горы, которые ему нужно было пересечь на пути к свободе. >>>

[Строки 671–672: «Неукрощенный Морской Конь»](#)

См. Браунинга «Моя Последняя Герцогиня».

См. и осуждай модную манеру озаглавливать сборник очерков или том стихов — или, увы, поэму — фразой, позаимствованной из старого более или менее знаменитого поэтического произведения. Такие заглавия обладают фальшивым блеском, допустимым, быть может, в прозваниях отборных вин или толстых куртизанок, но всего лишь унижительным для таланта, заменившего нетрудной демонстрацией начитанности индивидуальное воображение и переложившего на плечи лепного бюста ответственность за витиеватость, поскольку любой человек может перелистать «Ромео и Джульетту», или еще Сонеты, и сделать свой выбор. >>>

[Строка 678: на французский](#)

Два из этих переводов появились в августовском номере *Nouvelle Revue Canadienne*, которая дошла до книжных лавок нашего университетского городка в последнюю неделю июля, т. е. в пору печали и духовного замешательства, когда светское приличие помешало мне показать Сибилле Шейд кое-какие критические замечания, которые я сделал в моем карманном дневничке.

В ее версии знаменитого «Священного Сонета X», сочиненного Донном в период вдовства:

Смерть, не гордись — хоть прозвана иными
Могучей, грозной, ты не такова —

сожалеешь об излишнем восклицании во второй строке, введенном туда лишь для того, чтобы закрепить цезуру,

Ne sois pas fière, Mort! Quoique certains te disent
Et puissante et terrible, ah, Mort, tu ne l'es pas —

и в то время как двум смежным рифмам «такова — едва» (строки 2–3) посчастливилось найти удачное соответствие в *pas — bas* вызывает возражение опоясывающая рифма *disent — prise* (1–4), которая во французском сонете, сочиненном около 1617 года, была бы недопустимым нарушением визуального правила.

У меня здесь нет места для перечисления ряда других неточностей и ошибок в канадской версии обличения настоятелем Св. Павла смерти, этой рабы, не только «судьбы» и «случая», но и *нашей* («царей и всех отчаявшихся»).

Второе стихотворение, «Нимфа на Смерть своего Олененка» Эндрию Марвеля, технически как будто еще труднее втиснуть во французский стих. Если в переводе из Донна мисс Айрондель с полным основанием заменила английский пентаметр французским александрийским стихом, я сомневаюсь, чтобы здесь ей следовало предпочесть *l'imPAIR* и разместить в девяти слогах то, что Марвель уложил в восемь. В строках

И горю моему не внял:
Дал олененка, сердце взял

переданных как:

Et se moquant bien de ma douleur
Me laissa son faon, mais prit son coeur —

достойно сожаления, что переводчице, даже с помощью более обширного просодического лона, не удалось вместить длинные ноги своего французского олененка и передать «не внял» посредством «*sans le moindre égard pour*» или чего-нибудь в том же роде.

Далее двустипхи:

Любовь твоя была ценней

Любви фальшивых злых людей, —

хотя и переведенное буквально:

Que ton amour é'tait fort meilleur
Qu'amour d'homme cruel et trompeur —

не так чисто, идиоматически, как может показаться на первый взгляд.
И наконец, прелестная концовка

Живой, он был бы розой мне
Внутри и лилией вовне —

во французской версии нашей дамы содержит не только солецизм, но также то незаконное *enjambement*, каким бывает грешен переводчик, проехавший мимо остановки:

Il aurait été, s'il eut longtemps
Vécu, lys dehors, roses dedans.

Как чудесно могут быть имитированы и срифмованы эти две строки на нашем волшебном земблянском языке («языке зеркал», как прозвал его великий Конмаль)!

Id wodo bin, war id lev lan,
Indran iz lil ut roz nitran.

[>>>](#)

[Строка 680: «Лолита»](#)

Особенно сильным ураганам дают в Америке женские имена. Женский род подсказан тут не столько полом фурий и ведьм, сколько повсеместным профессиональным применением. Так, всякая машина для преданного механика «она», и всякий огонь (даже «бледный»!) — «она» для пожарного, так же как водопровод — «она» для страстного

водопроводчика. Почему наш поэт решил дать своему урагану 1958 года редко употребляемое испанское имя (иногда его дают попугаям), а не назвал его Линда или Лоис, неясно. >>>

[Строка 681: Шпионили угрюмые русские](#)

В сущности, в этой угрюмости нет ничего метафизического или расового. Это попросту внешний признак застойности национализма и провинциального чувства неполноценности — ужасная смесь, столь типичная для земблянцев, под управлением экстремистов, и русских, под советским режимом. В современной России идеи — это нарубленные машиной одноцветные чурбаны, оттенки объявлены вне закона, промежутки застроены стеной, изгибы выведены грубыми зигзагами.

Однако не все русские угрюмы, и двое молодых экспертов из Москвы, которых наше правительство наняло, чтоб отыскать земблянские регалии, оказались совершенными весельчаками. Экстремисты были правы, полагая, что барону Блэнду, хранителю сокровищ, удалось спрятать эти драгоценности прежде, чем он прыгнул или упал с Северной башни, но они не знали, что у него был помощник, и ошибались, думая, что драгоценности следует искать в том месте, где кроткий седовласый Блэнд жил безвыездно и которое он покинул, только чтобы умереть. Могу добавить с прощательным удовлетворением, что они были спрятаны — и остаются спрятанными до сих пор — в совершенно ином и весьма неожиданном уголке Зембли.

В одном из более ранних примечаний (к строке [130](#)) читателю уже были вскользь показаны эти два кладоискателя за работой. После побега короля и запоздалого обнаружения тайного прохода они продолжали свои сложные раскопки, пока весь дворец не был изрешечен и частью разрушен, — как-то ночью в одной из комнат обвалилась целая стена, обнаружив в нише, о существовании которой никто не подозревал, старинную бронзовую солонку и пиршественный рог короля Вигберта; но вы никогда не найдете ни нашей короны, ни ожерелья, ни скипетра.

Все это в правилах небесной игры, все это — непреложная фабула судьбы и не должно быть истолковано как нечто бросающее тень на эффективность двух советских экспертов, которым, во всяком случае, предстояло впоследствии великолепно отличиться в другом деле (см. примечание к строке [741](#)). Их имена (вероятно, фиктивные) были Андронников и Ниагарин. Редко приходится видеть, по крайней мере среди восковых фигур, чету более приятных презентабельных молодчиков. Все восхищались их чисто выбритыми скулами, элементарным выражением их

лиц, волнистыми волосами и безупречными зубами. Высокий красавец Андронников улыбался редко, но морщинки-лучики у глаз выдавали его неистощимый юмор, меж тем как симметричные бороздки, спускавшиеся по бокам красивых ноздрей, наводили на ассоциацию со славными летчиками-асами и героическими пионерами полынных степей. Ниагарин, со своей стороны, был сравнительно невысок ростом, имел несколько более округлые, хотя вполне мужественные черты, и время от времени озарялся широкой мальчишеской улыбкой, напоминавшей таких начальников-скаутов, у которых есть что скрывать, или тех джентльменов, что плутуют на телевизионных состязаниях. Наслаждением было наблюдать, как эти два великолепных советчика гоняли по двору и кикали пыльно-меловой, барабанно-звучный футбольный мяч (казавшийся в этих обстоятельствах таким большим и лысым). Андронников умел заставить его подпрыгнуть раз десять подряд на носке сапога, прежде чем запустить прямиком, точно ракету, в грустные, удивленные, обесцвеченные, безвредные небеса, а Ниагарин в совершенстве подражал замашкам некоего изумительного вратаря-динамовца. Они раздавали поварьятам русские карамельки со сливами и вишнями на роскошных, разукрашенных шестиугольных бумажках, заключавших обертку из более тонкой бумаги с лиловой мумией внутри; а похотливые сельские девки подкрадывались по заглушённым ежевикой тропинкам (*drungen*) к самому подножию бастиона, когда, вычерченные как два силуэта на фоне уже покрасневшего неба, они пели вечерней порой на валу чудные сентиментальные военные дуэты. У Ниагарина был задушевный тенор, у Андронникова сочный баритон, и на обоих были элегантные кавалерийские сапоги из мягкой черной кожи, — и небо отворачивалось, выставляя напоказ свои эфирные позвонки.

Ниагарин, поживший в Канаде, говорил по-английски и по-французски; Андронников знал немного по-немецки. То немногое, что они знали по-земблянски, произносилось со смехотворным русским акцентом, который придает гласным какую-то дидактическую полноту. Экстремистские охранники почитали их за образец удалства, и мой милый Одонелло получил однажды строгий выговор от коменданта за то, что не устоял перед соблазном передразнить их походку: оба передвигались с одинаковым ухарством, и оба были заметно кривоноги.

Когда я был ребенком, Россия была весьма в моде при земблянском дворе, но то была иная Россия — Россия, ненавидевшая тиранов и пошляков, несправедливость и жестокость, Россия дам и джентльменов и либеральных устремлений. Прибавим, что Карл Возлюбленный мог похвастаться примесью русской крови. В Средние века двое из его предков

женились на новгородских княжнах. Его прапрапрабабка, королева Яруга (время царствования 1799–1800), была наполовину русская, и большинство историков полагают, что единственный сын Яруги, Игорь, был не сыном Урана Последнего (время царствования 1798–1799), а плодом ее романа с русским авантюристом Ходынским, ее *goliart'*ом (придворным шутом) и гениальным поэтом, в свободное время подделавшим, как говорят, знаменитую древнерусскую *chanson de geste*, обычно приписываемую безымянному барду двенадцатого столетия. >>>

[Строка 682: Лэнг.](#)

Несомненно, современный Фра Пандольф. Не помню, чтобы я видел такую картину у них в доме. Или Шейд имел в виду фотографический портрет? Один такой портрет стоял на пианино, другой был в кабинете Шейда. Насколько справедливее было бы по отношению к читателю Шейда и его другу, если бы эта дама изволила ответить на некоторые мои настоятельные вопросы. >>>

[Строка 691: Приступ](#)

Сердечный припадок Джона Шейда (17 октября 1958 года) почти точно совпал с прибытием переодетого короля в Америку, куда он спустился на парашюте с наемного самолета, управляемого полковником Монтакютом, в поле сенно-лихорадочных, буйно цветущих сорных трав близ Балтимора, иволга которой вовсе не иволга. Все было в точности рассчитано, и он еще боролся с непривычным французским приспособлением, когда «роллс-ройс» из поместья Сильвии О'Доннель свернул с дороги к его зеленым шелкам и приблизился по *towntrop* с неодобрительным подпрыгиванием толстых колес и медленным скольжением блестящего корпуса. Я бы охотно объяснил всю эту историю парашютного спуска, но (поскольку он является скорее простой сентиментальной традицией, чем полезным способом передвижения) в этом нет строгой необходимости в настоящих комментариях к «Бледному огню». Пока Кингсли, шофер-англичанин, старый и абсолютно преданный слуга, изо всех сил старался втиснуть громоздкий и плохо сложенный парашют в багажник, я присел передохнуть на трость-табурет (которую он мне подал), потягивая великолепное шотландское виски с водой, взятое из автомобильного бара, и поглядывая (среди оаций сверчков и того вихря желтых и каштановых бабочек, которым так обрадовался Шатобриан, когда он прибыл в Америку) на статью в «Нью-Йорк таймс», в котором Сильвия энергично и неряшливо отметила красным карандашом сообщение из Нью-

Уая о том, что «знаменитый поэт» помещен в госпиталь. Я было радовался встрече с моим любимым американским поэтом, но теперь был уверен, что ему предстояло умереть задолго до начала весеннего семестра; разочарование, однако, свелось к мысленному пожатию плечами в знак сожаления, с которым я уже примирился, и, отбросив газету, я осмотрелся вокруг с чувством восхищения и физического благополучия, несмотря на то что мой нос был заложен. За полем огромные, поросшие зеленой травой ступени восходили к многоцветным рошицам; над ними можно было увидеть белое чело усадьбы; облака таяли в синеве. Внезапно я чихнул, и чихнул еще раз. Кингсли предложил мне выпить еще, но я отказался и демократично уселся с ним рядом на переднем сиденье. Моя хозяйка была в постели, страдала от последствий особой прививки, сделанной перед поездкой в особое место в Африке. В ответ на мой вопрос «ну, как поживаете?» она пробормотала, что в Андах было просто чудесно, а затем несколько менее томным голосом стала расспрашивать о небезызвестной актрисе, с которой ее сын, как говорили, жил во грехе. Одон, сказал я, обещал мне, что не женится на ней. Она спросила, хорошо ли мне летелось, и звякнула бронзовым колокольчиком. Хорошая старая Сильвия! У нее была общая с Флёр де Файлер рассеянная манера, томность осанки отчасти натуральная, отчасти наигранная, служившая удобным алиби, когда она бывала пьяна, и каким-то образом ей удавалось сочетать эту расслабленность с болтливостью, что напоминало медленного чревовещателя, которого перебивает говорливая кукла. Неменяющаяся Сильвия! В течение трех десятилетий, что я видал ее время от времени, то в одном дворце, то в другом, все те же плоские, каштановые стриженные волосы, те же детские бледно-голубые глаза, рассеянная улыбка, элегантные длинные ноги, гибкие нерешительные движения.

«*Une jeune beauté*», как выразился бы милейший Марсель, явился с фруктами и напитками на подносе — нельзя было не вспомнить также и другого автора Жида Ясноумного, который в своих африканских записках так тепло хвалит атласную кожу чернокожих бесенят.

«Вы чуть не лишились случая познакомиться с нашим ярчайшим светилом, — сказала Сильвия, которая была главной попечительницей Вордсмитского университета (и фактически единолично устроила мне забавное назначение на преподавательский пост). — Я только что звонила в колледж — да, возьмите эту скамеечку, — ему гораздо лучше. Попробуйте этот плод масканы, я достала его специально для вас, а мальчик строго мужского пола, и, вообще, Вашему Величеству с этих пор придется быть значительно осторожнее. Я уверена, что вам там понравится, хотя желала

бы понять, почему кому-либо может так хотеться преподавать земблянский. Я считаю, что ДIZE тоже следует приехать. Я сняла для вас дом, который там считается самым лучшим и находится рядом с домом Шейдов».

Знала она их очень мало, но слыхала множество симпатичных рассказов о поэте от Билли Рединга, «одного из очень немногих президентов американского колледжа, знающих латынь». И позвольте мне здесь добавить, какой честью было для меня повстречать через две недели в Вашингтоне этого на вид бескостного, рассеянного, великолепного американского джентльмена в потертом пиджаке, с умом как библиотека, а не как дискуссионная зала. В следующий понедельник Сильвия улетела, но я остался еще на некоторое время, отдыхая от своих приключений, размышляя, читая, делая заметки и часто ездя верхом по прекрасным окрестностям с двумя обаятельными дамами и их застенчивым маленьким грумом. Я часто чувствовал себя, покидая место, в котором мне было хорошо, чем-то вроде тугой пробки, которую вытянули, чтобы дать вылиться сладкому темному вину, — и вот уезжаешь к новым виноградникам и победам. Я приятно провел месяца два, посещая библиотеки Нью-Йорка и Вашингтона, на Рождество слетал во Флориду, а когда был готов отправиться в мою новую Аркадию — сочтя, что это будет мило и учтиво, — послал поэту любезную записку, поздравляя его с восстановлением здоровья и шутливо «предостерегая», что с февраля у него будет соседом горячий поклонник. Я не получил никакого ответа, и о моей любезности никогда впоследствии не упоминалось, так что, я полагаю, записка затерялась среди множества писем от поклонников, которые получают литературные знаменитости, хотя можно было бы ожидать, что Сильвия или кто-нибудь другой сообщит Шейдам о моем прибытии.

Выздоровление поэта действительно оказалось очень быстрым и могло бы быть названо чудом, будь у него какой-либо органический дефект сердца. Но его не было — нервы поэта могут выкидывать странные штуки, но они также могут быстро нагнать ритм здоровья, и вскоре Джон Шейд в своем кресле во главе овального стола вновь говорил о своем любимом Попе восьми исполненным благоговения молодым людям, калеке-вольнослушательнице и трем студенткам, из которых одна могла бы быть мечтой преподавателя. Ему было сказано не сокращать своих обычных упражнений, как, например, прогулок, но я должен признаться, что сам я испытывал сердцебиение и обливался холодным потом от вида этого драгоценного старика, орудующего грубыми садовыми инструментами или взбирающегося, извиваясь, вверх по лестнице университетского здания, как

японская рыба вверх по водопаду. Между прочим, читателю не следует понимать слишком серьезно или слишком буквально слова о бдительном докторе (бдительный доктор, который, как я хорошо знаю, однажды спутал невралгию со склерозом мозга). Как мне известно от самого Шейда, не было произведено никакого экстренного вскрытия, сердца не сжимали рукой, и если оно действительно перестало качать кровь, то пауза, должно быть, была весьма краткая и, так сказать, поверхностная. Все это, разумеется, нисколько не умаляет эпической красоты описания (строки [691–697](#)). >>>

[Строка 697: Решительному назначению](#)

Градус прибыл в аэропорт на *Côte d'Azur* вскоре после полудня 15 июля 1959 года. Несмотря на свои тревоги, он не мог не поразиться видом потока прекрасных грузовиков, ловких мотоциклеток и международных частных автомобилей на Променаде. Он вспоминал без удовольствия жгучий жар и ослепительную синеву моря. Отель «Лазули», где перед Второй мировой войной он провел неделю с чахоточным боснийским террористом, когда отель был излюбленной молодыми немцами убогой дырой с «проточной водой», теперь был убогой дырой «с проточной водой», излюбленной старыми французами. Он стоял на поперечной улице, между двух магистралей, параллельных набережной, и непрерывный рев перекрестного уличного движения, который смешивался со скрежетом и стуком строительных работ, производившихся под предводительством грузоподъемного крана напротив отеля (который двумя десятилетиями раньше был окружен застойной тишиной), оказался восхитительным сюрпризом для Градуса, всегда любившего немножко шума для отвлечения мыслей («*Ça distrait*», как он сказал извиняющейся хозяйке и ее сестре).

Тщательно вымыв руки, он снова вышел на улицу, с дрожью возбуждения, пробегавшей как лихорадка по его кривой спине. За одним из столиков кафе на углу его улицы и Променады мужчина в бутылочно-зеленом пиджаке, сидевший вдвоем с явной шлюхой, пришлепнул обе ладони к лицу со звуком приглушенного чиханья и продолжал сидеть, замаскированный собственными руками, притворяясь, что ожидает продолжения. Градус пошел по северной стороне набережной. Постояв с минуту перед витриной сувенирной лавки, он вошел внутрь, спросил цену маленького бегемота из фиолетового стекла и купил карту Ниццы и окрестностей. Пока он шагал к стоянке такси на улице Гамбетта, он случайно заметил двух молодых туристов в цветистых рубашках, запятнанных потом, с ярко-розовыми лицами и шеями, следствием жары и

неразумной соляризации. Они несли, перебросив через руку, аккуратно сложенные двубортные, на шелковой подкладке, пиджаки от своих темных костюмов с широкими брюками, и прошли, не взглянув на нашего шпиика, который, хотя был исключительно ненаблюдателен, ощутил прилив чего-то смутно знакомого, когда они мимоходом его задели. Они ничего не знали ни о его нахождении за границей, ни о его интересном поручении; надо сказать, что их — и его — начальник сам только за несколько минут до того узнал, что Градус в Ницце, а не в Женеве. Градус же не был извещен, что ему будут помогать в его поисках советские спортсмены Андронников и Ниагарин, с которыми он мельком встречался раз или два на территории онхавского дворца, когда вставлял разбитое окно и проверял для нового правительства рипльсоновские витражи в одной из бывших королевских оранжерей; а через минуту он потерял кончик нити узнавания, усаживаясь с осторожным повиливанием коротконового человека на сиденье старого «кадиллака» и прося себя отвезти в ресторан между Пеллосом и Турецким мысом. Трудно сказать, каковы были надежды и намерения нашего героя. Хотел ли он просто взглянуть сквозь мирты и олеандры на воображаемый плавательный бассейн? Ожидал ли услышать продолжение Гордоновой браваурной пьесы в другом исполнении, более крупными и сильными руками? Подкрался ли бы он с пистолетом в руке туда, где, купаясь в солнечных лучах, лежал распластавшись, как парящий орел, гигант с волосами на груди в виде распластанного орла? Мы не знаем, не знал, быть может, и сам Градус; во всяком случае, он был избавлен от ненужного путешествия. Современные шоферы такси столь же болтливы, как в старину бывали цирюльники, и даже еще до того, как старый «кадиллак» выехал за город, наш неудачливый убийца узнал, что брат его водителя работал в садах виллы «Диза», но что в настоящее время там никто не живет, т. к. королева уехала в Италию до конца июля.

В его отеле сияющая хозяйка вручила ему телеграмму. В ней его бранили по-датски за то, что он покинул Женеву, и велели ничего не предпринимать до следующего распоряжения. Ему также предлагали забыть о своей работе и развлекаться. Но в чем (кроме кровавых грез) мог он найти развлечение? Его не интересовали виды и воды. Он давно бросил пить. Он не ходил на концерты. Он не был игроком. Одно время его сильно тревожили половые позывы, но это было в прошлом. После того как жена, бисерщица в Радуговитре, ушла от него (с любовником-цыганом), он жил во грехе со своей тещей, пока ее не увезли, слепую и отечную, в приют для разваливающихся вдов. С тех пор он несколько раз пытался себя кастрировать, лежал с тяжелым заражением в больнице Стеклова и теперь,

в сорок четыре года, был вполне излечен от похоти, которую Природа, эта великая мошенница, закладывает в нас, дабы хитростью завлечь нас в процесс размножения. Немудрено, что совет поразвлечься привел его в бешенство. Я думаю, я тут прерву это примечание. >>>

[Строки 704–707: Систему... и т. д.](#)

Троекратное «клеток переплетенных» приложено здесь чрезвычайно искусно, а от переключки «систему» и «темы» получаешь удовлетворение. >>>

[Строки 727–728: Нет, мистер Шейд... лишь полутенью](#)

Еще один отличный пример особой, свойственной нашему поэту комбинационной магии. Здесь тонкий каламбур зиждется на двух вторичных значениях слова «shade» (кроме очевидного синонима «нюанс»). Доктор намекает, что Шейд^[26] не только сохранил наполовину свою индивидуальность во время обморока, но что он также был наполовину призраком. Будучи знаком с врачом, который в то время лечил моего друга, осмеливаюсь добавить, что это был тяжелодум, едва ли способный на такое остроумие. >>>

[Строки 734–735: Вероятно... дряблему дирижаблю](#)

Это третий взрыв контрапунктной пиротехники. План поэта — это изобразить в самой текстуре текста изоощренную «игру», в которой он ищет ключа к жизни и смерти (см. строки [808–829](#)). >>>

[Строка 741: Наружным блеском](#)

Утром 16 июля (пока Шейд работал над строками 698–746 своей поэмы) скупающий Градус, страшась еще одного дня вынужденного бездействия в сардонически искрящейся, возбуждительно шумной Ницце, решил, что, пока его не выгонит голод, он не двинется из кожаного кресла в подобию вестибюля, среди бурых запахов своего загаженного отеля. Он не спеша перебрал кипу старых журналов на ближнем столе. Так он и сидел, небольшой монумент бессловесности, вздыхая, надувая щеки, лизал большой палец перед тем, как перевернуть страницу, глазел на картинки и двигал губами, слезая вниз по столбцам печати. Вернув все обратно аккуратной пачкой, он опять погрузился в свое кресло, сводя и разводя сложенные крышей ладони в разнообразных структурных положениях скуки, — когда человек, занимавший соседнее кресло, поднялся и вышел в ослепительный наружный блеск, оставив свою газету. Градус перетянул ее

к себе на колени, развернул и застыл над странной заметкой из местной хроники, привлекавшей его взгляд: в виллу «Диза» проникли взломщики и разграбили содержимое письменного стола, забрав из шкатулки с драгоценностями много ценных старых медалей.

Тут было над чем призадуматься. Не имел ли этот смутно неприятный инцидент отношения к его поискам? Не надо ли ему что-нибудь предпринять в связи с этим? Телеграфировать в штаб? Трудно выразить в сжатой форме простой факт так, чтобы он не смахивал на криптограмму. Послать авиапочтой вырезку из газеты? Он был у себя в комнате, работая лезвием безопасной бритвы над газетой, когда раздалось бодрое «тук-тук» по двери. Градус впустил неожиданного гостя, важную Тень, который в его представлении находился *onhava-onhava* («далеко, далеко»), в дикой, туманной, почти легендарной Зембле! Что за ошеломляющие трюки творит наш волшебный механизированный век со старой матерью-бесконечностью и старым отцом-временем!

Это был веселый, может быть, чересчур веселый малый в зеленой вельветовой куртке. Никто не любил его, но он, несомненно, обладал острым умом. Его фамилия Изумрудов звучала по-русски, но на самом деле значила «из умрудов» (эскимосское племя), которых иногда видишь гребущими в своих умяках (обтянутых шкурами челнах) на изумрудных водах близ наших северных берегов. Ухмыляясь, он сказал, что приятелю Градусу следует собрать путевые документы, включая медицинское свидетельство, и сесть на первый же реактивный самолет назначением в Нью-Йорк. Поклонившись, он поздравил его с тем, что указал с такой феноменальной догадливостью правильное место и правильный способ. Да, после тщательной перлюстрации добычи, которую Андрон и Ниагарушка достали из письменного, розового дерева, стола королевы (большей частью счета и бережно хранимые снимки и эти дурацкие медали), нашлось письмо от короля с его адресом, который был, кто бы мог подумать, — нашему герою, который перебил было вестника успеха, чтобы сказать, что он *никогда* — посоветовали не выказывать излишней скромности. Предъявлен был теперь клочок бумаги, на котором Изумрудов, трясясь от хохота (смерть — развеселое дело), написал для Градуса псевдоним клиента, название университета, где он преподавал, и город, в котором университет был расположен. Нет, эта бумажка не для хранения. Он мог ее хранить, только пока заучит. Этот сорт бумаги (употребляемой фабрикантами макарон) не только отлично переваривается, но и очень вкусен. Веселое зеленое видение удалилось — несомненно, чтобы вернуться к распутству. Какую ненависть вызывают подобные субъекты!

[>>>](#)

[Строка 748: Статья в журнале о некой г-же З.](#)

Всякий, имеющий доступ к хорошей библиотеке, без сомнения, мог бы с легкостью добраться до истоков этой истории и выяснить имя этой дамы, но такая, нудная возня недостойна настоящей эрудиции. [>>>](#)

[Строка 768: Адрес](#)

Тут читателя позабавит мое упоминание о Джоне Шейде в письме (копию которого я, к счастью, сохранил), написанном мною 2 апреля 1959 года, к лицу, обитающему в Южной Франции:

Дорогая моя, твои просьбы абсурдны. Я не даю тебе и не дам — ни тебе, ни кому-либо другому — мой домашний адрес не потому, что боюсь, чтобы ты меня не навестила, как тебе угодно заключить: вся моя почта идет на мой служебный адрес. Дома в предместьях здесь снабжены открытыми почтовыми ящиками на улице, и всякий может насовать в них рекламы или стащить адресованные мне письма (не из простого любопытства, заметь, а из других, более злостных побуждений). Посылаю это письмо авиапочтой и настоятельно повторяю адрес, который тебе дала Сильвия: д-р Ч. Кинбот, КИНБОТ (а не «Карл. Кс. Кингбот», как ты или Сильвия написала: *пожалуйста*, будь осторожнее — и умнее). Вордсмитский университет, Нью-Уай, Аппалачия, США.

Я не сержусь на тебя, но у меня всевозможные заботы, и нервы мои натянуты. Я верил — глубоко и искренне верил — в привязанность человека, жившего здесь, под моей кровлей, но был оскорблен и обманут, чего никогда не случалось во дни моих предков, которые могли обречь обидчика на пытку, хотя я, конечно, никого не хотел бы подвергать пыткам.

Здесь было ужасно холодно, но, слава Богу, настоящая северная зима сменилась южной весной.

Не пытайся мне объяснить, что тебе говорит твой адвокат, а скажи ему объяснить моему адвокату, а уж он объяснит мне.

Моя работа в университете приятная, и у меня очаровательный сосед, не вздыхай и не поднимай бровей, моя дорогая, — это очень старый господин, именно тот старый господин, которому принадлежат стихи о дереве гингко в твоём зеленом альбоме (см. — я хочу сказать, чтобы читатель

посмотрел опять, — примечание к строке [49](#)).

Может быть, было бы безопаснее, если бы ты, моя дорогая, не писала мне *слишком* часто.

[>>>](#)

[Строка 782: Ваши стихи](#)

Образ Монблана, с его «оттененными синевой бастионами и кремовыми от солнца куполами», на мгновение проглядывает сквозь облако этого стихотворения, которое я хотел бы процитировать, но не имею под рукой. Здесь появляется тема «белых гор» из сна дамы, которых опечатка превратила в «белый фонтан» Шейда, как бы смазанный ее гротескным произношением. [>>>](#)

[Строка 802: Гора](#)

Строки 797 (вторая половина этой строчки) — 809, на шестьдесят пятой карточке поэта, были сочинены между закатом 18 июля и зарей 19 июля. В это утро я молился в двух разных церквах (как бы по обе стороны моего земблянского вероисповедания, в Нью-Уае не представленного) и пришел домой в возвышенном состоянии духа. В задумчивом небе не было ни облачка, и сама земля, казалось, вздыхала по Господе нашем Иисусе Христе. В такие грустные солнечные утра я всегда чувствую в глубине моей души, что есть еще надежда для меня не быть исключенным из рая и что мне еще может быть даровано спасение, несмотря на заледеневшую грязь и ужас в моем сердце. Пока я поднимался с поникшей головой по усыпанной гравием дорожке к моему убогому наемному дому, я услышал совершенно ясно — как если бы он стоял и громко говорил у моего плеча, как говорят глуховатому человеку, — голос Шейда, сказавший: «Приходите вечером, Чарли!» Я огляделся в смятении и изумлении — я был совершенно один. Я тотчас позвонил по телефону. Шейдов нет дома, сказала развязная служаночка, противная маленькая поклонница, приходившая к ним стряпать по воскресеньям и, не сомневаюсь, мечтавшая приласкаться к старому поэту как-нибудь в отсутствие жены. Я снова позвонил двумя часами позже, попал, как всегда, на Сибиллу; стал настоятельно просить к телефону моего друга (мои телефонные поручения никогда не передавались), добился и спросил его как можно спокойнее, что он делал около полудня, когда я услышал его, как большую птицу в моем саду. Он не мог точно вспомнить, сказал, подождите минутку, он играл в гольф с Полем (кто бы он там ни был) или, по крайней мере, смотрел, как

Поль играет с другим коллегой. Я крикнул, что должен повидать его вечером, и вдруг, без всякой причины, разразился слезами, затопив телефон и задыхаясь, — такого пароксизма со мной не случилось с тех пор, как 30 марта меня покинул Боб. Было суетливое совещание между Шейдами, а затем Джон сказал: «Чарльз, послушайте, давайте пойдем сегодня вечером на хорошую прогулку. Я вас встречу в восемь». Это было моей второй хорошей прогулкой с 6 июля (неудовлетворительный разговор о природе); третьей — 21 июля — предстояло быть чрезвычайно краткой.

На чем я остановился? Да, мы с Джоном опять шагали, как бывало, в лесах Аркадии под лососиновым небом.

«Ну, — сказал я весело, — о чем это вы писали вчера вечером, Джон? Окно вашего кабинета просто пылало».

Он ответил: «О горах».

Хребет Бера, возвышенность, состоящая из камня в прожилках и косматых елей, встал передо мной во всей своей мощи и величии. Это чудное известие заставило заколотиться мое сердце, и я почувствовал, что теперь, в свою очередь, могу позволить себе быть великодушным. Я попросил моего друга больше ничего мне не говорить, если ему не хочется. Он сказал, да, не хочется, и начал жаловаться на трудности добровольно взятого на себя дела. Он высчитал, что в течение последних двадцати четырех часов его мозг проработал около тысячи минут и произвел пятьдесят строк (скажем, семьсот девяносто семь по восемьсот сорок семь) или по одному слогу каждые две минуты. Он окончил свою третью, предпоследнюю, песнь и начал Песнь четвертую, последнюю (см. [Предисловие](#), см. немедленно [Предисловие](#)), — и не очень ли буду я огорчен, если мы отправимся домой — хотя было всего около девяти, — чтобы он мог нырнуть обратно в свой хаос и вытащить оттуда свой космос со всеми его мокрыми звездами?

Как мог бы я сказать «нет»? Этот горный воздух ударил мне в голову. Он воссоздавал мою Земблю! >>>

[Строка 803: На базе опечатки](#)

Переводчикам поэмы Шейда неизбежно предстоят трудности с трансформацией единым махом «горы» в «фонтан»: это невозможно сделать ни по-французски, ни по-немецки, ни по-русски, ни по-земблянски, так что переводчику придется поместить это в одно из тех подстрочных примечаний, которые напоминают полицейские ряды портретов преступников — преступников-слов. А все-таки! Существует, насколько мне известно, один совершенно необычайный, невероятно изящный

случай, относящийся не к двум, а к целым трем словам. История эта сама по себе довольно банальная (и, вероятно, апокрифическая). В газетном отчете о коронации русского царя вместо «корона» (crown) было напечатано «ворона» (crow), а когда на следующий день это было с извинениями исправлено, произошла вторая опечатка — «корова» (cow). Художественное соответствие между серией crown — crow — cow и русской серией «корона — ворона — корова», я уверен, восхитило бы моего поэта. Я не видал ничего подобного этому соответствию на спортивных полях словесности, а шансы против такого двойного совпадения неисчислимы. >>>

[Строка 810: Основа смысла](#)

Одну из пяти избушек, из которых состоит этот постоянный двор для автомобилистов, занимает его владелец, подслеповатый семидесятилетний старик, чья кривая хромота напоминает мне Шейда. Он держит поблизости маленькую бензоколонку, продает рыбакам червей и меня обычно не тревожит, но на днях он предложил мне «хватать любую книженцию» с полки в его комнате. Не желая его обидеть, я повернулся к ней, наклонил голову на одну сторону, потом на другую, но все это были затасканные детективные романчики в бумажных обложках, достойные только вздоха и улыбки. Он сказал: «Подождите минутку» — и достал из ниши возле кровати затрепанное сокровище в переплете. «Замечательная книга замечательного автора» — «письма» Фрэнклина Лэйна. «Частенько видался с ним в Рэнир-парке, когда я там был молоденьким лесничим. Возьмите на пару дней. Не пожалеете!»

Я не пожалел. Вот выдержка, любопытным образом перекликающаяся по интонации с концом Песни третьей Шейда. Она взята из рукописного отрывка, сочиненного Лэйном 17 мая 1921 года, накануне смерти после тяжелой операции: «...а если бы я перешел в эту иную страну, кого бы я стал там искать? Аристотеля! Ах, вот бы с кем поговорить! Какое было бы удовольствие видеть, как он берет, точно поводья между пальцев, длинную ленту человеческой жизни и прослеживает ее продвижение по всему загадочному лабиринту этой дивной авантюры. Кривая выпрямляется. Дедалов план, упрощенный тем, что смотришь на него сверху, как бы смазан большим пальцем мастера, превратившего всю эту сложную, запутанную головоломку в одну прекрасную прямую линию». >>>

[Строка 819: Играли в игру миров](#)

Мой прославленный друг выказывал детское пристрастие ко всякого

рода игре слов, а в особенности к так называемому словесному гольфу. Он прерывал течение метафизической беседы для того, чтобы предаться этому очень специальному развлечению, и, конечно, с моей стороны было бы невежливо отказаться с ним играть. Вот несколько моих рекордов: «жены» в «мужи» в шесть приемов, «свет» в «тьма» в семь (с «сект» посредине) и «слово» в «пламя» тоже в семь. >>>

[Строка 822: Убивая балканского монарха](#)

Пламенно желал бы я сообщить, что в черновике стояло:

...Убивая земблянского монарха...

Но, увы, это не так: карточки с черновиком Шейд не сохранил. >>>

[Строка 830: Сибилла, я](#)

Эта неожиданная рифма представляет апофеоз, венчающий всю Песнь и совмещающий контрапунктовые мотивы ее «случайностей и возможностей». >>>

[Строки 835–838: Теперь я буду следить... и т. д.](#)

Эта песнь, начатая 19 июля, на шестьдесят восьмой карточке, открывается типичным шейдизмом: остроумным включением нескольких перекликающихся фраз в непролазную чересполосицу переносов. В действительности обещание, данное в этих четырех строчках, не будет сдержано, кроме как в повторении их магического ритма в строках [915](#) и [923–924](#) (подводящих к свирепой атаке в [925–930](#)). Как петух-забияка, поэт будто хлопает крыльями, подготавливая вспышку воображаемого вдохновения, но солнце не всходит. Вместо обещанной здесь безудержной поэзии мы получаем одну или две шутки, чуточку сатиры и в конце песни удивительное сияние нежности и покоя. >>>

[Строки 841–872: Двумя путями сочинения](#)

В сущности, трема, если засчитать наиважнейший метод, когда поэт полагается на вспышку и звучание подсознательного мира и его немого приказа (строка [871](#)). >>>

[Строка 873: Мое лучшее время](#)

Меж тем как мой дорогой друг начинал этой строкой стопку карточек

за двадцатое июля (от карточки семьдесят первой до семьдесят шестой, кончая строкой [948](#)), Градус в аэропорту Орли всходил на борт реактивного самолета, закреплял ремень сиденья, читал газету, поднимался, парил, осквернял небеса. >>>

[Строки 887–888: Так как мой биограф может оказаться слишком степенным или знать слишком мало](#)

Слишком степенным? Слишком мало знающим? Если бы мой бедный друг мог предвидеть, кто это будет, он был бы избавлен от таких догадок. Фактически, я имел удовольствие и честь быть свидетелем сцены (одним мартовским утром), описываемой им в последующих строчках. Я ехал в Вашингтон и перед самым отъездом вспомнил, как он говорил, что хотел бы получить через меня какую-то справку из Библиотеки Конгресса. Я слышу так ясно мысленным ухом холодный голос Сибиллы, говорящей: «Но Джон не может вас принять, он в ванне», и хриплый рык Джона из ванной: «Впусти его, Сибилла, он меня не изнасилует!» Но ни он, ни я не могли вспомнить, что это была за справка. >>>

[Строка 894: Король.](#)

Фотография короля нередко появлялась в Америке в первые месяцы земблянской революции. На кампусе время от времени какой-нибудь проныра с хорошей памятью или одна из клубных дам, которые всегда увивались за Шейдом и его эксцентричным другом, спрашивали меня с принятой в таких случаях бессмысленной значительностью, говорил ли мне кто-нибудь, как я похож на этого несчастного монарха. Я парировал фразой, вроде «все китайцы похожи друг на друга», и менял разговор. Но однажды в преподавательском клубе, где я расположился, окруженный коллегами, мне случилось подвергнуться особенно неловкому нападению. Гастролер-преподаватель немецкой литературы из Оксфорда все восклицал, и вслух и себе под нос, что сходство «абсолютно неслыханное», и, когда я небрежно заметил, что все бородатые земблянцы похожи друг на друга и что, в сущности, название «Зембля» это не искаженное русское слово «земля», а происходит от *Semlerland*, т. е. страна отражений или «схожих», мой мучитель сказал: «Это-то так, но король Карл не носил бороды, и тем не менее это в точности его лицо! Я имел (добавил он) честь сидеть в нескольких ярдах от королевской ложи на спортивном фестивале в Онхаве, который я посетил с моей женой — она шведка — в 1956 году. У нас дома есть его фотография, а ее сестра очень хорошо знакома с матерью одного, из его пажей, интересной женщиной. Разве вы не видите (чуть ли не дергая

Шейда за лацкан) поразительного сходства в чертах — верхней части лица и глаз, да, глаз и переносицы?»

«Нет, сударь, — сказал Шейд, меняя закинутую ногу и слегка перекатываясь в кресле, как обычно бывало, когда он готовил какое-нибудь изречение, — нет ровно никакого сходства. Я видел короля в кинорепортаже, и нет никакого сходства. Сходство — это тень различия. Разные люди усматривают разное сходство и одинаковые различия».

Добряк Неточка, казавшийся странно смущенным во время этого разговора, заметил кротким тоном, как грустно думать, что такой «симпатичный правитель», вероятно, погиб в тюрьме.

Тут вмешался профессор физики. Он был из так называемых «розовых» и верил во все, во что верят так называемые «розовые» (Прогрессивное Образование, Безупречная Честность всякого шпионящего для России, Радиоактивные Осадки исключительно от бомб американского производства, существование в недалеком прошлом Эры Маккарти, Советские Достижения, включая «Доктора Живаго», и т. д.). «Ваше сожаление необоснованно, — сказал он. — Этот жалкий правитель, как известно, бежал, переодетый монахиней; но что бы с ним ни случилось или случится, не может интересовать зембянский народ. История его изобличила, и это его эпитафия».

Шейд: «Это правда, сударь. В должный срок история всякого изобличит. Может быть, король умер, а может быть, так же жив, как вы или Кинбот, но будем считаться с фактами. Я знаю с его слов (указывая на меня), что эти широко распространенные рассказы насчет монахини — вульгарная проэкстремистская выдумка. Экстремисты и их друзья выдумали много чепухи, чтобы скрыть свой конфуз; правда — это то, что король вышел из дворца, пересек горы и покинул страну, не в черном облачении бледной старой девственницы, а одетый атлетом, в красную шерсть».

«Странно, странно», — сказал немецкий гость, который (в память Лесного царя, быть может) один уловил протрепетавшую и тотчас же замершую таинственную ноту.

Шейд (улыбаясь и потирая мое колено): «Короли не умирают, они только исчезают, не правда ли, Чарльз?»

«Кто это сказал?» — резко, как будто выходя из транса, спросил невежественный и всегда подозрительный глава английского отделения.

«Вот посмотрите на меня, — продолжал мой друг, игнорируя г-на Х., — обо мне говорят, что я похож по крайней мере на четырех человек — Сэмуеля Джонсона; старательно реставрированный череп древнего

человека в Экстонском музее; и на двух местных персонажей, расхристанную торопыгу, разливающую похлебку в кафетерии Левин-Холла».

«Третья в ряду ведьм», — уточнил я забавно, и все засмеялись.

«Я бы скорее сказал, — заметил г-н Пардон (Американская История), — что она похожа на судью Гольдсворта» («Он один из нас, — вставил Шейд, наклоняя голову, — в особенности когда по-настоящему бушует против всего мира после хорошего обеда».)

«Говорят, — поспешно начал Неточка, — Гольдсворты очень приятно проводят время...»

«Как жаль, что я не могу представить доказательства тому, что говорю, — пробормотал упорный немецкий гость. — Если бы только здесь была фотография. Не может ли где-нибудь быть...»

«Разумеется», — сказал молодой Эмеральд и встал.

Профессор Пардон заговорил теперь со мной: «У меня, было впечатление, что вы родились в России и что ваша фамилия что-то вроде анаграммы Боткина или Бодкина?»

Кинбот: «Вы меня путаете с каким-то беженцем из Новой Зембли» (саркастически подчеркивая «Новой»).

«Кажется, вы говорили мне, Чарльз, что „кинбот“ на вашем языке значит „цареубийца“?», — спросил мой дорогой Шейд.

«Да, губитель короля», — сказал я (я жаждал объяснить, что король, потопивший свою личность в зеркале изгнания, в каком-то смысле является именно этим).

Шейд (обращаясь к немецкому гостю): «Профессор Кинбот — автор замечательной книги о фамилиях. Кажется (мне), существует английский перевод?»

«Оксфорд, тысяча девятьсот пятьдесят шестой год», — ответил я.

«Вы, однако, знаете по-русски? — спросил Пардон. — Мне кажется, я слышал на днях, как вы беседовали с этим — как бишь его? — о Господи» (старательно складывая губы).

Шейд: «Сударь, нам всем бывает трудно *подступиться* к этому имени» (смеется).

Профессор Хёрли: «Вспомните французское слово „шина“, *ripoo*».

Шейд: «Дорогой мой, я боюсь, вы только надкололи это затруднение» (громко хохочет).

«Шина лопнула, — ввернул я. — Да, — я продолжал, повернувшись к Пардону, — я, конечно, говорю по-русски. Видите ли, это был, по крайней мере у земблянской знати и при дворе, модный язык *par excellence*, куда

более, чем французский. Теперь, разумеется, все это переменялось. Теперь насильно обучают низшие классы говорить по-русски».

«А мы разве не пытаемся тоже преподавать русский язык в школах?» — спросил «розовый».

Тем временем в другом конце комнаты молодой Эмеральд совещался с книжными полками. Теперь он вернулся с томом иллюстрированной энциклопедии А–З.

«Вот, — сказал он, — вот он, этот король. Но посмотрите, он молод и хорош». («О, это не годится!» — завопил немецкий гость.) «Молод, хорош и одет в разукрашенный мундир, — продолжал Эмеральд. — Просто расфуфыренная куколка».

«А вы, — проговорил я спокойно, — щенок с грязным воображением, в грошовом зеленом пиджаке».

«Да что я такое сказал?» — спросил у присутствующих молодой инструктор, разводя ладонями, словно ученик Христа в «Тайной вечере» Леонардо.

«Что вы, что вы, — сказал Шейд, — я уверен, Чарльз, что наш молодой друг не имел намерения оскорбить вашего государя и тезку».

«Он не мог бы, даже если бы хотел», — безмятежно заметил я, обращая все в шутку.

Джеральд Эмеральд протянул мне руку, — в момент написания сего она все еще остается в том же положении. >>>

[Строки 895–899: Чем больше я вещу... или эти брыла](#)

В черновике вместо этих гладких и отвратительных строк стоит

⁸⁹⁵ Я питаю некоторую слабость, признаюсь,
К пародии, последнему прибежищу остроумия:
«Когда в природе, в споре преобладает стойкость
Жертва колеблется, и победитель проигрывает».

⁸⁹⁹ Да, читатель, Поп...

>>>

[Строка 920: Волоски вставлять дыбом](#)

Альфред Хаусман (1859–1936), чей сборник «Шропширский паренек» соперничает с «In Memoriam» Альфреда Теннисона (1809–1892), являясь, — быть может, (нет, вычеркнуть это малодушное «быть

может»!), — величайшим достижением английской поэзии за сто лет, говорит где-то (в каком-то предисловии?) совершенно противоположное: от восхищения вставшие дыбом волоски ему мешали бриться; но поскольку оба Альфреда, несомненно, пользовались обыкновенной бритвой, а Джон Шейд — старинным лезвием «Жиллет», причиной разногласия могло быть пользование различными инструментами. >>>

[Строка 922: Благодаря «Нашему Крему»](#)

Это не совсем точно. В объявлении, которое здесь имеется в виду, борода поддерживается пузырчатой пеной, а не кремоподобным веществом.

После этой строки, вместо строк 923–930, мы находим следующий легко перечеркнутый вариант:

Все художники рождались в веке, который они называли
Жалким; мой же хуже всех:
Век, полагающий, что
Для изготовления межпланетных
Бомб и кораблей нужен гений с иностранной фамилией,
Когда любой осел может сварганить эту дрянь;
Век, в котором свора жуликов может застращать
Селенографа; смехотворный век,
Считающий, что доктор Швейцер — мудрый человек.

Зачеркнув это, поэт примерил другую тему, но вычеркнул и ее:

Англия, где поэты возносились всех выше, ныне
Хочет, чтобы они волочили ноги и чтоб Пегас пахал;
Ныне торгаши прозой из Grubby Group^[27],
Писатель-моралист, сычеподобный болван,
И все Социальные Романы нашего века
Оставляют на странице всего лишь щепоть угольной пыли.

[>>>](#)

[Строка 929: Фрейд](#)

Мысленным оком я снова вижу, как поэт буквально валится на свою

лужайку, колотя по траве кулаком, и трясется, и завывает от хохота, а я сам, доктор Кинбот, с потоком слез, стремящимся по моей бороде, пытаюсь связно читать лакомые кусочки из книги, которую я стащил из аудитории: ученой работы по психоанализу, которой пользуются в американских колледжах, — повторяю, пользуются в американских колледжах. Увы, я нахожу всего только две цитаты, сохранившиеся в моей записной книжке:

«По ковырянию в носу наперекор всем запретам или когда юноша просовывает все время палец сквозь петлицу... учитель-аналитик знает, что аппетит сластолюбца не знает предела в своих фантазиях».

(Цитируется профессором К. из книги д-ра Оскара Пфистера «Психоаналитический метод», 1917 г., Нью-Йорк, с. 79.)

«Шапочка из красного бархата в немецкой версии „Красной Шапочки“ есть символ менструации».

(Цитируется профессором К. из книги Эриха Фромма «Забывтый язык», 1951 г., Нью-Йорк, с. 240.)

Неужели эти скоморохи в самом деле *верят* в то, что они преподают?
[>>>](#)

[Строка 934: Большие грузовики](#)

Должен сказать, что я не помню, чтобы очень часто слышал, как «большие грузовики» проезжают в нашем районе. Громкие автомобили — да, но не грузовики. [>>>](#)

[Строка 937: Старой Зембли](#)

Сегодня я усталый и грустный комментатор.

Параллельно левому краю этой карточки (его семьдесят шестой) поэт написал накануне смерти строчку (из «Второго Послания» Попа в «Рассуждении о человеке»), которую он, может быть, собирался привести в подстрочном примечании:

В Гренландии, Зембле или Бог знает где...

Так это все, что старый предатель Шейд мог сказать о Зембле, — *моей* Зембле? Пока сбивал свою щетину? Странно, странно... >>>

[Строки 939–940: Жизнь человека, и т. д.](#)

Если я правильно понимаю смысл этого сжатого замечания, наш поэт высказывает здесь мысль, что жизнь человека — это только серия подстрочных примечаний к обширному, эзотерическому, неоконченному шедевру. >>>

[Строка 949: И все время](#)

В какую-то минуту, утром 21 июля, последнего дня своей жизни, Джон Шейд так начал свою последнюю пачку карточек (от семьдесят седьмой до восьмидесятой). Две безмолвные зоны времени слились теперь в стандартное время одной человеческой судьбы; и не исключено, что поэт в Нью-Уае и разбойник в Нью-Йорке проснулись в то утро под один и тот же дробный удар секундомера Блюстителя их времени. >>>

[Строка 949: И все время](#)

И все время он приближался.

Внушительная гроза приветствовала Градуса в Нью-Йорке в вечер его прибытия из Парижа (понедельник, 20 июля). Тропический ливень затопил подвалы и рельсы подземной дороги. По превратившимся в реки улицам играли калейдоскопические отражения. Виноградус никогда не видал такого разнообразия молний, — так же как и Жак д'Аргюс, и Джек Грей, коль уж на то пошло (не будем забывать Джека Грея!). Он остановился в третьеклассной бродвейской гостинице и крепко спал, лежа брюхом вверх на одеяле, в полосатой пижаме того сорта, который земблянцы называют *rusker sirsusker* («русский костюм в полоску»), — и оставаясь, как всегда, в носках: с самого 11 июля, когда он посетил финские бани в Швейцарии, он не видал своих босых ног.

Было 21 июля. В восемь утра Нью-Йорк разбудил Градуса грохотом и ревом. Как обычно, он начал свое смутное дневное существование с того, что высморкал нос. Затем он вынул из картонного ночного футляра и вставил в свой, подобный маске Кома, рот набор исключительно крупных и свирепых на вид зубов, — единственный, в сущности, серьезный изъян в его внешности, в остальном безобидной. Покончив с этим, он выудил из портфеля два прикопленных бисквита *petit-beurre* и даже еще более старый, но вполне съедобный, маленький мягковатый бутерброд с имитацией ветчины, туманно связанный с путешествием на поезде из Ниццы в Париж

в прошлую субботу ночью: это было не столько экономией с его стороны («Тени» как-никак выдали ему изрядный аванс), сколько животной приверженностью к привычкам своей бережливой юности. Съевши в постели эти лакомства на завтрак, он начал готовиться к самому важному дню своей жизни. Побрился он с вечера — одной заботой меньше. Свою верную пижаму он закинул не в чемодан, а в портфель, оделся, отстегнул от подкладки пиджака, как камень розовый, забитый грязью между зубьями карманный гребешок, протащил его сквозь свои щетинившиеся волосы, аккуратно надел мягкую фетровую шляпу, вымыл обе руки приятным современным жидким мылом в приятной, современной, почти без запаха, уборной по другую сторону коридора, помочился, сполоснул одну руку и, чувствуя себя чистым и опрятным, пошел прогуляться.

Он никогда прежде не бывал в Нью-Йорке, но, как многие полукретины, был выше новизны. Накануне вечером он пересчитал окна в вертикальных рядах освещенных нескольких небоскребах и теперь, проверив высоту еще нескольких зданий, почувствовал, что знает все, что можно было знать. Он выпил полную до краев чашку и половину блюдца кофе у тесной и мокрой стойки и провел остаток дымчато-голубого утра, переходя со скамьи на скамью и от газеты к газете в западных аллеях Центрального парка.

Он начал со свежего номера «Нью-Йорк таймс». Пока его губы двигались, как два борющихся червя, он читал о всякого рода вещах. Хрущев (фамилия была написана так: «Крущев») внезапно отложил поездку в Скандинавию и вместо этого собирался посетить Земблю (здесь вступаю я: «вы называете себя земблерами, а я вас называю земляками!» Смех и аплодисменты). Соединенные Штаты готовились спустить на воду свое первое торговое судно с атомным двигателем (конечно, только назло русским. — Й. Г.). Прошлой ночью в Ньюарке в квартирный дом № 555 по Саут-стрит ударила молния, разбила телевизор и ранила двух человек, которые смотрели, как актриса заблудилась под сильной бурей в киностудии (эти мятущиеся души ужасны! К. К. К. по свидетельству Д. Ш.). Ювелирная компания «Рашель» в Бруклине поместила набранное шрифтом «агат» объявление, что ищет шлифовальщика с опытом по работе над поддельными драгоценностями (О, у Дегрэ он был!). Братья Хельман сообщали, что они помогали в переговорах о помещении крупного займа: «11 миллионов долларов. Компания по стеклянному производству Декер. Срок уплаты 1 июля 1979 г.»; Градус, помолодев, перечел это дважды, быть может, на фоне серой задней мысли, что ему исполнится 64 года через четыре дня после этого (без комментариев). На другой скамье он нашел

понедельничный номер той же газеты. Во время посещения музея в Белоконске (Градус лягнул в сторону голубя, который подошел слишком близко) королева Англии зашла в угол зала Белых Зверей, сняла перчатку с правой руки и, стоя спиной к нескольким, явно наблюдательным, людям, потеряла лоб и глаз. В Ираке вспыхнул коммунистический бунт. На вопрос о советской выставке в нью-йоркском Колизее поэт Карл Сандбург ответил (я цитирую): «Они ведут свою пропаганду на высочайшем интеллектуальном уровне». Присяжный рецензент новых книг для туристов в отчете о собственной поездке по Норвегии сказал, что фьорды слишком знамениты, чтобы нуждаться в (его) описании и что все скандинавы любят цветы. На международном пикнике детей земблянская малютка крикнула японской подруге: *Ufgut, ufgut, welkam ut Semblerland!* (прощай, прощай, до встречи в Зембле!). Признаюсь, это оказалось чудным развлечением — высматривать в WUL (Wordsmith University Library) различные эфемериды через тень подбитого ватой плеча.

Жак д'Аргюс в двадцатый раз взглянул на свои часы. Точно голубь, он прогуливался, заложив руки за спину. Он остановился, чтобы дать почистить свои башмаки цвета красного дерева, и одобрил то, как грязный, но хорошенький мальчишка щелкал, туго натягивая тряпку. В ресторане на Бродвее он съел большую порцию розовой свинины с кислой капустой, двойную порцию эластичного, «по-французски» зажаренного картофеля и половину перезрелой дыни. Со спокойным удивлением я наблюдаю за ним с моей наемной тучки: вот она — эта тварь, готовящаяся совершить чудовищный поступок — и грубо смакующая грубую пищу! Мы должны допустить, что перспектива будущего в его воображении (поскольку оно у него было), кончалась на этом поступке, на грани всех его возможных последствий — призрачных последствий, сравнимых с действием призрачных пальцев ампутированной ноги или с тем веером добавочных квадратов, которые шахматный конь («поглотитель пространства»), стоящий на крайней линии, чует в иллюзорных продолжениях вне доски, но которые не имеют никакого влияния на его действительные ходы, на действительную игру.

Он вернулся и заплатил эквивалент трех тысяч земблянских крон за свой короткий, но приятный постой в гостинице «Беверланд». Одержимый иллюзией предусмотрительности и практичности, он перевел свой фибровый чемодан, а после мгновенного колебания также свой макинтош в анонимную безопасную вокзальную автоматическую камеру хранения, где, я полагаю, они все еще лежат так же уютно, как мой, в драгоценных камнях, скипетр, рубиновое ожерелье и осыпанная бриллиантами корона

в... все равно где. В свое роковое путешествие он взял всего только известный нам потрепанный черный портфель: он содержал чистую нейлоновую рубашку, грязную пижаму, безопасную бритву, третий *petit-beurre*, пустую картонную коробку, толстую иллюстрированную газету, с которой он не совсем покончил в парке, стеклянный глаз, который он когда-то сделал для своей старой любовницы, и дюжину синдикалистских брошюр, каждую в нескольких экземплярах, напечатанных его собственными руками много лет назад.

Ему нужно было заявиться в аэропорт в два часа пополудни. Накануне вечером, когда он заказывал билет, ему не удалось получить место на более раннем нью-уайском самолете из-за какого-то происходившего там съезда. Он повозился с железнодорожными расписаниями, но они явно были составлены каким-то шутником, так как единственный прямой поезд (прозванный «квадратноколесным» нашими студентами за толчки и тряску) отходил в 5.13 утра, валандался по факультативным остановкам и тратил одиннадцать часов на покрытие четырехсот миль до Экстона; можно было попробовать его надуть, если поехать через Вашингтон, но тогда там вам пришлось бы дожидаться по крайней мере три часа сонливого пригородного поезда. Автобусы для Градуса были исключены, потому что его на них всегда мутило, если только он не оглушал себя пилюлями фармамина, а это могло отразиться на меткости прицела. К слову сказать, он и без того чувствовал себя не слишком устойчиво.

Градус теперь гораздо ближе к нам в пространстве и во времени, чем был в предыдущих песнях. У него короткие стоячие черные волосы. Мы можем вписать в скучный овал его лица большую часть элементов, как например густые брови и бородавку на подбородке. У него обветренное, но нездорового цвета лицо. Мы видим почти что в фокусе строение его несколько месмерических органов зрения. Мы видим его унылый нос с кривым хребтом и раздвоенным кончиком. Мы видим минеральную синеву его челюсти и зернистый пуантилизм его давленных усов.

Мы уже знаем некоторые его жесты, мы знаем напоминающий шимпанзе наклон его широкого тела и короткие задние ноги. Мы достаточно слышали о его измятом костюме. Мы можем теперь, наконец, описать его галстук, пасхальный подарок щеголеватого мясника, его шурина, в Онхаве: искусственный шелк шоколадно-коричневого цвета в красную полоску, конец которого заправлен под рубашку между второй и третьей пуговицами — земблянская мода тридцатых годов, — и, по мнению людей ученых, суррогат отца-жилета. Отталкивающие черные волоски покрывают поверхность его честных грубых рук, щепетильно-

чистых рук сверхпрофсоюзного ремесленника, с заметной деформацией обоих больших пальцев, типичной для изготовителей свечных дисков. Мы видим, несколько неожиданно, его влажную плоть. Мы можем различить (налетая прямо на него, но в совершенной безопасности, — как призрак проходя сквозь него, сквозь блещущий пропеллер его самолета, сквозь делегатов, усмехающихся и машущих нам), его фуксиновые и багровые внутренности и странную, не очень благополучную, зыбь, колышущую его кишки.

Мы можем теперь пойти дальше и описать врачу или любому лицу, согласному нас выслушать, состояние души этого представителя приматов. Он умел читать, писать и считать, он обладал минимальным самосознанием (с которым не знал что делать), некоторым ощущением продолжительности и хорошей памятью на лица, имена, даты и т. п. Духовно он не существовал. Морально это был автомат в погоне за другим автоматом. Тот факт, что оружие у него было настоящее и что намеченная им жертва была живой высокоразвитой человеческой особью, — этот факт принадлежал к *нашему* мировому порядку; в его мире он не имел никакого значения. Я допускаю, что идея уничтожить «короля» содержала в себе для него *некоторую* долю удовольствия, а потому нам следует добавить к списку его личных свойств способность оформлять понятия, главным образом общие места, как я уже говорил в другом примечании, отысканием коего не буду заниматься. Возможно (я допускаю очень много), что было в этом и легкое, очень легкое чувственное удовлетворение, не больше, я бы сказал, чем то, что испытывает мелкий гедонист в момент, когда стоит, сдерживая дыхание, перед увеличительным зеркалом и давит ногтями больших пальцев с предельной меткостью с обеих сторон точки, выдавливая до конца змеевидную полупрозрачную пробку угря, и выпускает вздох облегчения. Градус никого бы не стал убивать, если бы не находил удовольствия не только в воображенном поступке (поскольку он был способен вообразить осязаемое будущее), но также в том, что ему было дано важное, ответственное поручение (которое, между прочим, требовало, чтобы он совершил убийство) от группы людей, разделяющих его понятие справедливости, но он бы не принял поручения, если бы не находил в убийстве подобия довольно отвратительного трепета и мелкой дрожи выжимателя угрей.

Я отметил в более раннем примечании (теперь вижу, что это было примечание к строке [171-й](#)) особые антипатии, а потому и стимулы, свойственные нашему «человеку-автомату», как я выразился в то время, когда его тело еще не было столь плотным, не оскорбляло еще чувств так

грубо, как сейчас, — одним словом, когда он находился дальше от нашей солнечной, зеленой, благоухающей травой Аркадии. Но Господь наш сотворил человека столь дивно, что никакие поиски побуждений и рациональные расследования никогда не могут *по-настоящему* объяснить, как и почему кто-либо способен на уничтожение ближнего (это рассуждение, я знаю, приводит к необходимости временно присвоить Градусу статус человека), если только он не защищает жизни сына или собственной или достижений всей жизни, — так что в окончательном вердикте по делу «между Градусом и короной» я бы предложил признать, что — если его человеческой неполноценности окажется недостаточно для объяснения идиотского путешествия через Атлантический океан с единственной целью опорожнить обойму пистолета, — признать, доктор, что наш получеловек был также полупомешанным.

На борту маленького неудобного самолета, летевшего прямо против солнца, он оказался втиснутым среди нескольких делегатов на Нью-Уайский лингвистический съезд — у всех у них были ярлыки с именем на отворотах пиджаков, и все представляли один и тот же иностранный язык, но так как ни один не умел на нем говорить, то разговоры велись (через голову сутулившегося убийцы и по обе стороны его неподвижного лица) на довольно заурядном англо-американском. Во время этого испытания бедный Градус все недоумевал, что именно вызывало другого рода неудобство, то и дело донимавшее его на всем протяжении полета и бывшее хуже болтовни монолингвистов. Он не мог решить, чему его приписать: свинине, капусте, жареному картофелю или дыне, ибо, перебирая их вкус в спазматической ретроспективе, он находил мало оснований для выбора одного среди этих различных, но равно тошнотворных ингредиентов. Личное мое мнение, которое я хотел бы попросить врача подтвердить, это что французский бутерброд вступил в кишечную междоусобицу с жареным «по-французски» картофелем.

Прибыв после пяти в нью-уайский аэропорт, он выпил два картонных стаканчика прекрасного холодного молока из автомата и приобрел у информационной стойки карту. Обстукивая толстым тупым пальцем контур кампуса, который походил на извивающийся желудок, он спросил у служащего, какая гостиница ближе всего к университету. Ему сказали, что автобус доставит его к гостинице «Кампус», находящейся в нескольких минутах ходьбы от Мэйн-Холла (ныне Шейд-Холла). Во время поездки он вдруг ощутил такие настойчивые позывы, что был вынужден посетить уборную, как только дошел до плотно зарезервированной гостиницы. Там его страдания разрешились жгучим потоком поноса. Только он застегнул

штаны и проверил выпуклость в заднем кармане, как возобновление колик и урчаний заставило его снова оголить чресла, да с такой неуклюжей поспешностью, что его маленький браунинг чуть не полетел в бездну унитаза.

Он все еще стонал и скрежетал искусственными зубами, когда вместе со своим портфелем вновь оскорбил свет солнца. Оно сияло со всевозможными крапчатыми эффектами сквозь деревья, и университетский городок был весел от наплыва летних студентов и гостей лингвистов, среди которых Градус мог легко сойти за коммивояжера, продающего буквари «основного английского языка» для американских школьников или новые замечательные переводные машины, которые способны переводить настолько быстрее человека или зверя.

Серьезное разочарование ждало его в Мэйн-Холле — он был уже закрыт. Три студента, лежавшие на траве, посоветовали ему обратиться в библиотеку, и все трое указали на противоположную сторону лужайки. Туда наш преступник и отправился.

«Я не знаю, где он живет, — сказала заведующая выдачей книг. — Но я знаю, что сейчас он здесь. Вы его, наверное, найдете в Северо-Западном зале номер три, где мы держим нашу исландскую коллекцию. Идите на юг (взмахивая карандашом) и поверните на запад, а потом опять на запад, где вы увидите что-то вроде, вроде (карандаш описывает круглую загогулину — круглый стол? круглый стеллаж?)... Нет, погодите минутку, вы лучше просто идите все на запад, пока не упретесь в залу имени Флорен Хотон, а там вы перейдете на северную сторону здания. Вы никак не можете промахнуться (возвращение карандаша за ухо)».

Не будучи ни моряком, ни беглецом-королем, он немедленно заблудился и, пройдя впустую через целый лабиринт стеллажей, спросил про исландскую коллекцию у суровой на вид матушки-библиотекарши, которая проверяла карточки в стальной картотеке на лестничной площадке. Ее медленные и подробные указания быстро привели его обратно к начальной инстанции.

«Пожалуйста, я не мог», — сказал он, медленно покачивая головой.

«Разве вы... — начала было девушка и внезапно указала вверх: — Да вот он!»

Вдоль открытой галереи, идущей по верху зала, параллельно его короткой стороне, высокий бородатый человек переходил быстрым военным шагом с востока на запад. Он исчез за книжным шкафом, но Градус успел узнать по крупному, крепкому телосложению, по бодрой осанке, по носу с высокой горбинкой, прямому лбу и энергичному размаху

рук Карла-Ксаверия Возлюбленного.

Наш преследователь бросился к ближайшей лестнице и вскоре очутился среди зачарованного безмолвия «Редких Книг». Эта зала была очень хороша. Она не имела дверей — прошло несколько мгновений, прежде чем ему удалось заметить задрапированный вход, которым он сам только что воспользовался. Меж тем как ужасные осложнения поисков смешивались с возобновлением невозможных схваток у него в животе, он бросился назад, пробежал три ступеньки вниз и девять вверх и влетел в круглую залу, где лысый загорелый профессор в гавайской рубашке сидел за круглым столом и читал с ироническим выражением лица русскую книгу. Он не обратил внимания на Градуса, который пересек комнату, переступил через толстую белую собачку, не разбудив ее, прогремел вниз по винтовой лестнице и очутился в хранилище «П». Здесь, хорошо освещенный, со многими трубами вдоль стен, оштукатуренный проход привел его к неожиданному раю ватерклозета для водопроводчиков или для заблудившихся ученых, где он быстро, с проклятиями, переложил свой пистолет из ненадежного болтающегося кармана в карман пиджака и освободился от еще одной порции жидкого ада внутри. Он снова начал взбираться по лестнице, но тут заметил в храмовом освещении стеллажей служащего, стройного молодого индуса, с бланком заказа в руке. Я никогда не говорил с этим юношей, но не раз замечал на себе взгляд его иссиня-карих глаз, и, несомненно, мой академический псевдоним был ему знаком, но какая-то чувствительная клеточка в нем, какая-то струна интуиции отозвалась на резкие расспросы убийцы, и, как бы защищая меня от смутной опасности, он улыбнулся и сказал: «Я не знаю его, сударь».

Градус вернулся в Отдел выдачи.

«Очень жаль, — сказала девушка, — я только что видела, как он ушел».

«*Боже мой, Боже мой!*», — забормотал Градус, который иногда в трудную минуту употреблял русские восклицания.

«Вы найдете его в телефонном справочнике», — сказала она, толкая к нему книгу и отменив существование больного, чтобы заняться г-ном Джеральдом Эмеральдом, который брал бестселлер в целлофановой суперобложке.

Со стонами и переступая с ноги на ногу, Градус принялся листать университетский справочник, но когда он отыскал адрес, перед ним встала проблема, как туда добраться.

«Дальвич-Роуд! — воскликнул он, обращаясь к девушке. — Близко, далеко? Очень далеко, наверно?»..

«Не вы ли новый ассистент профессора Пнина?» — спросил Эмеральд.

«Нет, — сказала девушка. — Этот господин, кажется, ищет доктора Кинбота. Вы ведь ищете доктора Кинбота, не правда ли?»

«Да, и я не могу больше», — сказал Градус.

«Я так и думала, — сказала девушка. — Он ведь, кажется, живет где-то рядом с господином Шейдом, Джерри?»

«Определенно, — сказал Джерри и повернулся к убийце: — Я могу вас подвезти, если хотите. Мне по пути».

Говорили ли они в автомобиле, эти двое, человек в зеленом и человек в коричневом? Кто может сказать? Они не рассказывали. В конце концов, поездка продолжалась всего несколько минут (у меня, за рулем моего мощного «кэрмлера», она занимала четыре с половиной).

«Я думаю, я выпущу вас здесь, — сказал Эмеральд. — Вон этот дом наверху».

Трудно решить, чего больше хотелось Градусу, *alias* Грею, в эту минуту — разрядить ли свой пистолет или избавиться от неистощимой лавы в кишках. Когда он начал поспешно тормозить ручку автомобильной дверцы, небрежливый Эмеральд наклонился близко к нему, через него, почти сливаясь с ним, чтобы помочь ему открыть ее, а затем, захлопнув ее, помчался на какое-то свидание внизу, в долине. Мой читатель, я надеюсь, оценит все эти мелкие подробности, которые я с таким тщанием постарался представить ему здесь, после длительной беседы, которая была у меня с убийцей. Он еще лучше оценит их, когда я скажу, что, согласно версии, позднее распущенной полицией, Джека Грея подвез от самого Ронока, или откуда-то такое, заскучавший шофер грузовика! Остается только надеяться, что беспристрастный розыск обнаружит фетровую шляпу, забытую в Библиотеке или в автомобиле г-на Эмеральда. >>>

[Строка 958: «Ночной прибор»](#)

Я помню одно маленькое стихотворение из «Ночного прибора» («Шум моря ночью»), случайно приведшее к моему первому соприкосновению с американским поэтом Шейдом. Молодой лектор по американской литературе, блестящий и обаятельный юноша из Бостона, показал мне этот прелестный тонкий томик в Онхаве, в мои студенческие дни. Следующие строки, которыми начинается это стихотворение, озаглавленное «Искусство», понравились мне своей неотвязной мелодией и покорили тем, что шли вразрез с религиозным чувством, внушенным мне нашей консервативной земблянкой религией.

О мамонтовой ловле, одиссеях
И о восточных чудесах
Забыть ради богини итальянской
С дитятею фламандским на руках.

>>>

[Строка 964: «Помоги, Вильям!» «Бледный огонь».](#)

В парафразе это, очевидно, означает: поищу-ка я у Шекспира чего-нибудь, что годилось бы как заглавие. Эта находка и есть «Бледный огонь». Но в котором произведении Барда выискал его наш поэт? Моим читателям придется сделать собственное изыскание. У меня с собой всего только крошечное жилетно-карманное издание «Тимона Афинского» — по-землянски. В нем, во всяком случае, нет ничего, что могло бы показаться эквивалентом «бледного огня» (будь это так, мое везение оказалось бы статистически чудовищным).

До мистера Кембея английский язык в Земле не преподавался. Конмаль овладел им совершенно самостоятельно (главным образом, выучив наизусть словарь) еще молодым человеком, около 1880 года, когда перед ним, казалось бы, открывалась не словесная преисподняя, а спокойная военная карьера, и его первый труд (перевод шекспировских «Сонетов») был результатом пари с офицером-однопольчанином. Он променял свой мундир с аксельбантом на домашний халат ученого и взялся за «Бурю». Так как он работал медленно, то ему потребовалось полстолетия, чтобы перевести полное собрание сочинений того, кого он называл «Дзе Барт». После этого, в 1830 году, он перешел на Мильтона и других поэтов, упорно просверливая столетия, и как раз окончил «Балладу о Трех Охотниках на Тюленей» Киплинга («Таков закон у москвитян, утверждаемый дробью и сталью»), когда заболел и вскоре испустил дух на своей кровати под роскошным расписным балдахином с репродукциями альтамирских животных, и в последнем бреду последними его словами было «*Comment dit-on „mourir“ en anglais?*» — прекрасный и трогательный конец.

Легко глумиться над ошибками Конмаля. Это наивные промахи великого пионера. Он слишком много жил в своей библиотеке, слишком мало среди мальчиков и отроков. Писателям следует видеть мир, срывать его фиги и персики, а не предаваться постоянно размышлению на башне из желтой слоновой кости, — что в некотором роде было также ошибкой

Джона Шейда.

Не следует забывать, что, когда Конмаль взял за свой подавляющий труд, по-земблянски еще не существовало ни одного английского писателя, кроме Джейн де Фоун, романистки в десяти томах, чьи произведения, странно сказать, в Англии неизвестны, и нескольких отрывков из Байрона, переведенных с французских версий.

Крупный, вялый мужчина, без всяких страстей, кроме поэзии, он редко покидал свой хорошо натопленный замок с его пятьюдесятью тысячами украшенных гербом книг, и было известно, что он провел два года подряд в постели за чтением и писанием, после чего, освеженный, отправился в первый и единственный раз в Лондон, но погода была туманная, и он не понимал языка, а потому вернулся назад в постель еще на один год.

Поскольку английский язык был прерогативой Конмаля, его *Шекспир* оставался неуязвимым в течение большей части его долгой жизни. Почтенный герцог славился благородством своей работы; мало кто осмеливался усомниться в ее точности. Лично у меня никогда не хватило духа сличить ее с оригиналом. Один бессердечный академик, который это сделал, потерял в результате академическое кресло и получил суровый выговор от Конмаля в виде необычайного сонета, сочиненного прямо на красочном, хоть и не совсем правильном, английском языке, который начинался так:

Я не есмь раб! Пусть будет раб мой критик.
Я быть им не могу. Шекспир бы не желал.
Пусть рисовальщик-ученик копирует акант, —
Я с Мастером тружусь над архитравом!

>>>

[Строка 991: Подковы](#)

Ни Шейду, ни мне не удалось установить, откуда именно доносились эти звякающие звуки, — которое из пяти семейств, живших по ту сторону дороги на нижних склонах нашего лесистого холма, через день занималось по вечерам метанием подков; но это дразнящее звяканье и дзиньканье привносило грустную ноту в прочие вечерние звучания Дальвич-Хилла — перекликались дети, детей звали домой, и экстатически лаял пес-боксер, которого большинство соседей недолюбливало (он переворачивал мусорные бочки), приветствовавший вернувшегося домой хозяина.

Именно такая смесь металлических мелодий окружила меня в тот роковой, неуместно радужный вечер 21 июля, когда под рев мотора моего мощного автомобиля я вернулся из библиотеки домой и тотчас же пошел посмотреть, что подельывает мой дорогой сосед. Я только что перед тем встретил Сибиллу, мчавшуюся по направлению к центру города, и потому лелеял кое-какие надежды на вечер. Признаюсь, я очень был похож на тощего осторожного любовника, пользующегося тем, что молодой муж остался дома один!

Промеж деревьев я разглядел белую рубашку и седые волосы Джона: он сидел в своем «гнезде» (как он его называл), на напоминавшем беседку крыльце или веранде, о которой я упомянул в моем примечании к строкам [47–48](#). Я не мог удержаться, чтобы не подойти немного ближе — о, осторожно, почти что на цыпочках; но тут я заметил, что он скорее отдыхает, чем пишет, и открыто подошел к его крыльцу или насесту. Его локоть был на столе, кулак подпирал лицо, все морщины съехали, глаза были влажные и туманные; он смахивал на старую подвыпившую ведьму. Он поднял свободную руку в знак приветствия, не меняя позы, которая, хоть была мне знакома, поразила меня на этот раз скорее сиротливым, чем задумчивым видом.

«Ну что, — спросил я, — муза была к вам благосклонна?»

«Очень благосклонна, — ответил он, слегка наклоняя подпертую рукой голову. — Исключительно благосклонна и ласкова. Вот тут у меня (указывая на громадный брюхатый конверт рядом с собою на клеенке) фактически законченный продукт. Остается разрешить несколько пустяков, и (вдруг ударив кулаком по столу) вот я и одолел это, черт побери».

Конверт, с одного конца не закрытый, пучился от сложенных стопкой карточек.

«Где барыня?» — спросил я (ощущая сухость во рту).

«Помогите мне, Чарли, вылезти отсюда, — попросил он. — Нога уснула. Сибилла на обеденном собрании своего клуба».

«Предложение, — сказал я трепеща. — У меня дома полгаллона токайского. Я готов разделить мое любимое вино с моим любимым поэтом. На обед будет горсть грецких орехов, два-три крупных томата и гроздь бананов. А если согласитесь показать мне ваш „законченный продукт“, будет еще один гостинец: я обещаю открыть вам, *почему* я дал вам или, скорее, *кто* дал вам вашу тему».

«Какую тему?» — спросил Шейд рассеянно, опираясь на мою руку и постепенно вновь обретая контроль над онемелой ногой.

«Нашу синюю беспросветную Земблю, и Стейнманна в красном

колпаке, и моторную лодку в приморской пещере, и...»

«А! — сказал Шейд. — Мне кажется, я довольно давно уже разгадал ваш секрет. Тем не менее я с удовольствием попробую ваше вино. Ладно, теперь я уже сам справлюсь».

Мне было хорошо известно, что он никогда не мог устоять перед золотой каплей того или сего, особенно потому, что дома он был на строжайшем режиме. В порыве тайного ликования я освободил его от его большого конверта, мешавшего его движениям, пока он спускался по ступенькам крыльца, бочком, как боязливый ребенок. Мы пересекли лужок, мы пересекли дорогу. Диньк-дзинь, доносилась подковная музыка из Таинственной Обители. В большом конверте, который я нес, я мог нащупать схваченные резиновым кольцом пачки картотечных карточек с твердыми углами. Мы до глупости свыклись с чудом, что несколько напечатанных знаков могут содержать бессмертные образы, извилины мысли, новые миры с живыми людьми, которые говорят, плачут, смеются. Мы принимаем это на веру так просто, что самым актом нашего животного рутинного приятия в каком-то смысле разрушаем труд веков, историю постепенной выработки поэтического описания и конструкции, от древесного человека до Браунинга, от пещерного человека до Китса. Что если в один прекрасный день мы все проснемся и увидим, что совершенно не умеем читать? Я хотел бы, чтоб у вас захватило дыхание не только оттого, что вы читаете, но и от того чуда, что оно поддается чтению (как я, бывало, говорил моим студентам). Хотя я способен, благодаря долгим занятиям синей магией, подражать любой прозе на свете (но, странным образом, не стихам — я никуда не годный рифмач), я не считаю себя настоящим художником, кроме как только в одной области: я могу делать то, что может делать только настоящий художник, — наброситься на забытую бабочку откровения, одним махом освободиться от вещественных навыков, увидеть основу мира, а также и уток, и перебор на основе. Торжественно я взвесил в руке то, что нес слева под мышкой, и на мгновение почувствовал, что обогатился неопишуемым изумлением, как если бы мне сообщили, что светляки подают зашифрованные сигналы от имени заблудившихся духов или что летучая мышь пишет поддающуюся прочтению повесть о пытках в ушибленном и зашельмованном небе.

Я прижимал всю Земблю к своему сердцу. >>>

[Строки 993–995: Темная «Ванесса», и т. д.](#)

За минуту до его смерти, пока мы переходили из его владений в мои и начали пробираться вверх промеж можжевельника и декоративного

кустарника, бабочка «красный адмирал» с головокружительной быстротой стала вертеться вокруг нас, как цветное пламя (см. примечание к строке [270](#)). Раз или два до этого мы уже замечали тот самый экземпляр, в то же самое время, на том же самом месте, там, где низкое солнце, найдя проход сквозь листву, расплескивалось по коричневому песку последним сиянием, меж тем как вечерняя тень покрывала остальную часть дорожки. Глаз не мог уследить за быстрой бабочкой в солнечном луче, то вспыхивавшей, то исчезающей и вспыхивавшей вновь, почти пугая подражанием сознательной игре, которая достигла кульминационного пункта, когда она опустилась на рукав моего восхищенного друга. Она снялась опять, и в следующее мгновение мы увидели, как она резвится в упоении беззаботной быстроты вокруг лаврового куста, то и дело присаживаясь на лакированный лист и соскальзывая вниз по срединному желобку, как мальчик по перилам лестницы в день своего рождения. Затем прилив тени дошел до лавров, и великолепное бархатно-пламенное создание растворилось в нем. >>>

[Строка 998: Садовник кого-то из соседей](#)

Кого-то из соседей! Поэт видал моего садовника много раз, и я могу объяснить такую неопределенность только его желанием (заметным и в других местах в его обращении с именами и т. п.) придать поэтическую патину, налет отдаленности знакомым людям и вещам — хотя есть, конечно, возможность, что он по ошибке принял его в переменчивом свете за чужого, работающего для чужого. Этого даровитого садовника я открыл случайно, в праздный весенний день, когда я медленно брел домой после раздражительного и неловкого случая в крытом бассейне университета. Он стоял наверху зеленой лестницы, занимаясь больной веткой благодарного дерева в одной из знаменитейших аллей Аппалачии. Его красная фланелевая рубашка лежала на траве. Мы поговорили, немного застенчиво, — он наверху, я внизу. Я был приятно удивлен тем, что он мог определить естественную среду каждого из своих пациентов. Стояла весна, и мы были одни среди этой восхитительной колоннады деревьев, которую приезжие из Англии перефотографировали от одного конца до другого. Я могу здесь перечислить только несколько видов этих деревьев: Зевесов крепкий дуб и два других — один из Англии, расколотый ударом молнии, второй, с сучковатой древесиной, со средиземноморского острова; стойкую липу («*lime*» ныне «*lime*»); феникс (ныне финиковая пальма), сосна и кедр («*cedrus*»), все островные; венецианский сикомор («*acer*»), две ивы: зеленая также из Венеции и седолиственная из Дании; летний вяз, чьи пальцы, одетые в кору, окольцованы плющом; летний тут, тень которого приглашает

помедлить, и грустный кипарис шута из Иллирии.

Он проработал два года санитаром в негритянской больнице в Мэриленде. Он нуждался. Ему хотелось изучить садоводство, ботанику и французский («чтобы читать в оригинале Бодлера и Дюма»). Я пообещал ему финансовую поддержку. Он начал работать у меня на другой же день. Он был ужасно мил и трогателен, и все такое, но немного слишком разговорчив и совершенный импотент, что действовало на меня расхолаживающе. А помимо этого, он был сильный, рослый малый, и я испытывал громадное эстетическое удовольствие, наблюдая, как он энергично борется с землей и дерном, или деликатно обращается с луковицами, или прокладывает мощенную плитами дорожку, которая может оказаться (или не оказаться) приятным сюрпризом для хозяина моего дома, когда он благополучно вернется из Англии (где, я надеюсь, не выслеживают его кровожадные маньяки). Как мне страстно хотелось, чтобы он (не хозяин, а садовник) носил великолепный большой тюрбан и шаровары и браслет на щиколотке. Я бы, конечно, нарядил его согласно старому романтическому представлению о мавританском принце, будь я северным королем — или, скорее, будь я все еще королем (положение изгнанника становится дурной привычкой). Ты упрекнешь меня, мой скромный друг, что так много пишу о тебе в этом примечании, но я чувствую потребность воздать тебе должное. В конце концов, ты спас мне жизнь. Мы с тобой последние люди, видевшие Джона Шейда живым, и после ты признался мне в странном предчувствии, заставившем тебя прервать работу, когда ты из кустарника заметил нас идущими к крыльцу, где стоял... (суеверный страх мешает мне начертать странное темное слово, которое ты употребил). >>>

[Строка 1000 \[= строке 1-й: Я был тенью свиристеля убитого\]](#)

Сквозь тонкую бумажную ткань рубашки Джона виднелись на его спине розовые пятна там, где она пристала к коже над и вокруг смешной одежды, которую он носил под рубашкой, как все добрые американцы. Я вижу с такой страшной ясностью, как одно толстое плечо перекачивается, а второе поднимается; вижу седое помело его волос, морщинистый затылок, красный носовой платок, безжизненно свисающий из одного заднего кармана, вздутие бумажника в другом, широкий деформированный таз, травяные пятна на задних карманах защитного цвета штанов, ободранные задники его мокасинов — и слышу его обаятельное рычание, когда он на ходу оглядывается на меня, чтобы сказать что-нибудь вроде «смотрите, не оброните чего-либо, мы не будем заниматься бумажной охотой» или

(вздрагивая) «придется опять написать Бобу Уэльсу (городскому мэру) об этих проклятых вечерних грузовиках по вторникам».

Мы дошли до гольдсвортовой стороны переулка и мощеной дорожки, которая пробиралась вдоль бокового газона на соединение с посыпанной гравием тропой, ведущей наверх от Дальвичского шоссе к парадной двери Гольдсвортов, как вдруг Шейд заметил: «У вас гость».

Профилем к нам на крыльце стоял невысокий коренастый темноволосый человек в коричневом костюме, держа за смешной ремешок потрепанный, бесформенный портфель, — его согнутый указательный палец все еще был направлен на кнопку звонка, которую он только что перед тем нажал.

«Я убью его», — пробормотал я. Недавно девушка в капоре навязала мне пачку религиозных брошюр и сказала, что ее брат, которого я почему-то представил себе как хрупкого невротического юношу, зайдет, чтоб обсудить со мной Божий Промысел и объяснить мне все, чего не пойму в брошюрах. Хорош юноша!

«О, я убью его», — повторил я чуть слышно — так невыносимо было думать, что упоение поэмой может быть отложено. В моей злости и нетерпении отделаться от незваного гостя я обогнал Джона, который до того шел впереди меня быстрым, ковляющим шагом, на пути к двойному удовольствию: угощению и откровению. Видел ли я когда-нибудь Градуса до этого? Дайте подумать. Видел ли? Память качает головой. Тем не менее убийца впоследствии уверял меня, что однажды с моей башни, выходящей на фруктовый сад дворца, я помахал ему, между тем как он и один из моих бывших пажей, мальчик с волосами, похожими на упаковочную стружку, нес уложенное в раму стекло из оранжереи в упряжечный фургон; но когда посетитель теперь повернулся к нам и пронзил нас взглядом своих змеино-грустных, тесно посаженных глаз, я ощутил такой трепет опознания, что, лежи я в постели и спи, я бы проснулся со стоном.

Его первая пуля сорвала пуговицу с рукава моего черного блейзера, другая пропела у моего уха. Какой злостный вздор это утверждение, что он целился не в меня (которого он только что видел в библиотеке — будемте последовательны, господа, как-никак наш мир рационален), а в господина с седыми вихрами, стоявшего позади меня. О, он целился именно в меня, но каждый раз давал маху, неисправимый мазила, меж тем как я инстинктивно пятился, с ревом распахивая мои большие сильные руки (в левой все еще держа поэму, «все еще сжимая неуязвимую тень», как сказал Мэтью Арнольд, 1822–1838 гг.), силясь остановить приближающегося безумца и

заслонить Джона, так как боялся, что он может совершенно случайно в него попасть, — меж тем как он, мой милый неуклюжий старый Джон, все хватался за меня и тянул меня за собой, назад, под защиту своих лавров, серьезно и суетливо, как бедный хромо́й мальчик, старающийся оттащить своего спастического братца за пределы досягаемости камней, которыми в них бросают школьники, — в былое время обычное зрелище во всех странах. Я чувствовал — и все еще чувствую — руку Джона, нащупывающую мою, ищущую концы моих пальцев, находящую их, но только чтобы мгновенно их выпустить, как будто передав мне в каком-то величественном состязании эстафету жизни.

Одна из пуль, пощадивших меня, ударила его в бок и прошла через сердце. Его присутствие позади меня, внезапно оборвавшись, заставило меня потерять равновесие, и одновременно, в завершение этого фарса судьбы, лопата моего садовника нанесла бандиту Джеку из-за живой изгороди сокрушительный удар по темени, свалив его, так что оружие вылетело из его руки. Наш спаситель поднял пистолет и помог мне встать на ноги. У меня были сильно ушиблены копчик и кисть правой руки, но поэма была цела. Джон, однако, лежал ничком на земле с красным пятном на белой рубашке. Я все еще надеялся, что он не убит. Безумец сидел на ступеньке крыльца, осовело поддерживая окровавленными руками кровоточившую голову. Оставив садовника стеречь его, я бросился в дом и спрятал бесценный конверт под кучей девичьих калош, отделанных мехом ботинок и белых резиновых сапог, наваленных на дне стенного шкафа, из которого я вышел, как будто это был конец тайного прохода, который вывел меня из моего зачарованного замка, прямо из Зембли, в эту Аркадию. Затем я набрал номер 11111 и вернулся со стаканом воды к месту побоища. Бедный поэт был теперь перевернут на спину и лежал с открытыми мертвыми глазами, направленными кверху на вечернюю солнечную лазурь. Вооруженный садовник и подшибленный убийца курили, сидя бок о бок на ступенях. Последний, потому ли, что его мучила боль, или решив играть новую роль, совершенно меня игнорировал, как если бы я был каменным королем на каменном коне на Тессерской площади в Онхаве; но поэма была цела.

Садовник взял стакан, который я поставил рядом с цветочным горшком у ступенек крыльца, и поделил его с убийцей, а потом проводил его в подвальный клозет, и тут прибыла полиция и скорая помощь, и бандит назвался Джеком Греем, без определенного места жительства, кроме заведения для душевнобольных преступников (*ici*, добрый пес), который, конечно, должен бы был все время быть его постоянным адресом и из

которого, как думала полиция, он только что сбежал.

«Пойдем, Джек, мы тебе что-нибудь положим на голову», — сказал спокойный, но деловитый полицейский, шагая через тело, а потом была ужасная минута, когда подъехала дочь д-ра Саттона с Сибиллой Шейд.

В течение этой беспорядочной ночи я улучил момент, чтобы перевести поэму из-под сапожек гольдсвортовской четверки нимфеток в суровую сохранность моего черного чемодана, но только на рассвете я почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы осмотреть мое сокровище.

Мы знаем, как твердо, как глупо я верил, что Шейд сочиняет поэму, вроде романа в стихах, о земблянском короле. Мы были подготовлены к ужасному разочарованию, которое мне предстояло. О, я не надеялся, что он посвятит себя *полностью* этой теме! Она, конечно, отлично могла бы быть сплетена с чем-нибудь из его собственной жизни и со всякими американизмами, — но я был уверен, что поэма будет содержать те изумительные события, которые я ему описал, персонажей, которых я для него призвал к жизни, и всю неповторимую *атмосферу* моего королевства. Я даже предложил ему хорошее заглавие, заглавие книги, существовавшей во мне, страницы которой ему предстояло разрезать: *Solus Rex*. Вместо того я увидел «Бледный огонь», что для меня ровно ничего не означало. Я начал читать поэму. Я читал все быстрее и быстрее. Я мчался по ней, рыча как взбешенный молодой наследник, читающий завещание старого обманщика. Где были зубчатые стены моего закатного замка? Где была Зембля Прекрасная? Где хребет ее гор? Где ее долгий трепет сквозь туман? И мои прелестные мальчики-цветочки, и ее радуга цветных окон, и паладины Черной Розы, и вся дивная повесть? Ничего этого не было. Моего сложного приношения, которое я навязывал ему с терпением гипнотизера и упорством любовника, там просто не было. Ах, я не могу выразить эту муку! Вместо безудержной блистательной романтики что было у меня? Автобиографическое, определенно аппалачиевское, довольно старомодное повествование в ново-поповском просодическом стиле — конечно, прекрасно написанное, Шейд не мог писать иначе как прекрасно, — но лишенное моей магии, этой особой горячей струи магического безумия, которая, как я был уверен, должна протекать через всю вещь и заставить ее перейти за пределы своего времени.

Постепенно ко мне вернулось мое обычное самообладание. Я перечел «Бледный огонь» более внимательно. Он понравился мне больше теперь, когда я ожидал меньше. А это, что это было такое? Что это была за смутная, дальняя музыка, что за отблески красок в воздухе? Там и сям я открывал в нем, и в особенности — в особенности — в его бесценных вариантах,

отзвуки и блески моей мысли, долгую зыблющуюся границу моего величия. Теперь я чувствовал новую жалостливую нежность к поэме, какую испытываешь к непостоянному юному созданию, которое похитил черный великан и брутально им наслаждался, но которое теперь опять в безопасности в нашем замке и парке, посвистывает с конюхами, плавает с ручным тюленем. Тебе все еще больно, должно быть больно, но со странной признательностью целуешь эти влажные веки и ласкаешь эту оскверненную плоть.

Мой комментарий к этой поэме, который теперь находится в руках моих читателей, представляет собой попытку отделить эти отзвуки и огненную зыбь, и бледные фосфорные намеки, и множество подсознательных заимствований у меня. Иные из моих примечаний могут отзываться горечью, но я приложил все усилия, чтобы не касаться никаких обид. И в этой конечной схолии я не намерен жаловаться на пошлый, жестокий вздор, который профессиональные репортеры и «друзья» Шейда позволяют себе изливать в ими состряпанных некрологах, ложно описывающих обстоятельства смерти Шейда. Я смотрю на их отзывы обо мне как на смесь журналистического жестокосердия и гадючьего яда. Я не сомневаюсь, что многие утверждения, сделанные в этом труде, будут отмечены виновными после его выхода в свет. Г-жа Шейд не вспомнит, чтобы ее муж, который «показывал ей все», показал ей тот или другой из драгоценных вариантов. Трое студентов, лежавших на траве, окажутся страдающими полной амнезией. Заведующая выдачей в библиотеке не вспомнит (или ей прикажут не вспоминать), чтобы кто-нибудь спрашивал д-ра Кинбота в день убийства. И я уверен, что г-н Эмеральд на мгновение прервет исследование упругих прелестей какой-нибудь грудастой студентки, чтобы с энергией возбужденной мужественности отрицать, что он кого-либо подвез в тот вечер к моему дому. Другими словами, все будет сделано для того, чтобы полностью отделить мою личность от судьбы моего дорогого друга.

Тем не менее я получил маленький реванш: косвенным образом всеобщее заблуждение помогло мне получить право на издание «Бледного огня». Мой добрый садовник, с увлечением рассказывавший всем и каждому то, что он видел, несомненно, ошибся в нескольких отношениях — не столько, может быть, в своем преувеличенном отчете о моем «героизме», сколько в предположении, что так называемый Джек Грей умышленно целился в Шейда; вдова Шейда была глубоко тронута тем, что я будто бы «бросился» между бандитом и его жертвой, и в минуту, которой я никогда не забуду, воскликнула, глядя мои руки: «Есть вещи, за которые

не существует достаточного вознаграждения ни на этом, ни на том свете!» «Тот» свет приходится очень кстати, когда неверующего постигает несчастье, но я, конечно, пропустил это без внимания и вообще решил ничего не опровергать, а сказал вместо этого: «Но такое вознаграждение *есть*, дорогая Сибилла. Это может вам показаться очень скромной просьбой, но дайте мне разрешение, Сибилла, проредактировать и опубликовать последнюю поэму Джона». Разрешение было тотчас же дано, с новыми восклицаниями и объятиями, и уже на следующий день ее подпись стояла под соглашением, которое составил для меня мелкий, но проворный адвокатик. Это мгновение горестной благодарности вы скоро забыли, моя дорогая. Но уверяю вас, что я не желаю зла и что Джон Шейд, может быть, не так уж будет раздражен моими примечаниями, несмотря на все интриги и грязь. Из-за этих махинаций передо мной возникли кошмарные проблемы при попытках заставить людей спокойно увидеть — без того, чтобы немедленно начинать кричать и наступать на меня, — правду этой трагедии — трагедии, которой я был не случайным свидетелем, а первым действующим лицом и главной, хотя только потенциальной, жертвой. Кончилось тем, что шумиха повлияла на ход моей новой жизни и заставила меня удалиться в эту скромную горную хижину; но мне все же удалось добиться, вскоре после его ареста, не одного, а может быть, даже двух свиданий с арестантом. Он был теперь гораздо нормальнее, чем когда ежился и обливался кровью на ступеньке моего крыльца, и сказал мне все, что я хотел знать. Уверив его, что могу ему помочь на суде, я заставил его сознаться в его отвратительном преступлении, в том, что он обманул полицию и всю страну, прикинувшись Джеком Греем, сбежавшим из сумасшедшего дома и принявшим Шейда за того, кто его туда посадил. Несколькими днями позже он, увы, обманул правосудие, перерезав себе горло лезвием безопасной бритвы, которую раздобыл из плохо охраняемого мусорного ящика. Он умер не столько потому, что сыграв свою роль в этом деле, не видел смысла в дальнейшем существовании, сколько потому, что не мог пережить эту последнюю, все увенчавшую глупость — убийство не того человека, когда нужный ему стоял прямо перед ним. Другими словами, его жизнь закончилась не слабым распадом механизма, а жестом человекоподобного отчаяния. Довольно. Джек Грей сходит со сцены.

Я не могу вспомнить без дрожи мрачную неделю, проведенную мной в Нью-Уае перед тем, как покинуть его, — надеюсь, навсегда. Я жил в постоянном страхе, что грабители лишат меня моего драгоценного сокровища. Иные из моих читателей, пожалуй, посмеются, когда узнают,

что я хлопотливо переложил его из черного чемодана в пустой сейф в кабинете моего хозяина, а несколькими часами позже вынул рукопись оттуда и днями ходил как бы одетый в нее, распределив девяносто две карточки по всему моему телу — двадцать в правом кармане пиджака, столько же в левом, пачка из сорока штук — у правого соска и двенадцать драгоценных с вариантами — в моем самом сокровенном левом грудном кармане. Я благословил мою королевскую звезду за то, что она научила меня женской работе, ибо я зашил все четыре кармана. Так, осторожными шагами, среди обманутых врагов, передвигался я, бронированный в поэзию, закованный в рифмы, укрепленный песнью другого человека, не гнущийся от картона, наконец-то непроницаемый для пуль.

Много лет назад — не собираюсь говорить сколько, — помнится, моя земблянская нянюшка говорила мне, шестилетнему человечку в муках взрослой бессонницы: «*Minnamin, Gut mag alkan, Pern dirstan*» (мой милый, Бог наводит голод, а дьявол жажду). Что ж, господа хорошие, думаю, что многим из вас в этом нарядном зале так же хочется есть и пить, как мне, и мне лучше, господа, на этом остановиться.

Да, лучше остановиться. Мои заметки, как и сам я, иссыкают. Господа, я очень много страдал, больше, чем кто-либо из вас может вообразить. Я молюсь чтобы благословение Господне снизошло на моих несчастных соотечественников. Мой труд окончен. Мой поэт умер.

«А вы сами, что будете вы делать с собой, бедный король, бедный Кинбот?» — может спросить нежный юный голос.

Бог мне поможет, я верю, избавиться от желания последовать примеру двух других персонажей в этом труде. Я буду продолжать существовать. Я могу принять другие обличья, другие образы, но я буду пытаться существовать. Я могу еще объявиться в другом университете в виде старого, счастливого, здорового, гетеросексуального русского писателя в изгнании, без славы, без будущего, без читателей, без чего бы то ни было, кроме своего искусства. Я могу соединить силы с Одоном в новом кинофильме «Побег из Зембли» (бал во дворце, бомба на дворцовой площади). Я могу подслужиться к театральным критикам с простыми вкусами и смастерить пьесу для сцены, старомодную мелодраму с тремя действующими лицами: безумцем, решившим убить воображаемого короля, другим безумцем, который воображает себя этим королем, и знаменитым старым поэтом, который случайно попадает на линию огня и погибает при столкновении двух фикций. О, я многое могу сделать! С позволения истории я могу поплыть назад, в мое восстановленное королевство, и громким рыданием приветствовать серое побережье и блеск

крыши под дождем. Быть может, я буду корчиться и стонать в сумасшедшем доме. Но что бы ни случилось, где бы ни была поставлена декорация, кто-то где-то тихо пустится в путь, кто-то уже пустился в путь, кто-то довольно еще далеко покупает билет, садится в автобус, на корабль, на самолет, доехал, шагает навстречу миллиону фотографов, и вот сейчас он позвонит у моей двери — более крупный, более почтенный, более умелый Градус. >>>

Указатель

Курсивные цифры указывают на строки поэмы и на комментарии к ним. Прописные буквы Г., К. и Ш. (каковые см.) обозначают трех главных действующих лиц этой книги.

А., барон, Освин Аффенпин, последний барон Аффский, мелкий предатель, [286](#).

АЛЬФИН, король, по прозвищу Туманный, 1873–1918 гг., царствовал с 1900 г.; добрый, кроткий, рассеянный монарх, отец К., интересовавшийся главным образом автомобилями, летательными машинами, моторными лодками, а также одно время морскими раковинами; погиб в авиационной катастрофе, [71](#).

АНДРОННИКОВ и **НИАГАРИН**, два советских «эксперта» в поисках скрытого сокровища, [130](#), [681](#), [741](#), см. [«Королевские регалии»](#).

АРНОР, Ромулус, светский поэт и земблянский патриот, 1944–1958 гг.; его стихотворение, [80](#); казнен экстремистами.

АРОС, прекрасный город в Восточной Зембле, столица герцогства Конмаля; градоначальником его был одно время почтенный Ферц («Ферзь») Бретвит, двоюродный брат двоюродного дяди Освина Бретвита (q. v.), [149](#), [286](#).

АХТ, Ирис, знаменитая актриса, ум. 1888 г., страстная и властная женщина, фаворитка Тургуса Третьего (q. v.), [130](#). По официальной версии, покончила с собой; неофициально была задушена в своей уборной товарищем по театральной труппе, ревнивым молодым готландцем; ныне, в девяносто лет, старейший и наименее значительный член группы «Теней» (q. v.).

Б., барон, против воли тесть барона А., воображает себя старым другом семьи Бретвитов (q. v.), [286](#).

БЕРА, горный хребет, разрезающий полуостров надвое в продольном направлении; описан с некоторыми из своих сверкающих вершин, таинственных перевалов и живописных склонов, [149](#).

БЛАВИК, Голубая Бухта, приятный морской курорт на западном берегу Зембли, с казино, гольфным полем, рыбными ресторанами, лодками напрокат, [149](#).

БЛЕНДА, королева, мать Короля, 1878–1936 гг., царствовала с 1918 г., [71](#).

БОЛЬСТОНСКИЕ, герцоги: щит их герба, [270](#), см. [«Диза»](#), моя королева.

БОСКОБЕЛЬ, место королевской летней резиденции, в великолепном сосняке среди дюн, в Западной Зембле, с мягкими ложбинами, напоенными самыми нежными воспоминаниями автора; ныне (1959 г.) «нудистская колония» (что бы это ни означало), [149](#), [596](#).

БОТКИН, В., американский ученый русского происхождения, [894](#); гигантский овод, личинка вымершего паразита, водившегося в мамонтах и, как полагают, ускорившего их филогенетический конец, [247](#); изготовитель ботиков, [71](#); рор, бултых и ботельй, толстобрюхий; botkin или bodkin, датский стилет.

БРЕГБЕРГ, см. [БЕРА](#).

БРЕТВИТ, Освин, 1914–1959, дипломат и земблянский патриот, [286](#). См. также под [«Одевалла»](#) и [«Арос»](#).

ВАНЕССА, «Красный Адмирал» (sumpsimus), упомянута, [270](#); летающая над парашютом швейцарского холма, [408](#); изображена, [470](#); представлена в карикатурном виде, [949](#); сопровождает последние шаги *III*. на вечернем солнце, [993](#).

ВАРИАНТЫ: воры солнце и луна, [39–40](#); проект «Исконной Сцены», [57](#); бегство земблянского короля (прибавление *K.*, 8 строк), [70](#); Эдда (прибавление *K.*, 1 строка), [79](#); мертвый кокон Actias luna, [90–93](#); дети находят тайный проход (прибавление *K.*, 4 строки), [130](#); бедный старик Свифт, бедный... (возможный намек на *K.*), [231](#); Шейд, Ombre, [275](#), виргинийские белянки, [316](#); глава нашего отделения, [377](#); нимфетка, [413](#); добавочная строка из Попа (возможный намек на *K.*), [417](#); Tanagra dust (замечательный пример предвидения), [596](#); этой Америки, [609–614](#); изменены первые две стопы, [629](#); пародия на Попа, [895–899](#); жалкий век и социальные романы, [922](#).

Г., см. [«Градус»](#).

ГАРХ, дочь фермера, [149](#), [433](#). Также румяный погонщик гусей, найденный на сельской дороге, к северу от Трота, в 1936 году, только сейчас ясно вспомнившийся автору.

ГЛИТТЕРНТИН-ГОРА, великолепная гора в хребте Бера (q. v.); жаль, что я, может быть, никогда больше не взберусь на нее, [149](#).

ГОРДОН, см. [Круммхольц](#).

ГРАДУС, Якоб, 1915–1959 гг., *alias* Джек Дегри, де Грей, Д'Аргюс, Виноградус, Ленинградус и т. д.; в малом масштабе на все руки мастер и убийца, [12](#), [17](#); линчует не тех, кого надо, [80](#); его приближение синхронизировано с работой *III*. над поэмой, [120](#), [131](#); его избрание и

прошлые превратности судьбы, [171](#); первый этап его путешествия, из Онхавы в Копенгаген, [181](#), [209](#); в Париж, и свидание там с Освином Бретвитом, [286](#); в Женеву, и разговор с мальчиком Гордоном в усадьбе Джо Лэвендера близ Лэ, [408](#); звонит в штаб из Женевы, [469](#); его имя в одном из вариантов и его ожидание в Женеве, [596](#); в Ниццу, и его ожидание там, [697](#); его разговор с Изумрудовым в Ницце и обнаружение адреса короля, [741](#); из Парижа в Нью-Йорк, [873](#); в Нью-Йорке, [949\(1\)](#); его утро в Нью-Йорке, его путешествие в Нью-Уай, на кампус, на Дальвич-Роуд, [949\(2\)](#); все венчающий промах, [1000](#).

ГРИНДЕЛЬВОД, красивый город в Восточной Зембле, [71](#), [149](#).

ГРИФФ, старый горный фермер и земблянский патриот, [149](#).

ДИЗА, герцогиня Больстонская, из Великой Боли и Стона; моя прелестная, бледная, печальная королева, преследующая меня во сне и преследуемая снами обо мне, р. 1928; ее альбом и любимые деревья, [49](#); замужество, 1949, [80](#); ее письма на тончайшей бумаге с водяным знаком, которого я не могу разобрать; ее образ, терзающий меня в моих снах, [433](#).

ЕСЛОВ, красивый город, уездный и епархиальный центр, к северу от Онхавы, [149](#), [275](#).

ЖЕНЫ, см. [«Мены»](#).

ИГОРЬ II, царствовал в 1800–1845 гг., мудрый и доброжелательный король, сын королевы Яруги (q. v.) и отец Тургуса Третьего (q. v.); совершенно частная секция картинной галереи дворца, доступная только правящему монарху, но легко поддающаяся взлому из будуара Б. любознательным подростком, содержала статуи четырехсот фаворитов-катамитов Игоря из розового мрамора, со вставными стеклянными глазами и разными отделанными деталями, исключительный пример правдоподобия и плохого искусства, которые позднее К. подарил одному азиатскому властителю.

К., см. [«Чарльз II»](#) и [«Кинбот»](#).

КАЛИКСХАВЕН, живописный морской порт на западном берегу, в нескольких милях к северу от Блавика (q. v.), [171](#); много приятных воспоминаний.

КИНБОТ, Чарльз, д-р, близкий друг Ш., его литературный советник, редактор и комментатор; первая встреча и дружба с Ш., [Предисловие](#); его интерес к птицам Аппалачии, [1](#); благодушная просьба к Ш. использовать его рассказ, [12](#); его скромность, [35](#); неимение библиотеки в его Тимоновой пещере, [39](#); его вера в то, что он вдохновил Ш., [42](#); его дом на Дальвичском шоссе и окна дома Ш., [47](#); возражение и поправка, обращенная к профессору Х., [61](#), [71](#); его тревоги и бессонница, [62](#); карта, которую он

сделал для Ш., [71](#); его чувство юмора, [79](#), [91](#); его предположение, что термин «ложная радуга» — выдумка Ш., [109](#); его усталость, [120](#); его занятия спортом, [130](#); посещение им подвала Ш., [143](#); его надежда, что читателя порадовало примечание, [149](#); воспоминание об отрочестве и об Ориент-экспрессе, [162](#); его просьба к читателю посмотреть на более позднее примечание, [169](#); его спокойное предупреждение Г., [171](#); его замечания о критиках и другие высказывания одобрены Ш., [172](#); его участие в некоторых посторонних празднествах, его недопущение, по возвращении домой, на вечеринку по случаю рождения Ш. и его лукавая выходка на следующее утро, [181](#); он узнает о Хэйзель в период poltergeist'a, [230](#); бедный... кто? [231](#); его тщетные попытки заставить Ш. отложить тему естественной истории и рассказать о текущей работе, [238](#); его воспоминания о набережных Ниццы и Ментоны, [240](#); его крайняя учтивость по отношению к жене друга, [247](#); его ограниченные знания по лепидоптерологии и черное уныние его натуры, отмеченное как темная «ванесса» веселыми проблесками, [270](#); раскрытие им плана г-жи Ш. увезти Ш. в Сидарн и его решение отправиться туда тоже, [287](#); его отношение к лебедям, [319](#); его сродство с Хэйзель, [334](#), [348](#); его прогулка с Ш. на заросший сорной травой пустырь, где раньше стоял посещаемый духами амбар, [347](#); его неодобрение легкомысленного отношения Ш. к знаменитым современникам, [376](#); его презрение к профессору Х. (в алфавитном указателе не представлен), [377](#); его переутомленная память, [384](#); его свидание с Джейн Провост и осмотр прелестных фотографий, снятых у озера, [385](#); его критический разбор строчек 403–474, [403](#); Ш. разгадывает — или не разгадывает — его тайну, он рассказывает Ш. в ДIZE, реакция Ш., [433–434](#); его дискуссии с Ш. о предрассудках, [470](#); дискуссия о самоубийстве с самим собой, [493](#); его удивление при открытии, что французское название одного печального дерева совпадает с земблянским названием другого, [501](#); его неодобрение некоторых легкомысленных мест в Песни третьей, [502\(2\)](#); его взгляды на грех и веру, [549](#); его редакторская честность и духовное страдание, [550](#); его замечания об одной студентке и о числе и характере трапез, разделенных с Шейдами, [579](#); его восторг и изумление по поводу удивительного соответствия слогов в двух смежных словах, [596](#); его афоризм об убийце и убитом, [597](#); его бревенчатая хижина в Сидарне и маленький рыболов с медового цвета кожей, голый, если не считать пары рваных джинсов с одной закаченной штаниной, часто угощаемый нугой и орехами, но потом возобновились школьные занятия, или изменилась погода, [609](#); его появление в доме у Х., [629](#); суровая критика заглавий-цитат из «Бури» и т. п., таких как «Бледный

огонь» и т. п., [671](#); его чувство юмора, [680](#); воспоминание о его приезде в загородный дом г-жи О'Доннель, [691](#); его одобрение одной тонкой шутки и сомнения относительно ее указанного автора, [727](#); его ненависть к лицу, делающему авансы, а затем предающему благородное, наивное сердце, распространяя грязные рассказы о своей жертве и преследуя ее жестокими насмешливыми выходками, [741](#); невозможность из-за какого-то психологического блока или боязни второго Г. съездить в город в каких-нибудь шестидесяти — семидесяти милях, где наверное нашел бы хорошую библиотеку, [748](#); его письмо от 2 апреля 1959 г. к даме, которая заперла это письмо среди своих сокровищ на своей вилле близ Ниццы, когда уехала в то лето в Рим, [768](#); церковная служба утром и прогулка вечером с поэтом, заговорившим наконец о своей работе, [802](#); его замечания о лексическом и лингвистическом чуде, [803](#); он занимает собрание писем Ф. К. Лейна у хозяина мотеля, [810](#); он проникает в ванную, где сидел и брился в ванне его друг, [887](#); его участие в обсуждении в профессорской его сходства с королем и его окончательный разрыв с Э. (в алфавитном указателе не представлен), [894](#); он и Ш. трясутся от смеха над лакомыми цитатами из университетского учебника профессора К. (в алфавитном указателе не представлен), [929](#); его грустный жест усталости и кроткой укоризны, [937](#); яркое воспоминание о молодом преподавателе в Онхавском университете, [958](#); его последняя встреча с Ш. в поэтовой беседе и т. д., [991](#); воспоминание об открытии им ученого садовника, [998](#); его неудавшаяся попытка спасти жизнь Ш. и его успех в спасении рукописи, [1000](#); мероприятия для ее напечатания без помощи двух «экспертов». *Предисловие.*

КОБАЛЬТАНА, когда-то модный горный курорт, вблизи развалин старых казарм, ныне холодное, пустынное место, труднодостижимое, лишенное всякого значения, но все еще вспоминаемое в военных семьях и лесных замках, в тексте не представлено.

КОНМАЛЬ, герцог Аросский, 1855–1955, дядя К., старший сводный брат королевы Бленды (q. v.), благородный парафразировщик, [12](#); его версия *Тимона Афинского*, [39](#), [130](#); его жизнь и труды, [964](#).

КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ, [130](#), [681](#); см. *«Потайник»*.

КРОНБЕРГ, скалистая гора, увенчанная снегом, с удобным отелем, в горах Бера, [70](#), [130](#), [149](#).

КРУММХОЛЬЦ, Гордон, р. 1944 г., музыкальный вундеркинд и забавный всеобщий баловень, сын знаменитой сестры Джозефа Лэвендера, Эльвины Круммхольц, [408](#).

КЭМПБЕЛЬ, Вальтер, р. 1890 г., в Глазго; наставник К., 1922–

1931 г., приятный джентльмен со зрелым и живым умом; стрелок и конькобежец-чемпион; ныне в Иране, [130](#).

ЛЭЙН, Фрэнклин Найт, американский юрист и государственный деятель, 1864–1921 гг., автор замечательного отрывка, [810](#).

ЛЭВЕНДЕР, Джозеф С., см. [«О'Доннель, Сильвия»](#).

МАНДЕВИЛЬ, барон Мирадор, двоюродный брат Радомира Мандевиля (q. v.), экспериментатор, помешанный и предатель, [171](#).

МАНДЕВИЛЬ, барон Радомир, р. 1925 г., светский человек и земблянский патриот; в 1936 г. был тронным пажом К., [130](#); в 1958 г., переодетый, [149](#).

МАРСЕЛЬ, суетливый, неприятный и не всегда правдоподобный герой, всеми балуемый в «A la recherche du temps perdu», Пруста, [181](#), [691](#).

МАРОВСКИЙ, рудиментарный «спунеризм» (вид каламбура), основанный на фамилии русского дипломата начала XIX века, гр. Комаровского, известного при иностранных дворах своей привычкой коверкать собственное имя: Макаровский, Макаронский, Скоморовский и т. п., [347b](#).

МЕНЫ, МЕДЫ, МЕДИ, МЕЖИ, см. [«Мужи»](#).

МУЖИ, см. [«Словесный гольф»](#).

МУЛЬТРАБЕРГ, см. [«Бера»](#).

НИАГАРИН и **АНДРОННИКОВ**, два советских «эксперта», все еще разыскивающие спрятанное сокровище, [130](#), [681](#), [741](#); см. [«Регалии»](#).

НИТРА и **ИНДРА**, чета островов близ Блавика, [149](#).

НОДО, сводный брат Одона, р. 1916 г., сын Леопольда О'Доннеля и актрисы на ролях мальчиков; карточный шулер и презренный предатель, [171](#).

ОДЕВАЛЛА, красивый город к северу от Онхавы в Восточной Зембле, некогда управлявшийся градоначальником, почтенным Зуле («шахматная ладья») Бретвитом, двоюродным дядей Освина Бретвита (q. v., q. v., как говорят вороны), [149](#), [286](#).

ОДОН, псевдоним Дональда О'Доннеля, р. 1915 г., всемирно известного актера и земблянского патриота, узнает от К. о тайном проходе, но должен идти в театр, [130](#); везет К. от театра до подножия Мандевиль-горы, [149](#); встречает К. близ морской пещеры и бежит с ним на моторной лодке, *ibid.*; ставит кинофильм в Париже, [171](#); гостит у Лэвендера в Лэ, [408](#); не должен бы жениться на этой толстогубой киноактрисе с неопрятными волосами, [681](#); см. также [«О'Доннель, Сильвия»](#).

О'ДОННЕЛЬ, Сильвия, урожденная О'Коннель, р. 1895 г.? 1890 г.? много путешествовавшая, многобрачная мать Одона (q. v.), [149](#), [691](#); выйдя

замуж за президента колледжа Леопольда О'Доннеля, отца Одона, и разведясь с ним в 1915 г., вышла замуж за Петра Гусева, первого герцога Ральского, и украшала собою Земблю приблизительно до 1925 года, когда вышла замуж за азиатского принца, встреченного в Шамони; после ряда других более или менее блистательных браков она как раз разводилась с Лайонелем Лэвендером, двоюродным братом Джозефа, когда в последний раз появилась в настоящем алфавитном указателе.

ОКНА, *Предисловие*, [47](#), [62](#), [181](#).

ОЛЕГ, герцог Ральский, 1916–1931 гг., сын полковника Гусева, герцога (р. 1885 г., жив-здоров поныне); любимый товарищ игр К., убит в тобоганной катастрофе, [130](#).

ОНХАВА, прекрасная столица Зембли, [12](#), [71](#), [130](#), [149](#), [171](#), [181](#), [275](#), [579](#), [894](#), [1000](#).

ОТАР, граф, гетеросексуальный светский человек и земблянский патриот, р. 1915 г.; его лысина; его две девочки-любовницы, Флёр и Фифальда (впоследствии графиня Отар), голубых кровей дочери графини де Файлер; интересные световые эффекты, [71](#).

ПАБЕРГ, см. *«Бера»*.

ПЕРЕВОДЫ, стихотворные, с английского на земблянский, Конмалева версии Шекспира, Мильтона, Киплинга и т. д., отмечены, [964](#); с английского на французский, из Донна и Марвеля, [678](#); с немецкого на английский и земблянский Der Erbkönig, [662](#); с земблянского на английский, Timon Afinsken (Афинский) [39](#); Эдда Старшая, [79](#); Miragarl Арнора, [80](#).

ПОТАЙНИК, см. *«Тайник»*.

РЕЛИГИЯ, соприкосновение с Богом, [47](#); Папа, [85](#); свобода мысли, [101](#); проблема греха и веры, [549](#), см. *«Самоубийство»*.

РИПЛЬСОНОВЫ ПЕЩЕРЫ, морские пещеры в Блавики, названные в честь знаменитого стеклодува, который воспроизвел игру кружков и колечек и других округлых отражений в сине-зеленой морской воде в своих замечательных витражах для дворца, [130](#), [149](#).

САМОУБИЙСТВО, взгляды К. на, [493](#).

СВИРИТЕЛЬ, птица из рода Bombycilla, [1–4](#), [131](#), [1000](#); Bombycilla shadei, [71](#); интересная ассоциация, понятая с опозданием.

СЛОВЕСНЫЙ ГОЛЬФ, предрасположение к нему Шейда, [819](#); см. *«Жень»*.

СТЕЙНМАНН, Юлиус, р. 1928 г., чемпион тенниса и земблянский патриот, [171](#).

СТИХОТВОРЕНИЯ Шейда, короткие: *Священное дерево*, [49](#); *Качели*,

[61](#); Горный вид, [92](#); Природа электричества, [347](#); одна строка из Апрельского дождя, [470](#); одна строка из Монблана, [782](#); первое четверостишие из Искусства, [958](#).

СУДАРГ БОКАЙ, гениальный зеркальный мастер, святой, покровитель Бокая в земблянских горах, [80](#); годы жизни неизвестны.

ТАЙНИК, см. [«Королевские регалии»](#).

«ТЕНИ», цареубийственная организация, поручившая Градусу (q. v.) убить удалившегося в добровольное изгнание короля; страшное имя ее вождя не может быть названо даже в алфавитном указателе к малочитаемому ученому труду; его дед по матери, широко известный и весьма мужественный зодчий, был нанят Тургусом Чванным около 1885 года для произведения кое-какого ремонта в его апартаментах и вскоре после этого погиб, отравленный на королевской кухне при загадочных обстоятельствах, вместе с тремя молодыми подмастерьями, чьи имена, Ян, Йонни и Ангелинг, сохранились в балладе, которую все еще можно услышать в некоторых наших диких долинах.

ТИНТАРРОН, драгоценное стекло, окрашенное в темно-синий цвет, изготавливаемое в Бокае, средневековом городке в земблянских горах, [149](#); см. также [«Сударг»](#).

ТУРГУС ТРЕТИЙ, прозванный Чванным, дед К., умер в 1900 г. в возрасте семидесяти пяти лет, после долгого и скучного царствования; с нахлобученной на голову сеткой для губки вместо фуражки и одинокой медалью на охотничьей куртке, он любил кататься на велосипеде по парку; толстый и лысый, с носом как налитая соком слива, с воинственными усами, топорщившимися от старомодной страсти, в халате из зеленого шелка и с факелом в поднятой руке, он каждую ночь, в течение короткого периода времени в середине восьмидесятых годов, встречался со своей закутанной в капюшон любовницей, Ирис Ахт (q. v.), на полпути между дворцом и театром, в тайном проходе, которому впоследствии предстояло быть вновь открытым его внуком, [130](#).

УРАН ПОСЛЕДНИЙ, император Зембли, царствовал в 1798–1799 гг.; невероятно блестящий, расточительный и жестокий монарх, чья свистящая плеть заставила Земблю вертеться как радужный волчок; убит однажды ночью группой объединившихся фаворитов его сестры, [681](#).

ФАЛЬКБЕРГ, розовый конус, [71](#); в снежной шапке, [149](#).

ФЛЁР, графиня де Файлер, элегантная фрейлина, [71](#), [80](#), [433](#).

ФЛЭТМАН, Томас, 1637–1688 гг., английский поэт, ученый и миниатюрист, неизвестный старому мошеннику, [894](#).

ХОДЫНСКИЙ, русский авантюрист, ум. в 1800 г., известный также

как Ходына, [681](#); проживал в Зембле в 1778–1800 гг.; автор знаменитой имитации и любовник принцессы (впоследствии королевы) Яруги (q. v.), матери Игоря II, бабки Тургуса (q. v.).

ЧАРЛЬЗ II, Карл-Ксаверий-Всеслав, последний король Зембли, прозванный Возлюбленным, р. 1915 г., правил в 1936–1958 гг.; его герб, [1](#); его ученые занятия и его царствование, [12](#); страшная судьба его предшественников, [62](#); его сторонники, [70](#); родители, [71](#); опочивальня, [80](#); побег из дворца, [130](#); и через горы, [149](#); вспоминается его обручение с Дизой, [275](#); путешествие (м. пр.) через Париж, [286](#); и через Швейцарию, [408](#); посещение виллы «Диза», [433](#); вспоминается ночь в горах, [597](#), [662](#); его русская кровь и регалии (q. v., непременно), [681](#); его прибытие в США, [691](#); украдено письмо к ДIZE, [741](#); и процитировано, [768](#); обсуждается его портрет, [894](#); его присутствие в библиотеке, [949](#), едва не разоблачен, [991](#); Solus Rex, [1000](#). См. также [«Кинбот»](#).

ШАЛЬКСБОР, барон Харфар, известный под именем Кюрди Буф, р. 1921 г., светский человек и земблянский патриот, [433](#).

ШЕЙД, Джон Фрэнсис, поэт и ученый, 1898–1959 гг.; его работа над «Бледным огнем» и дружба с К., [Предисловие](#); его внешность, манеры, привычки и пр., *ibid.*; его первая битва со смертью в воображении К. и начало работы над поэмой, пока К. играл в шахматы в студенческом клубе, [1](#); его блуждания с К. на закате, [12](#); его смутное предчувствие о Г., [17](#); его дом, наблюдаемый К., представленный освещенными окнами, [47](#); начало его работы над поэмой, завершение Песни второй и около половины третьей, и совершенные К. три посещения в соответствующие моменты, *ibid.*; его родители, Сэмюель Шейд и Каролина Лукин, [71](#); влияние К., замеченное в варианте, [79](#); Мод Шейд, сестра отца Ш., [86](#); К. показана заводная игрушка temento mori Ш., [143](#); К. об обморочных припадках Ш., [162](#); Ш. начинает Песнь вторую, [167](#); Ш. о критиках, Шекспире, образовании и т. д., [172](#); К., наблюдающий за гостями Ш., прибывающими в его и Ш. день рождения, и Ш. пишет Песнь вторую, [181](#); вспоминаются его тревоги о дочери, [230](#); его деликатность или осторожность, [231](#); его преувеличенный интерес к местной фауне и флоре, [238](#); [270](#); осложнения в браке К. по сравнению с ясностью в браке Ш., [275](#); К. привлекает внимание Ш. к пастельному мазку, перечеркнувшему закатное небо, [286](#); его страх, что Ш. может уехать раньше, чем кончит их общее произведение, [287](#); его тщетное ожидание Ш. 15 июня, [334](#); его прогулка с Ш. по полям старика Хенилера и воспроизведение им экспедиций дочери Ш. в заколдованный амбар, [347](#); произношение Ш., [367](#); книга Ш. о Попе, [384](#); его недоброе чувство к Питеру Провосту, [385](#); его работа над строками 406–416,

синхронизированная с деятельностью Г. в Швейцарии, [408](#); опять его осторожность или деликатность, [417](#); возможность, что он, двадцать шесть лет назад, мельком видел виллу «Диза» и маленькую герцогиню Больстонскую с ее английской гувернанткой, [433](#); кажущееся приятие им материала о ДIZE и обещание К. раскрыть сущность правды, *ibid.*; взгляды Ш. на предрассудок, [470](#); взгляды К. на самоубийство, [493](#); взгляды Ш. и К. на грех и веру, [549](#); странности гостеприимства Ш. и его радость по поводу отсутствия мяса в моей диете, [579](#); слухи, что он интересуется одной студенткой, *ibid.*; его отрицание, что начальник станции помешан, [629](#); его сердечный припадок, синхронизированный с эффектным прибытием К. в США, [691](#); упоминание о Ш. в письме к ДIZE от К., [768](#); его последняя прогулка с Ш. и его радость при известии, что Ш. усердно работает над темой «горы», — прискорбное недоразумение, [802](#); его игры в гольф с Ш., [819](#); его готовность навести справки для Ш., [887](#); Ш. защищает короля Зембли, [894](#); он и К. смеются над вздором в учебнике, составленном профессором К., психиатром и литературным экспертом (!), [929](#); он начинает последнюю пачку карточек, [949](#); он открывает К., что закончил свой труд, [991](#), его смерть от пули, предназначавшейся другому, [1000](#).

ШЕЙД, Сибилла, жена Ш., *passim*.

ШЕЙД, Хэйзель, дочь Ш., 1934–1957 гг.; заслуживает глубокое уважение за то, что предпочла красоту смерти уродству жизни; домашнее привидение, [230](#); заколдованный амбар, [347](#).

ЭМБЛА, старый городок с деревянной церковью, окруженный торфяными болотами, в самой печальной, самой одинокой, самой северной точке туманного полуострова, [149](#), [433](#).

ЭМБЛЕМА, по-земблянски означает «цветущая», красивый залив с синеватыми и черными, любопытно полосатыми скалами и роскошной порослью вереска на пологих склонах, в самой южной части Западной Зембли, [433](#).

ЯРУГА, королева, царствовала в 1799–1800 гг., сестра Урана (q. v.); утонула в проруби вместе со своим русским любовником во время традиционных новогодних празднеств, [681](#).

ЯЧЕЙКА яшмы, Зембля, далекая северная страна.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Pale Fire

(A Poem in Four Cantos)

Canto One

[001](#) I was the shadow of the waxwing slain
By the false azure in the windowpane;
I was the smudge of ashen fluff — and I
Lived on, flew on, in the reflected sky.
And from the inside, too, I'd duplicate
Myself, my lamp, an apple on a plate:
Uncurtaining the night, I'd let dark glass
Hang all the furniture above the grass,
And how delightful when a fall of snow
[010](#) Covered my glimpse of lawn and reached up so
As to make chair and bed exactly stand
Upon that snow, out in that crystal land!

Retake the falling snow: each drifting flake
Shapeless and slow, unsteady and opaque,
A dull dark white against the day's pale white
And abstract larches in the neutral light.
And then the gradual and dual blue
As night unites the viewer and the view,
And in the morning, diamonds of frost
[020](#) Express amazement: Whose spurred feet have crossed
From left to right the blank page of the road?
Reading from left to right in winter's code:
A dot, an arrow pointing back; repeat:
Dot, arrow pointing back... A pheasant's feet!
Torquated beauty, sublimated grouse,
Finding your China right behind my house.
Was he in *Sherlock Holmes*, the fellow whose
Tracks pointed back when he reversed his shoes?

All colors made me happy: even gray.

[030](#) My eyes were such that literally they
Took photographs. Whenever I'd permit,
Or, with a silent shiver, order it,
Whatever in my field of vision dwelt —
An indoor scene, hickory leaves, the svelte
Stiletto of a frozen stillicide —
Was printed on my eyelids' nether side
Where it would tarry for an hour or two,
And while this lasted all I had to do
Was close my eyes to reproduce the leaves,
[040](#) Or indoor scene, or trophies of the eaves.

I cannot understand why from the lake
I could make out our front porch when I'd take
Lake Road to school, whilst now, although no tree
Has intervened, I look but fail to see
Even the roof. Maybe some quirk in space
Has caused a fold or furrow to displace
The fragile vista, the frame house between
Goldsworth and Wordsmith on its square of green.

I had a favorite young shagbark there
[050](#) With ample dark jade leaves and a black, spare,
Vermiculated trunk. The setting sun
Bronzed the black bark, around which, like undone
Garlands, the shadows of the foliage fell.
It is now stout and rough; it has done well.
White butterflies turn lavender as they
Pass through its shade where gently seems to sway
The phantom of my little daughter's swing.

The house itself is much the same. One wing
We've had revamped. There's a solarium. There's
[060](#) A picture window flanked with fancy chairs.
TV's huge paperclip now shines instead
Of the stiff vane so often visited
By the naïve, the gauzy mockingbird
Retelling all the programs that she had heard;

Switching from *chippo-chippo* to a clear
To-wee, to-wee; then rasping out: *come here,*
Come here, come herrr'; flirting her tail aloft,
Or gracefully indulging in a soft
Upward hop-flop, and instantly (*to-wee!*)
[070](#) Returning to her perch — the new TV.

I was an infant when my parents died.
They both were ornithologists. I've tried
So often to evoke them that today
I have a thousand parents. Sadly they
Dissolve in their own virtues and recede,
But certain words, chance words I hear or read,
Such as «bad heart» always to him refer,
And «cancer of the pancreas» to her.

A preterist: one who collects cold nests.
[080](#) Here was my bedroom, now reserved for guests.
Here, tucked away by the Canadian maid,
I listened to the buzz downstairs and prayed
For everybody to be always well,
Uncles and aunts, the maid, her niece Adèle,
Who'd seen the Pope, people in books, and God.

I was brought up by dear bizarre Aunt Maud,
A poet and a painter with a taste
For realistic objects interlaced
With grotesque growths and images of doom.
[090](#) She lived to hear the next babe cry. Her room
We've kept intact. Its trivia create
A still life in her style: the paperweight
Of convex glass enclosing a lagoon,
The verse book open at the Index (Moon,
Moonrise, Moor, Moral), the forlorn guitar,
The human skull; and from the local *Star*
A curio: *Red Sox Beat Yanks 5–4*
On Chapman's Homer, thumb tacked to the door.

My God died young. Theolatriy I found
[100](#) Degrading, and its premises, unsound.
No free man needs a God; but was I free?
How fully I felt nature glued to me
And how my childish palate loved the taste
Half-fish, half-honey, of that golden paste!
My picture book was at an early age
The painted parchment papering our cage:
Mauve rings around the moon; blood-orange sun
Twinned Iris; and that rare phenomenon
The iridule — when beautiful and strange,
[110](#) In a bright sky above a mountain range
One opal cloudlet in an oval form
Reflects the rainbow of a thunderstorm
Which in a distant valley has been staged —
For we are most artistically caged.
And there's the wall of sound: the nightly wall
Raised by a trillion crickets in the fall.
Impenetrable! Halfway up the hill
I'd pause in thrall of their delirious trill.
That's Dr. Sutton's light. That's the Great Bear.
[120](#) A thousand years ago five minutes were
Equal to forty ounces of fine sand.
Outstare the stars. Infinite foretime and
Infinite aftertime: above your head
They close like giant wings, and you are dead.

The regular vulgarian, I daresay,
Is happier: he sees the Milky Way
Only when making water. Then as now
I walked at my own risk: whipped by the bough,
Tripped by the stump. Asthmatic, lame and fat,
[130](#) I never bounced a ball or swung a bat.

I was the shadow of the waxwing slain
By feigned remoteness in the windowpane.
I had a brain, five senses (one unique),
But otherwise I was a cloutish freak.

In sleeping dreams I played with other chaps
But really envied nothing — save perhaps
The miracle of a lemniscate left
Upon wet sand by nonchalantly deft
Bicycle tires.

A thread of subtle pain,
[140](#) Tugged at by playful death, released again,
But always present, ran through me. One day,
When I'd just turned eleven, as I lay
Prone on the floor and watched a clockwork toy —
A tin wheelbarrow pushed by a tin boy —
Bypass chair legs and stray beneath the bed,
There was a sudden sunburst in my head.

And then black night. That blackness was sublime.
I felt distributed through space and time:
One foot upon a mountaintop, one hand
[150](#) Under the pebbles of a panting strand,
One ear in Italy, one eye in Spain,
In caves, my blood, and in the stars, my brain.
There were dull throbs in my Triassic; green
Optical spots in Upper Pleistocene,
An icy shiver down my Age of Stone,
And all tomorrows in my funnybone.

During one winter every afternoon
I'd sink into that momentary swoon.
And then it ceased. Its memory grew dim.
[160](#) My health improved. I even learned to swim.
But like some little lad forced by a wench
With his pure tongue her abject thirst to quench,
I was corrupted, terrified, allured,
And though old doctor Colt pronounced me cured
Of what, he said, were mainly growing pains,
The wonder lingers and the shame remains.

Canto Two

There was a time in my demented youth
When somehow I suspected that the truth
About survival after death was known
[170](#) To every human being: I alone
Knew nothing, and a great conspiracy
Of books and people hid the truth from me.
There was the day when I began to doubt
Man's sanity: How could he live without
Knowing for sure what dawn, what death, what doom
Awaited consciousness beyond the tomb?

And finally there was the sleepless night
When I decided to explore and fight
The foul, the inadmissible abyss,
[180](#) Devoting all my twisted life to this
One task. Today I'm sixty-one. Waxwings
Are berry-pecking. A cicada sings.

The little scissors I am holding are
A dazzling synthesis of sun and star.
I stand before the window and I pare
My fingernails and vaguely am aware
Of certain flinching likenesses: the thumb,
Our grocer's son; the index, lean and glum
College astronomer Starover Blue;
[190](#) The middle fellow, a tall priest I knew;
The feminine fourth finger, an old flirt;
And little pinky clinging to her skirt.
And I make mouths as I snip off the thin
Strips of what Aunt Maud used to call «scarf-skin.»

Maud Shade was eighty when a sudden hush
Fell on her life. We saw the angry flush
And torsion of paralysis assail
Her noble cheek. We moved her to Pinedale,
Famed for its sanitarium. There she'd sit

[200](#) In the glassed sun and watch the fly that lit
Upon her dress and then upon her wrist.
Her mind kept fading in the growing mist.
She still could speak. She paused, then groped, and found
What seemed at first a serviceable sound,
But from adjacent cells impostors took
The place of words she needed, and her look
Spelt imploration as she sought in vain
To reason with the monsters in her brain.

What moment in the gradual decay

[210](#) Does resurrection choose? What year? What day?
Who has the stopwatch? Who rewinds the tape?
Are some less lucky, or do all escape?
A syllogism: *other men die; but I
Am not another; therefore I'll not die.*
Space is a swarming in the eyes; and time,
A singing in the ears. In this hive I'm
Locked up. Yet, *if* prior to life we had
Been able to imagine life, what mad,
Impossible, unutterably weird,

[220](#) Wonderful nonsense it might have appeared!

So why join in the vulgar laughter? Why
Scorn a hereafter none can verify:
The Turk's delight, the future lyres, the talks
With Socrates and Proust in cypress walks,
The seraph with his six flamingo wings,
And Flemish hells with porcupines and things?
It isn't that we dream too wild a dream:
The trouble is we do not make it seem
Sufficiently unlikely; for the most

[230](#) We can think up is a domestic ghost.

How ludicrous these efforts to translate
Into one's private tongue a public fate!
Instead of poetry divinely terse,
Disjointed notes, Insomnia's mean verse!

Life is a message scribbled in the dark.

Anonymous.

Espied on a pine's bark,
As we were walking home the day she died,
An empty emerald case, squat and frog-eyed,
Hugging the trunk; and its companion piece,
[240](#) A gum-logged ant.

That Englishman in Nice,
A proud and happy linguist: *je nourris*
Les pauvres cigales — meaning that he
Fed the poor sea gulls!

Lafontaine was wrong:
Dead is the mandible, alive the song.

And so I pare my nails, and muse, and hear
Your steps upstairs, and all is right, my dear.

Sybil, throughout our high-school days I knew
Your loveliness, but fell in love with you
During an outing of the senior class
[250](#) To New Wye Falls. We luncheoned on damp grass.
Our teacher of geology discussed
The cataract. Its roar and rainbow dust
Made the tame park romantic. I reclined
In April's haze immediately behind
Your slender back and watched your neat small head
Bend to one side. One palm with fingers spread,
Between a star of trillium and a stone,
Pressed on the turf. A little phalange bone
Kept twitching. Then you turned and offered me
[260](#) A thimbleful of bright metallic tea.

Your profile has not changed. The glistening teeth
Biting the careful lip; the shade beneath
The eye from the long lashes; the peach down
Rimming the cheekbone; the dark silky brown
Of hair brushed up from temple and from nape;

The very naked neck; the Persian shape
Of nose and eyebrow, you have kept it all —
And on still nights we hear the waterfall.

Come and be worshiped, come and be caressed,
[270](#) My dark Vanessa, crimson-barred, my blest
My Admirable butterfly! Explain
How could you, in the gloam of Lilac Lane,
Have let uncouth, hysterical John Shade
Blubber your face, and ear, and shoulder blade?

We have been married forty years. At least
Four thousand times your pillow has been creased
By our two heads. Four hundred thousand times
The tall clock with the hoarse Westminster chimes
Has marked our common hour. How many more
[280](#) Free calendars shall grace the kitchen door?

I love you when you're standing on the lawn
Peering at something in a tree: «It's gone.
It was so small. It might come back» (all this
Voiced in a whisper softer than a kiss).
I love you when you call me to admire
A jet's pink trail above the sunset fire.
I love you when you're humming as you pack
A suitcase or the farcical car sack
With round-trip zipper. And I love you most
[290](#) When with a pensive nod you greet her ghost
And hold her first toy on your palm, or look
At a postcard from her, found in a book.

She might have been you, me, or some quaint blend:
Nature chose me so as to wrench and rend
Your heart and mine. At first we'd smile and say:
«All little girls are plump» or «Jim McVey
(The family oculist) will cure that slight
Squint in not time.» And later: «She'll be quite
Pretty, you know»; and trying to assuage

[300](#) The swelling torment: «That's the awkward age.»
«She should take riding lessons,» you would say
(Your eyes and mine not meeting). «She should play
Tennis, or badminton. Less starch, more fruit!
She may not be a beauty, but she's cute.»

It was no use, no use. The prizes won
In French and history, no doubt, were fun;
At Christmas parties games were rough, no doubt,
And one shy little guest might be left out;
But let's be fair: while children of her age

[310](#) Were cast as elves and fairies on the stage
That *she'd* helped paint for the school pantomime,
My gentle girl appeared as Mother Time,
A bent charwoman with a slop pail and broom,
And like a fool I sobbed in the men's room.

Another winter was scrape-scooped away.
The Toothwort White haunted our woods in May.
Summer was power-mowed, and autumn, burned.
Alas, the dingy cygnet never turned
Into a wood duck. And again your voice:

[320](#) «But this is prejudice! You should rejoice
That she is innocent. Why overstress
The physical? She *wants* to look a mess.
Virgins have written some *resplendent* books.
Lovemaking is not everything. Good looks
Are not *that* indispensable!» And still
Old Pan would call from every painted hill,
And still the demons of our pity spoke:
No lips would share the lipstick of her smoke;
The telephone that rang before a ball

[330](#) Every two minutes in Sorosa Hall
For her would never ring; and, with a great
Screeching of tires on gravel, to the gate
Out of lacquered night, a white-scarfed beau
Would never come for her; she'd never go,
A dream of gauze and jasmine, to that dance.

We sent her, though, to a château in France.

And she returned in tears, with new defeats,
New miseries. On days when all the streets
Of College Town led to the game, she'd sit
[340](#) On the library steps, and read or knit;
Mostly alone she'd be, or with that nice
Frail roommate, now a nun; and, once or twice,
With a Korean boy who took my course.
She had strange fears, strange fantasies, strange force
Of character — as when she spent three nights
Investigating certain sounds and lights
In an old barn. She twisted words: pot, top,
Spider, redips. And «powder» was «red wop.»
She called you a didactic katydid.

[350](#) She hardly ever smiled, and when she did,
It was a sign of pain. She'd criticize
Ferociously our projects, and with eyes
Expressionless sit on her tumbled bed
Spreading her swollen feet, scratching her head
With psoriatic fingernails, and moan,
Murmuring dreadful words in monotone.

She was my darling: difficult, morose —
But still my darling. You remember those
Almost unruffled evenings when we played
[360](#) Mah-jongg, or she tried on your furs, which made
Her almost fetching; and the mirrors smiled,
The lights were merciful, the shadows mild.
Sometimes I'd help her with a Latin text,
Or she'd be reading in her bedroom, next
To my fluorescent lair, and you would be
In your own study, twice removed from me,
And I would hear both voices now and then:
«Mother, what's *grimpen*?» «What is what?»
«Grim Pen.»

Pause, and your guarded scholium. Then again:
[370](#) «Mother, what's *chtonic*?» That, too, you'd explain,

Appending: «Would you like a tangerine?»
«No. Yes. And what does *sempiternal* mean?»
You'd hesitate. And lustily I'd roar
The answer from my desk through the closed door.

It does not matter what it was she read
(some phony modern poem that was said
In English Lit to be a document
«Engazhay and compelling» — what this meant
Nobody cared); the point is that the three
[380](#) Chambers, *then* bound by you and her and me,
Now form a tryptich or a three-act play
In which portrayed events forever stay.

I think she always nursed a small mad hope.

I'd finished recently my book on Pope.
Jane Dean, my typist, offered her one day
To meet Pete Dean, a cousin. Jane's fiancé
Would then take all of them in his new car
A score of miles to a Hawaiian bar.
The boy was picked up at a quarter past
[390](#) Eight in New Wye. Sleet glazed the roads. At last
They found the place — when suddenly Pete Dean
Clutching his brow exclaimed that he had clean
Forgotten an appointment with a chum
Who'd land in jail if he, Pete, did not come,
Et cetera. She said she understood.
After he'd gone the three young people stood
Before the azure entrance for awhile.
Puddles were neon-barred; and with a smile
She said she'd be *de trop*, she'd much prefer
[400](#) Just going home. Her friends escorted her
To the bus stop and left; but she, instead
Of riding home, got off at Lochanhead.

You scrutinized your wrist: «It's eight fifteen.
[And here time forked.] I'll turn it on.» The screen

In its blank broth evolved a lifelike blur,
And music welled.

*He took one look at her,
And shot a death ray at well-meaning Jane.*

A male hand traced from Florida to Maine
The curving arrows of Aeolian wars.

[410](#) You said that later a quartet of bores,
Two writers and two critics, would debate
The Cause of Poetry on Channel 8.

A nymph came pirouetting, under white
Rotating petals, in a vernal rite
To kneel before an altar in a wood
Where various articles of toilet stood.

I went upstairs and read a galley proof,
And heard the wind roll marbles on the roof.

«See the blind beggar dance, the cripple sing»

[420](#) Has unmistakably the vulgar ring
Of its preposterous age. Then came your call,
My tender mockingbird, up from the hall.
I was in time to overhear brief fame
And have a cup of tea with you: my name
Was mentioned twice, as usual just behind
(one oozy footstep) Frost.

«Sure you don't mind?

*I'll catch the Exton plane, because you know
If I don't come by midnight with the dough —»*

And then there was a kind of travelog:

[430](#) A host narrator took us through the fog
Of a March night, where headlights from afar
Approached and grew like a dilating star,
To the green, indigo and tawny sea
Which we had visited in thirty-three,
Nine months before her birth. Now it was all
Pepper-and-salt, and hardly could recall
That first long ramble, the relentless light,
The flock of sails (one blue among the white

Clashed queerly with the sea, and two were red),
[440](#) The man in the old blazer, crumbing bread,
The crowding gulls insufferably loud,
And one dark pigeon waddling in the crowd.
«Was that the phone?» You listened at the door.
Nothing. Picked up the program from the floor.
More headlights in the fog. There was no sense
In window-rubbing; only some white fence
And the reflector poles passed by unmasked.

«Are we quite sure she's acting right?» you asked.
«It's technically a blind date, of course.
[450](#) Well, shall we try the preview of *Remorse?*»
And we allowed, in all tranquillity,
The famous film to spread its charmed marquee;
The famous face flowed in, fair and inane:
The parted lips, the swimming eyes, the grain
Of beauty on the cheek, odd gallicism,
And the soft form dissolving in the prism
Of corporate desire.

«I think,» she said,
«I'll get off here.» «It's only Lochanhead.»
«Yes, that's okay.» Gripping the stang, she peered
[460](#) *At ghostly trees. Bus stopped. Bus disappeared.*

Thunder above the Jungle. «No, not that!»
Pat Pink, our guest (antiatomic chat).
Eleven struck. You sighed. «Well, I'm afraid
There's nothing else of interest.» You played
Network roulette: the dial turned and trk'ed.
Commercials were beheaded. Faces flicked.
An open mouth in mid-song was struck out.
An imbecile with sideburns was about
To use his gun, but you were much too quick.
[470](#) A jovial Negro raised his trumpet. Trk.
Your ruby ring made life and laid the law.
Oh, switch it off! And as life snapped we saw
A pinhead light dwindle and die in black

Infinity.

*Out of his lakeside shack
A watchman, Father Time, all gray and bent,
Emerged with his uneasy dog and went
Along the reedy bank. He came too late.*

You gently yawned and stacked away your plate.
We heard the wind. We heard it rush and throw
[480](#) Twigs at the windowpane. Phone ringing? No.
I helped you with the dishes. The tall clock
Kept on demolishing young root, old rock.

«Midnight,» you said. What's midnight to the young?
And suddenly a festive blaze was flung
Across five cedar trunks, snowpatches showed,
And a patrol car on our bumpy road
Came to a crunching stop. Retake, retake!

People have thought she tried to cross the lake
At Lochan Neck where zesty skaters crossed
[490](#) From Exe to Wye on days of special frost.
Others supposed she might have lost her way
By turning left from Bridgeroad; and some say
She took her poor young life. I know. You know.

It was a night of thaw, a night of blow,
With great excitement in the air. Black spring
Stood just around the corner, shivering
In the wet starlight and on the wet ground.
The lake lay in the mist, its ice half drowned.
A blurry shape stepped off the reedy bank
[500](#) Into a crackling, gulping swamp, and sank.

Canto Three

*L'if, lifeless tree! Your great Maybe, Rabelais:
The grand potato.*

I.P.H., a lay
Institute (I) of Preparation (P)
For the Hereafter (H), or If, as we
Called it — big if! — engaged me for one term
To speak on death («to lecture on the Worm,»
Wrote President McAber).

You and I,
And she, then a mere tot, moved from New Wye
To Yewshade, in another, higher state.

[510](#) I love great mountains. From the iron gate
Of the ramshackle house we rented there
One saw a snowy form, so far, so fair,
That one could only fetch a sigh, as if
It might assist assimilation.

Iph
Was a larvorium and a violet:
A grave in Reason's early spring. And yet
It missed the gist of the whole thing; it missed
What mostly interests the preterist;
For we die every day; oblivion thrives
[520](#) Not on dry thighbones but on blood-ripe lives,
And our best yesterdays are now foul piles
Of crumpled names, phone numbers and foxed files.
I'm ready to become a floweret
Or a fat fly, but never, to forget.
And I'll turn down eternity unless
The melancholy and the tenderness
Of mortal life; the passion and the pain;
The claret taillight of that dwindling plane
Off Hesperus; your gesture of dismay

[530](#) On running out of cigarettes; the way
You smile at dogs; the trail of silver slime
Snails leave on flagstones; this good ink, this rhyme,
This index card, this slender rubber band
Which always forms, when dropped, an ampersand,
Are found in Heaven by the newlydead
Stored in its strongholds through the years.

Instead

The Institute assumed it might be wise
Not to expect too much of paradise:
What if there's nobody to say hullo
[540](#) To the newcomer, no reception, no
Indoctrination? What if you are tossed
Into a boundless void, your bearings lost,
Your spirit stripped and utterly alone,
Your task unfinished, your despair unknown,
Your body just beginning to putresce,
A non-undressable in morning dress,
Your widow lying prone on a dim bed,
Herself a blur in your dissolving head!

While snubbing gods, including the big G,
[550](#) Iph borrowed some peripheral debris
From mystic visions; and it offered tips
(The amber spectacles for life's eclipse) —
How not to panic when you're made a ghost:
Sidle and slide, choose a smooth surd, and coast,
Meet solid bodies and glissade right through,
Or let a person circulate through you.
How to locate in blackness, with a gasp,
Terra the Fair, an orbicle of jasp.
How to keep sane in spiral types of space.

[560](#) Precautions to be taken in the case
Of freak reincarnation: what to do
On suddenly discovering that you
Are now a young and vulnerable toad
Plump in the middle of a busy road,
Or a bear cub beneath a burning pine,
Or a book mite in a revived divine.

Time means succession, and succession, change:
Hence timelessness is bound to disarrange
Schedules of sentiment. We give advice
[570](#) To widower. He has been married twice:
He meets his wives; both loved, both loving, both
Jealous of one another. Time means growth,

And growth means nothing in Elysian life.
Fondling a changeless child, the flax-haired wife
Grieves on the brink of a remembered pond
Full of a dreamy sky. And, also blond,
But with a touch of tawny in the shade,
Feet up, knees clasped, on a stone balustrade
The other sits and raises a moist gaze
[580](#) Toward the blue impenetrable haze.
How to begin? Which first to kiss? What toy
To give the babe? Does that small solemn boy
Know of the head-on crash which on a wild
March night killed both the mother and the child?
And she, the second love, with instep bare
In ballerina black, why does she wear
The earrings from the other's jewel case?
And why does she avert her fierce young face?

For as we know from dreams it is so hard
[590](#) To speak to our dear dead! They disregard
Our apprehension, queaziness and shame —
The awful sense that they're not quite the same.
And our school chum killed in a distant war
Is not surprised to see us at his door,
And in a blend of jauntiness and gloom
Points at the puddles in his basement room.

But who can teach the thoughts we should roll-call
When morning finds us marching to the wall
Under the stage direction of some goon
[600](#) Political, some uniformed baboon?
We'll think of matters only known to us —
Empires of rhyme, Indies of calculus;
Listen to distant cocks crow, and discern
Upon the rough gray wall a rare wall fern;
And while our royal hands are being tied,
Taunt our inferiors, cheerfully deride
The dedicated imbeciles, and spit
Into their eyes just for the fun of it.

Nor can one help the exile, the old man
[610](#) Dying in a motel, with the loud fan
Revolving in the torrid prairie night
And, from the outside, bits of colored light
Reaching his bed like dark hands from the past
Offering gems; and death is coming fast.
He suffocates and conjures in two tongues
The nebulae dilating in his lungs.

A wrench, a rift — that's all one can foresee.
Maybe one finds *le grand néant*; maybe
Again one spirals from the tuber's eye.

[620](#) As you remarked the last time we went by
The Institute: «I really could not tell
The difference between this place and Hell.»

We heard cremationists guffaw and snort
At Grabermann's denouncing the Retort
As detrimental to the birth of wraiths.
We all avoided criticizing faiths.
The great Starover Blue reviewed the role
Planets had played as landfalls of the soul.
The fate of beasts was pondered. A Chinese

[630](#) Discanted on the etiquette at teas
With ancestors, and how far up to go.
I tore apart the fantasies of Poe,
And dealt with childhood memories of strange
Nacreous gleams beyond the adults' range.
Among our auditors were a young priest
And an old Communist. Iph could at least
Compete with churches and the party line.

In later years it started to decline:
Buddhism took root. A medium smuggled in
[640](#) Pale jellies and a floating mandolin.
Fra Karamazov, mumbling his inept

All is allowed, into some classes crept;
And to fulfill the fish wish of the womb,
A school of Freudians headed for the tomb.

That tasteless venture helped me in a way.
I learnt what to ignore in my survey
Of death's abyss. And when we lost our child
I knew there would be nothing: no self-styled
Spirit would touch a keyboard of dry wood
[650](#) To rap out her pet name; no phantom would
Rise gracefully to welcome you and me
In the dark garden, near the shagbark tree.

«What is that funny creaking — do you hear?»
«It is the shutter on the stairs, my dear.»

«If you're not sleeping, let's turn on the light.
I hate that wind! Let's play some chess.» «All right.»

«I'm sure it's not the shutter. There — again.»
«It is a tendril fingering the pane.»

«What glided down the roof and made that thud?»
[660](#) «It is old winter tumbling in the mud.»

«And now what shall I do? My knight is pinned.»

Who rides so late in the night and the wind?
It is the writer's grief. It is the wild
March wind. It is the father with his child.

Later came minutes, hours, whole days at last,
When she'd be absent from our thoughts, so fast
Did life, the woolly caterpillar run.
We went to Italy. Sprawled in the sun
On a white beach with other pink or brown
[670](#) Americans. Flew back to our small town.
Found that my bunch of essays *The Untamed*

Seahorse was «universally acclaimed»
(It sold three hundred copies in one year).
Again school started, and on hillsides, where
Wound distant roads, one saw the steady stream
Of carlights all returning to the dream
Of college education. You went on
Translating into French Marvell and Donne.
It was a year of Tempests: Hurricane
[680](#) Lolita swept from Florida to Maine.
Mars glowed. Shahs married. Gloomy Russians spied.
Lang made your portrait. And one night I died.

The Crashaw Club had paid me to discuss
Why Poetry Is Meaningful To Us.
I gave my sermon, a dull thing but short.
As I was leaving in some haste, to thwart
The so-called «question period» at the end,
One of those peevish people who attend
Such talks only to say they disagree
[690](#) Stood up and pointed his pipe at me.

And then it happened — the attack, the trance,
Or one of my old fits. There sat by chance
A doctor in the front row. At his feet
Patly I fell. My heart had stopped to beat,
It seems, and several moments passed before
It heaved and went on trudging to a more
Conclusive destination. Give me now
Your full attention.

I can't tell you how
I knew — but I did know that I had crossed
[700](#) The border. Everything I loved was lost
But no aorta could report regret.
A sun of rubber was convulsed and set;
And blood-black nothingness began to spin
A system of cells interlinked within
Cells interlinked within cells interlinked
Within one stem. And dreadfully distinct

Against the dark, a tall white fountain played.

I realized, of course, that it was made
Not of our atoms; that the sense behind
[710](#) The scene was not our sense. In life, the mind
Of any man is quick to recognize
Natural shams, and then before his eyes
The reed becomes a bird, the knobby twig
An inchworm, and the cobra head, a big
Wickedly folded moth. But in the case
Of my white fountain what it did replace
Perceptually was something that, I felt,
Could be grasped only by whoever dwelt
In the strange world where I was a mere stray.

[720](#) And presently I saw it melt away:
Though still unconscious I was back on earth.
The tale I told provoked my doctor's mirth.
He doubted very much that in the state
He found me in «one could hallucinate
Or dream in any sense. Later, perhaps,
But not during the actual collapse.
No, Mr. Shade.»

But, Doctor, I was dead!
He smiled. «Not quite: just half a shade,» he said.

However, I demurred. In mind I kept
[730](#) Replaying the whole thing. Again I stepped
Down from the platform, and felt strange and hot,
And saw that chap stand up, and toppled, not
Because a heckler pointed with his pipe,
But probably because the time was ripe
For just that bump and wobble on the part
Of a limp blimp, an old unstable heart.

My vision reeked with truth. It had the tone,
The quiddity and quaintness of its own
Reality. It was. As time went on.

[740](#) Its constant vertical in triumph shone.
Often when troubled by the outer glare
Of street and strife, inward I'd turn, and there,
There in the background of my soul it stood,
Old Faithful! And its presence always would
Console me wonderfully. Then, one day,
I came across what seemed a twin display.

It was a story in a magazine
About a Mrs. Z. whose heart had been
Rubbed back to life by a prompt surgeon's hand.

[750](#) She told her interviewer of «The Land
Beyond the Veil» and the account contained
A hint of angels, and a glint of stained
Windows, and some soft music, and a choice
Of hymnal items, and her mother's voice;
But at the end she mentioned a remote
Landscape, a hazy orchard — and I quote:
«Beyond that orchard through a kind of smoke
I glimpsed a tall white fountain — and awoke.»

If on some nameless island Captain Schmidt
[760](#) Sees a new animal and captures it,
And if, a little later, Captain Smith
Brings back a skin, that island is no myth.
Our fountain was a signpost and a mark
Objectively enduring in the dark,
Strong as a bone, substantial as tooth,
And almost vulgar in its robust truth!

The article was by Jim Coates. To Jim
Forthwith I wrote. Got her address from him.
Drove west three hundred miles to talk to her.

[770](#) Arrived. Was met by an impassioned purr.
Saw that blue hair, those freckled hands, that rapt
Orchideous air — and knew that I was trapped.

«Who'd miss an opportunity to meet

A poet so distinguished?» It was sweet
Of me to come! I desperately tried
To ask my questions. They were brushed aside:
«Perhaps some other time.» The journalist
Still had her scribblings. I should not insist.
She plied me with fruit cake, turning it all
[780](#) Into an idiotic social call.
«I can't believe,» she said, «that it is *you!*
I loved your poem in the *Blue Review*.
That one about *Mon Blon*. I have a niece
Who's climbed the Matterhorn. The other piece
I could not understand. I mean the sense.
Because, of course, the sound — But I'm so dense!»

She was. I might have persevered. I might
Have made her tell me more about the white
Fountain we both had seen «beyond the veil»
[790](#) But if (I thought) I mentioned that detail
She'd pounce upon it as upon a fond
Affinity, a sacramental bond,
Uniting mystically her and me,
And in a jiffy our two souls would be
Brother and sister trembling on the brink
Of tender incest. «Well,» I said, «I think
It's getting late...»

I also called on Coates.
He was afraid he had mislaid her notes.
He took his article from a steel file:
[800](#) «It's accurate. I have not changed her style.
There's one misprint — not that it matters much:
Mountain, not fountain. The majestic touch.»

Life Everlasting — based on a misprint!
I mused as I drove homeward: take the hint,
And stop investigating my abyss?
But all at once it dawned on me that *this*
Was the real point, the contrapuntal theme;
Just this: not text, but texture; not the dream

But a topsy-turvical coincidence,
[810](#) Not flimsy nonsense, but a web of sense.
Yes! It sufficed that I in life could find
Some kind of link-and-bobolink, some kind
Of correlated pattern in the game,
Plexed artistry, and something of the same
Pleasure in it as they who played it found.

It did not matter who they were. No sound,
No furtive light came from their involute
Abode, but there they were, aloof and mute,
Playing a game of worlds, promoting pawns
[820](#) To ivory unicorns and ebony fauns;
Kindling a long life here, extinguishing
A short one there; killing a Balkan king;
Causing a chunk of ice formed on a high-
Flying airplane to plummet from the sky
And strike a farmer dead; hiding my keys,
Glasses or pipe. Coordinating these
Events and objects with remote events
And vanished objects. Making ornaments
Of accidents and possibilities.

[830](#) Stormcoated, I strode in: Sybil, it is
My firm conviction — «Darling, shut the door.
Had a nice trip?» Splendid — but what is more
I have returned convinced that I can grope
My way to some — to some — «Yes, dear?» Faint hope.

Canto Four

Now I shall spy on beauty as none has
Spied on it yet. Now I shall cry out as
None has cried out. Now I shall try what none
Has tried. Now I shall do what none has done.
And speaking of this wonderful machine:
[840](#) I'm puzzled by the difference between

Two methods of composing: *A*, the kind
Which goes on solely in the poet's mind,
A testing of performing words, while he
Is soaping a third time one leg, and *B*,
The other kind, much more decorous, when
He's in his study writing with a pen.

In method *B* the hand supports the thought,
The abstract battle is concretely fought.
The pen stops in mid-air, then swoops to bar
[850](#) A canceled sunset or restore a star,
And thus it physically guides the phrase
Toward faint daylight through the inky maze.

But method *A* is agony! The brain
Is soon enclosed in a steel cap of pain.
A muse in overalls directs the drill
Which grinds and which no effort of the will
Can interrupt, while the automaton
Is taking off what he has just put on
Or walking briskly to the corner store
[860](#) To buy the paper he has read before.

Why is it so? Is it, perhaps, because
In penless work there is no pen-poised pause
And one must use three hands at the same time,
Having to choose the necessary rhyme,
Hold the completed line before one's eyes,
And keep in mind all the preceding tries?
Or is the process deeper with no desk
To prop the false and hoist the poetesque?
For there are those mysterious moments when
[870](#) Too weary to delete, I drop my pen;
I ambulate — and by some mute command
The right word flutes and perches on my hand.

My best time is the morning; my preferred
Season, midsummer. I once overheard

Myself awakening while half of me
Still slept in bed. I tore my spirit free,
And caught up with myself — upon the lawn
Where clover leaves cupped the topaz of the dawn,
And where Shade stood in nightshirt and one shoe.
[880](#) And then I realized that *this* half too
Was fast asleep; both laughed and I awoke
Safe in my bed as day its eggshell broke,
And robins walked and stopped, and on the damp
Gemmed turf a brown shoe lay! My secret stamp,
The Shade impress, the mystery inborn.
Mirages, miracles, midsummer morn.

Since my biographer may be too staid
Or know too little to affirm that Shade
Shaved in his bath, here goes:

«He'd fixed a sort

[890](#) Of hinge-and-screw affair, a steel support
Running across the tub to hold in place
The shaving mirror right before his face
And with his toe renewing tap-warmth, he'd
Sit like a king there, and like Marat bleed.»

The more I weigh, the less secure my skin;
In places it's ridiculously thin;
Thus near the mouth: the space between its wick
And my grimace, invites the wicked nick.

Or this dewlap: some day I must set free

[900](#) The Newport Frill inveterate in me.

My Adam's apple is a prickly pear:

Now I shall speak of evil and despair

As none has spoken. Five, six, seven, eight,

Nine strokes are not enough. Ten. I palpate

Through strawberry-and-cream the gory mess

And find unchanged that patch of prickliness.

I have my doubts about the one-armed bloke
Who in commercials with one gliding stroke

Clears a smooth path of flesh from ear to chin,
[910](#) Then wipes his face and fondly tries his skin.
I'm in the class of fussy bimanists.
As a discreet ephebe in tights assists
A female in an acrobatic dance,
My left hand helps, and holds, and shifts its stance.

Now I shall speak... Better than any soap
Is the sensation for which poets hope
When inspiration and its icy blaze,
The sudden image, the immediate phrase
Over the skin a triple ripple send
[920](#) Making the little hairs all stand on end
As in the enlarged animated scheme
Of whiskers mowed when held up by Our Cream.

Now I shall speak of evil as none has
Spoken before. I loathe such things as jazz;
The white-hosed moron torturing a black
Bull, rayed with red; abstractist bric-a-brac;
Primitivist folk-masks; progressive schools;
Music in supermarkets; swimming pools;
Brutes, bores, class-conscious Philistines, Freud, Marx,
[930](#) Fake thinkers, puffed-up poets, frauds and sharks.

And while the safety blade with scrape and scream
Travels across the country of my cheek,
Cars on the highway pass, and up the steep
Incline big trucks around my jawbone creep,
And now a silent liner docks, and now
Sunglassers tour Beirut, and now I plough
Old Zembla's fields where my gray stubble grows,
And slaves make hay between my mouth and nose.

Man's life as commentary to abstruse
[940](#) *Unfinished poem.* Note for further use.

Dressing in all the rooms, I rhyme and roam

Throughout the house with, in my fist, a comb
Or a shoehorn, which turns into the spoon
I eat my egg with. In the afternoon
You drive me to the library. We dine
At half past six. And that odd muse of mine,
My versipel, is with me everywhere,
In carrel and in car, and in my chair.

And all the time, and all the time, my love,
[950](#) You too are there, beneath the word, above
The syllable, to underscore and stress
The vital rhythm. One heard a woman's dress
Rustle in days of yore. I've often caught
The sound and sense of your approaching thought.
And all in you is youth, and you make new,
By quoting them, old things I made for you.

Dim Gulf was my first book (free verse); *Night Rote*
Came next; then *Hebe's Cup*, my final float
In that damp carnival, for now I term
[960](#) Everything «Poems,» and no longer squirm.
(But *this* transparent thingum does require
Some moondrop title. Help me, Will! *Pale Fire*.)

Gently the day has passed in a sustained
Low hum of harmony. The brain is drained
And a brown ament, and the noun I meant
To use but did not, dry on the cement.
Maybe my sensual love for the *consonne*
D'appui, Echo's fey child, is based upon
A feeling of fantastically planned,
[970](#) Richly rhymed life.

I feel I understand
Existence, or at least a minute part
Of my existence, only through my art,
In terms of combinational delight;
And if my private universe scans right,
So does the verse of galaxies divine

Which I suspect is an iambic line.
I'm reasonably sure that we survive
And that my darling somewhere is alive,
As I am reasonably sure that I
[980](#) Shall wake at six tomorrow, on July
The twenty-second, nineteen fifty-nine,
And that the day will probably be fine;
So this alarm clock let me set myself,
Yawn, and put back Shade's «Poems» on their shelf.

But it's not bedtime yet. The sun attains
Old Dr. Sutton's last two windowpanes.
The man must be — what? Eighty? Eighty-two?
Was twice my age the year I married you.
Where are you? In the garden. I can see
[990](#) Part of your shadow near the shagbark tree.
Somewhere horseshoes are being tossed. Click, Clunk.
(Leaning against its lamppost like a drunk.)
A dark Vanessa with crimson band
Wheels in the low sun, settles on the sand
And shows its ink-blue wingtips flecked with white.
And through the flowing shade and ebbing light
A man, unheeded of the butterfly —
Some neighbor's gardener, I guess — goes by
Trundling an empty barrow up the lane.
[1000](#) [...]



**ВЛАДИМИР
НАБОКОВ**
БЛЕДНЫЙ
ОГОНЬ

Роман «Бледный огонь» Владимира Набокова, одно из самых неординарных произведений писателя, увидел свет в 1962 году. Выйдя из печати, «Бледный огонь» сразу попал в центр внимания американских и английских критиков. Далеко не все из них по достоинству оценили новаторство писателя и разглядели за усложненной формой глубинную философскую суть его произведения, в котором раскрывается трагедия отчужденного от мира человеческого «я» и исследуются проблемы соотношения творческой фантазии и безумия, вымысла и реальности, временного и вечного. Однако, несмотря ни на что, это наиболее трудное и непрозрачное англоязычное произведение Набокова стало бестселлером, породив по прошествии некоторого времени множество литературоведческих исследований. В настоящем издании роман печатается в переводе, выполненном Верой Набоковой.

Издательством «Азбука» впервые в России предпринимается юридически и текстологически корректная публикация произведений всемирно известного русско-американского писателя, одного из классиков литературы XX века, Владимира Владимировича Набокова (Сирина), адресованная широкой читательской аудитории. Данный издательский проект предполагает публикацию как печатавшихся ранее, так и не вышедших в свет в России сочинений автора; ряд англоязычных текстов Набокова будет представлен в новых переводах. Издание осуществляется в рамках соглашения с сыном писателя, Дмитрием Владимировичем Набоковым, владельцем международного Фонда наследственного имущества Владимира Набокова (The Estate of Vladimir Nabokov).



В оформлении переплета
использован рисунок
М. С. Эшера

notes

Примечания

1

Две бейсбольные команды.

Термин в бейсболе. *Чэпмен* — знаменитый переводчик Гомера.

Я кормлю бедных цикад (Крылов перевел «стрекоза» вместо «цикада»).

4

Чайка по-английски «sea-gull».

5

Взбираться.

6

Зловещее перо.

Хтонический.

Вековечный.

Frost по-английски «мороз». Фамилия знаменитого американского поэта.

10

По-английски «если», по-французски «тис».

Игра слов на французском «peut-être» и английском «potato» (картофель).

Macabre — зловещий.

Напоминаю, что «шейд» по-английски значит «тень».

Halitosis (дурное дыхание).

Алая восхитительная.

Трудишься.

Supremely Blest.

См. стихи Хаусмана в сборнике «Шропширский паренек».

Интонация американского «сленга».

Behind the Iron Curtain — За железным занавесом.

Так называемые.

Я отправляюсь на поиски великого «быть может».

High Philosophy. High Fidelity.

Человек рождается безгрешным.

Это мать и ее дитя.

Тень

Из подонков.